

А. МАРКОВ

КАДЕТЫ и ЮНКЕРА



В. НИКИТИН

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2001

Печатается по изданиям:

А. Марков. Кадеты и юнкера. Русские кадеты и юнкера в мирное время и на войне. Издание Общекадетского объединения. Сан-Франциско, 1961;

В.Н. Никитин. Многострадальные. Очерки быта кантонистов. Издание Колесова и Михина. Спб., 1872.

А. МАРКОВ

КАДЕТЫ и ЮНКЕРА

Русские кадеты и юнкера
в мирное время и на войне



ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ, С ГЛУБОЧАЙ-
ШИМ УВАЖЕНИЕМ И ПРЕДАННЕЙШЕЙ ЛЮБОВЬЮ,
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА.

ДА УПОКОИТ ГОСПОДЬ БОГ ЕГО ЧИСТУЮ
ДУШУ В СВОИХ ГОРНИХ СЕЛЕНИЯХ!

Автор

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В РОССИИ

Исторический очерк

Начало военно-учебным заведениям в России положил император Петр Великий, который основал в Москве Школу математических и навигацких наук для элементарной подготовки молодых людей к службе в артиллерии, инженерах и флоте.

В 1712 году им же открыта Инженерная школа на 150 воспитанников, а в 1719 году добавочно в С.-Петербурге были учреждены две школы: артиллерийская и инженерная. В 1732 году по предложению фельдмаршала графа Миниха открыто в С.-Петербурге Офицерское училище, которое затем при учреждении в 1743 году Морского кадетского корпуса переименовано в Сухопутный шляхетский кадетский корпус; в 1766 году он был увеличен до 900 воспитанников, и ему придано наименование Императорского, а с 1800 года он назывался Первым кадетским корпусом.

Артиллерийская и инженерная школы, соединенные в 1758 году и преобразованные в 1762 году, в свою очередь были переименованы в Артиллерийский и инженерный корпус, а в 1800 году во 2-й кадетский корпус.

Император Павел I еще до своего вступления на престол основал в Гатчине в 1795 году военное училище, преобразованное через три года в Императорский военно-сиротский дом, а в 1829 году в Павловский кадетский корпус в С.-Петербурге.

В 1802 году был сформирован Пажеский корпус как военно-учебное заведение. В 1807 году создан корпус волонтеров, сначала из одного батальона, а затем из двух, названный Дворянским полком.

В 1812 году учрежден в местности Напаниеми, Куопиоской губернии, Финляндский кадетский корпус топографов, который затем в 1819 году был переведен в г. Фридрихсгам и преобразован в Финляндский кадетский корпус.

В 1819 году основано Главное инженерное училище, в 1820 году Артиллерийское, а в 1823 году при гвардейском корпусе учреждена Школа гвардейских подпрапорщиков в составе одной роты; в 1826 году при ней сформирован эскадрон из юнкеров гвардейской кавалерии. В 1849 году высочайшим приказом повелено Артиллерийскому училищу именоваться Михайловским.

Кроме того, в разных губернских городах, начиная с царствования императора Александра I, на счет казны и местного дворянства, а также на пожертвования отдельных лиц, как, например, графа Аракчеева в Новгороде, Бахтина в Орле, Неплюева в Оренбурге, Черткова в Воронеже, постепенно стали возникать новые кадетские корпуса, так что в 1855 году кроме вышеупомянутых военно-учебных заведений существовало уже 11 кадетских корпусов первого класса и 5 корпусов второго. Первые делились на три курса: подготовительный, общий и специальный; вторые же имели только младшие классы, и воспитанники их по окончании курса переводились в корпуса первого класса, выпускавшие кадет офицерами.

В 1855 году во всех военно-учебных заведениях насчитывалось 6700 воспитанников, в то время как ежегодный выпуск офицеров составлял около 520 человек. После русско-турецкой войны 1856 года было признано необходимым переустроить военно-учебные заведения с целью повысить общеобразовательные требования и поставить воспитанников старших классов в условия, возможно близкие к военному быту, чтобы при выпуске в офицеры они были подготовлены вполне ко всем требованиям службы. Для этого специальные классы кадетских корпусов в 1863 году отделили от общих с образованием из первых военных училищ с чисто военной организацией, а из вторых — военных гимназий с курсом общеобразовательным; в 1863 году основаны три военных училища: 1-е Павловское и 2-е Константиновское в С.-Петербурге и 3-е Александровское в Москве.

В 1864 году на тех же основаниях учреждено из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Николаевское кавалерийское училище в С.-Петербурге.

Затем, ввиду того что военно-учебные заведения были не в состоянии давать армии необходимое ей число офицеров, пришлось учредить юнкерские училища, а для подготовки к поступлению в них — военные прогимназии.

К исходу 1881 года был выработан план новых преобразований:

- 1) Восстановить наименование военных гимназий «кадетскими корпусами», так как это название точнее определяет их прямое назначение.

- 2) Сохранив установившийся в сих заведениях общеобразовательный учебный курс и общие основы воспитания, уравнивать их в средствах содержания и придать всему строю внутренней жизни

в них такой характер, который вполне отвечал бы цели учреждения подготовительных военно-воспитательных заведений.

3) Замещать впредь должности воспитателей исключительно офицерами.

4) Оставить по-прежнему разделение воспитанников на группы по возрастам и классам, присвоив этим группам наименование «рот», с установлением вновь должностей ротных командиров.

Военные прогимназии положено одновременно с тем упразднить, сохранив из них только Вольскую и Ярославскую с переименованием их в военные школы, собственно, для воспитания и элементарного образования малолетних, удаляемых из кадетских корпусов по малоспособности или нравственной испорченности.

До царствования императора Александра I военно-учебные заведения в России не имели общего управления, подчиняясь каждое своему собственному начальнику. 29 марта 1805 года для управления ими всеми был учрежден «Совет военно-учебных заведений» под председательством цесаревича Константина Павловича. По кончине цесаревича в 1831 году главным начальником военно-учебных заведений был назначен великий князь Михаил Павлович с подчинением ему прежнего Совета. При этом в основу Устава о военно-учебных заведениях было положено указание императора Николая I, гласившее: «Воспитанник кадетского корпуса должен стать христианином, верноподданным, добрым сыном, надежным товарищем, скромным и образованным юношей, исполнительным, терпеливым и расторопным офицером». При этом в 1843 году было издано Положение, согласно которому Михаилу Павловичу присваивалось звание Главного начальника военно-учебных заведений с властью и правами министра. Этот великий князь, как известно, имевший суровый внешний вид, обладал добрым сердцем и горячо любил военную молодежь; он всецело отдался делу ее воспитания. После смерти Михаила Павловича 28 августа 1849 года в его бумагах было найдено собственноручно им написанное «Прощание с моими детьми — военно-учебными заведениями». Это завещание по приказу императора Николая I с 1850 года в копиях выдавалось каждому кадету, выпускаемому в офицеры, а текст был выгравирован на бронзовой доске под памятником великому князю в столовой Дворянского полка и в Императорском зале Михайловского артиллерийского училища.

Михаила Павловича на его посту заменил наследник-цесаревич Александр Николаевич, будущий царь-освободитель. С восшествия последнего на престол в 1855 году главным начальником ВУЗ был назначен великий князь Михаил Николаевич, возглавлявший военно-учебное дело до 1891 года, после чего никто из императорской фамилии не занимал этот пост вплоть до марта 1900 года, когда во главе военно-учебных заведений волей императора Николая II был поставлен его двоюродный дядя — великий князь Константин

Константинович со званием главного начальника ВУЗ. Он был на этом посту до 1910 года, когда получил звание главного инспектора ВУЗ, в каком-то и пробыл вплоть до своей кончины (последовавшей 2 июня 1915 года), оставаясь, таким образом, во главе военного образования непрерывно в течение пятнадцати лет.

Вскоре после своего назначения великий князь исходатайствовал перед государем возвращение кадетским корпусам прежних знамен, сданных в архив при переименовании корпусов в военные гимназии, и отдал распоряжение выносить их в строй на парадах «как наивысшую воинскую святыню и лучшее украшение кадетского строя».

Проведший всю свою молодость в строю и занявший пост главного начальника ВУЗ, после того как откомандовал ротой и батальоном в лейб-гвардии Измайловском полку и лейб-гвардии Преображенском, великий князь хорошо понимал, что представляет собой знамя для военного воспитания.

12 ноября 1913 года знамена благодаря великому князю пожалованы и тем корпусам, которые их еще не имели, причем августейший начальник считал необходимым лично вручать их каждому кадетскому корпусу в торжественной обстановке, «испытывая при этом гордость и восторг вместе с кадетами, видя знамя в строю корпуса», как он позднее писал в своих воспоминаниях.

Перед недоброй памяти революцией 1917 года кадетские корпуса, как пишет кадет-писатель С. Двигубский, «отличаясь друг от друга цветом погон, имели совершенно одинаковую учебную программу, воспитание, образ жизни и строевое учение. Из всех учебных заведений России они были, без всякого сомнения, наиболее характерными как по своей исключительной особенности, так и по той крепкой любви, которую кадеты питали к своему родному корпусу. Встретить в жизни бывшего кадета, не поминающего добром свой корпус, почти невозможно. Кадетские корпуса со своим начальствующим, учительским, воспитательским и обслуживающим персоналом высокой квалификации, с прекрасными помещениями классов, лабораторий, лазаретов, кухонь и бань, красивым обмундированием и благоустроенными спальнями, гимнастическими залами стоили императорской России очень дорого, и, несмотря на все эти затраты, при наличии 30 корпусов выпуск каждого года давал не более 1600 новых юнкеров, что, конечно, не могло удовлетворить нужду в офицерском составе армии».

«Но тут мы подходим к замечательному факту: этого числа было совершенно достаточно, чтобы дать закваску всей юнкерской массе и пропитать ее духом, который каждый кадет выносил с собой из корпусных стен и которым, незаметно для себя самих, насквозь проникались те, кто в военные школы приходил из гражданских учебных заведений. На этих кадетских дрожжах и поднималось пышное тесто корпуса офицеров Российской импера-

торской армии. Кадетские корпуса прививали любовь к родине, армии и флоту, создавали военную касту, проникнутую насквозь лучшими историческими традициями, вырабатывали тот слой русского офицерства, на крови которого создавалась российская военная слава. Кадетская среда и обстановка воспитывали жертвенность, и потому не пустыми словами в жизни кадет являлась формула: «Сам погибай, а товарища выручай».

«Наружный лоск и подтянутость кадет были общеизвестны, погоны являлись гордостью каждого кадеты, и он с детства привыкал их уважать. Образовательный и культурный уровень корпусов был выше среднеучебных заведений гражданского ведомства, что имело своим результатом тот факт, что на протяжении двух столетий Россия знала кроме военных героев и славных полководцев целый сонм ученых, писателей, художников, поэтов, композиторов, мореплавателей, путешественников и даже духовных подвижников и великих пастырей, вышедших из кадетской среды, то есть людей, которые являлись творцами и участниками великой и бессмертной русской культуры».

«Пройдет какой-нибудь десяток лет, — пишет другой кадет-писатель Г. Месняев, — и не останется на свете русских людей, которые помнят о тех мальчиках в военной форме, которые внешне, а еще более внутренне так отличались от своих сверстников, учившихся в гражданских учебных заведениях. Особняком, не сливаясь с ними, держали себя эти дети и юноши, носившие имя «кадет», как бы сознавая себя членами особого ордена, к которому русская дореволюционная интеллигенция относилась если не враждебно, то, во всяком случае, с некоторым осуждением. Кадетские корпуса не пользовались в штатских кругах, да и не могли пользоваться, популярностью, так как жили совсем другими идеалами, поклонялись иным богам и дышали иным воздухом. Их мировоззрение было ясным и простым, и это мировоззрение культивировалось только в старых стенах кадетских корпусов независимо от цвета их погон, — душа у всех кадет была одна, находился ли корпус в Петербурге, Москве, Полоцке или Симбирске. И в столице, и в глухой провинции — везде кадеты были едины. Они не только учились по одним и тем же учебникам, читали одни и те же книги, но и с первых же шагов входа под гулкие корпусные своды их окружала одна и та же атмосфера, которую они незаметно для себя впитывали на всю жизнь».

«В те времена никто не внушал кадетам любви и преданности царю и Родине и никто не твердил им о долге, доблести и самопожертвовании. Но во всей корпусной обстановке было нечто такое, что без слов говорило им об этих высоких понятиях, говорило без слов детской душе о том, что она приобщалась к тому миру, где смерть за Отечество есть святое и само собой разумеющееся дело. И когда впервые десятилетний ребенок видел, что под величавые

звуки «Встречи» над строем поднималось ветхое полотнище знамени, его сердце впервые вздрагивало от чувства патриотизма и уже навсегда отдавало себя чувству любви и гордости к тому, что символизировало мощь и величие России... Так, незаметно, день за днем, без всякого внешнего принуждения душа и сердце ребенка, а затем и юноши копили в себе впечатления, которые формировали кадетскую душу. Вот этими-то путями незаметно внедрялось то, что потом формировалось в целое и крепкое мировоззрение, основанное на вере в Бога, на преданности царю и Родине и готовности в любой момент сложить за них свою голову. Эти понятия заключали в себе большую нравственную силу, которая помогала старым кадетам пронести через всю их многострадальную жизнь тот возвышенный строй мыслей и чувств, который предостерегал и спасал их от ложных шагов. И вот за это мы, старые кадеты, до гробовой доски носим в себе чувство живой и теплой благодарности и привязанности к своим старым кадетским гнездам, в которых мы отрастили свои крылья для того, чтобы лететь к славе и чести, к тяжелому подвигу, к жертвам, страданию и смерти».

«Это живое и осязаемое нами единство и заставляет сейчас нас, старых кадет, искать друг в друге поддержку и помощь. Кадетская спайка всегда основывалась на чувстве абсолютного равенства между кадетами; сын армейского капитана и сын начальника дивизии, кадет, носящий громкую историческую фамилию и носящий самую ординарную, богатый и бедный, русский, грузин, черкес, армянин или болгарин — все в стенах корпуса чувствовали себя совершенно равными. Только по своим личным качествам, по тому, были ли они хорошими или плохими товарищами, различались кадеты в корпусе среди других. И всегда, как в стенах родного корпуса, так и потом в жизни, кадет кадету был и оставался друг и брат. Кроме того, мы, старые кадеты, твердо верим в то, что наш голос последних носителей кадетских преданий и традиций найдет отклик в душах всех будущих кадет, которым будет суждено создать новую и свободную Россию...»

Особенную солидарность и веру в себя самих внес в кадетский быт великий князь Константин Константинович, сыгравший в жизни и воспитании кадет последнего перед революцией периода времени совершенно исключительную роль. Всю свою светлую и любящую душу он посвятил кадетам и окончательно уничтожил в кадетских корпусах остатки старого казарменно-казенного духа. Подняв на большую высоту учебное дело, он одновременно с тем сумел подобрать для кадетских корпусов воспитательский состав, которому внушил, что дело офицера-воспитателя не только выполнять карательные функции, как это было в старину, но и любить кадет, заботиться о них и их воспитывать. Казарменная атмосфера корпусов прежнего времени благодаря великому князю

была его стараниями превращена в место заботливого, любовного и чисто отеческого воспитания. В ответ на эти заботы чуткая кадетская семья не только поняла, но и вполне оценила заботы о ней, совершенно изменив свой характер под его управлением. Враждебные отношения между офицерами-воспитателями и кадетами, существовавшие как наследие прошлого, исчезли совершенно, и кадеты стали не только уважать, но и горячо любить своих воспитателей. Состав последних стараниями великого князя также совершенно изменился. Вместо офицера — бурбона и карателя кадетские корпуса узнали новый тип воспитателя по призванию, заботливого опекуна, любящего своих кадет. За все эти заботы о них кадеты дружно ответили своему августейшему начальнику горячей благодарностью и преданной любовью.

В своих письмах к сестре — королеве греческой, опубликованных недавно его сыном в журнале «Военная быль», великий князь писал:

«Все мне говорят, что я добр и снисходителен к кадетам, и никто не знает, какое счастье доставляет мне возможность проявлять в отношении их доброту и ласку. Дело в том, что я гораздо больше получаю от них, нежели даю. Не проходит и двух дней в любом корпусе во время моих объездов, как мое сближение с кадетами становится настолько тесным и душевным, что прощание в них причиняет мне огромное огорчение. В день отъезда, с утра, я начинаю томиться предстоящей разлукой с ними, и, поверишь ли, при отходе поезда почти всегда кадеты, даже самые большие, плачут при расставании со мной навзрыд, и я сам не могу удержаться от слез...»

В другом письме к сестре великий князь пишет:

«Ты не можешь себе представить, до какой степени кадеты, облагороженные военным мундиром и духом военной доблести, мне милы...»

В итоге двух веков своего существования и опыта и в результате неустанных забот великого князя и тщательно подобранного им воспитательского и учебного персонала кадетские корпуса в России ко времени первой мировой войны стали полноправными средне-учебными интернатами с программой реальных училищ, готовившими молодых людей к вступлению в военные училища и высшие школы, являясь вместе с тем лучшими в России школами государственного и национального воспитания. Кроме того, кадетские корпуса по самой своей идее воспитания в них и по преимущественности от отцов и воспитателей, участников балканских походов, были пропитаны духом общеславянской идеи. Русские мальчишки и юноши в них росли вместе с братьями-сербскими, черногорскими и болгарскими и пели в них гимны и национальные песни славянских народов. При Орловском кадетском корпусе для подготовки мальчиков-славян в младшие классы корпуса перед войной 1914 года

существовал даже особый пансион, где они учились русскому языку и готовились к вступительному экзамену.

Кадетские корпуса за двести лет своего существования дали России бесчисленное множество выдающихся на всех поприщах государственных деятелей, полководцев, писателей, поэтов, историков, ученых, композиторов и даже отцов церкви.

Каков был дух дисциплины и патриотизма в корпусах, можно судить по тому, как вели себя кадеты во время так называемой революции 1905 года, когда тлетворный дух анархии коснулся всех без исключения гражданских учебных заведений, и только одни кадетские корпуса остались стоять спокойными островами среди взбаламученного революционного моря. Каковы были настроения в это время в кадетских корпусах, можно судить по тому, что когда в одном из них нашлось два кадета, которые в разговоре с товарищами позволили себе высказать некоторое сочувствие революции и были отданы директором корпуса на суд товарищей, то даже его, опытного педагога, хорошо знающего кадетскую среду, поразил приговор. Он гласил единогласно: смертная казнь! Виновные были настолько потрясены товарищеским приговором, что публично раскаялись и дали торжественное обещание навсегда отказаться от своих заблуждений. Они впоследствии свято выполнили свое обещание и, окончив корпус и военные училища, стали лояльными и достойными офицерами.

В 1905 году при директоре генерал-майоре Шильдере кадеты одного из столичных корпусов по их единодушной просьбе приняли участие в вооруженном разгоне революционеров-манифестантов, причем в этой стычке был тяжело ранен в голову кадет Недведовский. 19 марта 1909 года два кадета 2-го Московского корпуса Старооскольский и Ауэрбах увидели на улице, что революционер-экспроприатор, угрожая револьвером, отобрал сумку с деньгами у артельщика банка. С опасностью для собственной жизни схватив и обезоружив грабителя, они отвели его в полицию. Государь император наградил их за это медалями.

В русско-китайскую кампанию 1900 года кадет Пажеского корпуса Александр Баранов, сын героя русско-турецкой войны 1877—1878 гг., принял участие в походе на Пекин, не снимая формы пажа, в рядах одного из пластунских батальонов, за что был награжден Георгиевским крестом. В русско-японскую войну 1904—1905 гг. несколько кадет различных корпусов, отцы которых находились в рядах действующей армии, стали в ряды добровольцев во время летних каникул. Из них паж Верховский, кадет Первого кадетского корпуса Сергей Селезнев и кадет Хабаровского корпуса Роман Троянович-Пиотровский были награждены Георгиевскими крестами, а остальные — Георгиевскими медалями. Прямо с фронта Троянович и Селезнев прибыли в училище к началу занятий на младшем курсе.

В 1910 году кадеты Ташкентского корпуса Виктор Красовский и Борис Авдеев получили Георгиевские медали за спасение офицеров саперного батальона во время бунта этого последнего в лагерях около Ташкента, с опасностью для собственной жизни сообщив начальству о начавшемся бунте.

В первую мировую войну на германском, австрийском и турецком фронтах в рядах действующих армий участвовало несколько десятков кадет, получивших Георгиевские кресты и медали. Кадет Николаевского корпуса Сергей Марков с разрешения родителей и военного министра из шестого класса вступил добровольцем в Крымский конный полк, в строю которого заслужил два Георгиевских креста, после чего был отправлен в военное училище. Что касается медалей за спасение погибавших, полученных с опасностью для жизни, то почти не было корпуса, где один или более кадет не носили бы на груди эту почетную награду.

Таковы были российские кадеты в императорской России. Таковы плоды воспитания, данного им в корпусе.

ПОСТУПЛЕНИЕ В КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Весной 1909 года отец привез меня из деревни в Воронеж держать экзамен в четвертый класс кадетского корпуса. В этом городе мне пришлось быть не в первый раз. Мальчиком восьми лет, с матерью и братом, я приезжал сюда, когда мой старший брат поступал кадетом во второй класс. Мать, нежно любившая своего первенца, с большим горем отдавала его в корпус и не в силах сразу расстаться с сыном прожила вместе со мной около месяца в Воронеже, в «Центральной» гостинице, близко отстоявшей от корпуса. В качестве младшего братишки я увлекался кадетским бытом и почти каждый день бывал в помещении младшей роты, куда нас с матерью допускали по знакомству.

В настоящий мой приезд с отцом в Воронеж я, таким образом, был уже несколько знаком с внутренним бытом кадет, что до известной степени облегчало мое положение новичка, да еще поступавшего прямо из дому в четвертый класс. У отца в корпусе также нашелся старый товарищ, командир 1-й роты полковник Черников, в этот год выходивший в отставку генералом. Его заместитель, полковник Трубчанинов, так же, как его предшественник, оказался однокашником отца по Орловскому корпусу.

Экзамены, начавшиеся на другой день после нашего приезда, оказались труднее, чем мы предполагали. На экзамене Закона Божия батюшка, видный и важный протоиерей, спросил меня, не являюсь ли я родственником писателя Евгения Маркова, умершего в Воронеже директором Дворянского банка и председателем археологического общества. Узнав, что я его внук, батюшка сообщил,

что он также член археологического общества, хорошо знал покойного деда, любил его и уважал.

Первые три дня экзаменов прошли для меня благополучно, но в четвертый я неожиданно наскочил на подводный камень. Случилось это на испытании по естественной истории, предмете везде и всегда считающемся легким и второстепенным. Так об этом предмете полагали и мы с моим репетитором, почему и не обратили на естественную историю большого внимания. Конца учебника по этому предмету я даже и не прочитал, как раз в том месте, где дело шло о навозном жуке. Этот проклятый жук чуть не испортил всего дела, так как, спрошенный о строении его крыльев, я стал в тупик и ничего по этому интересному вопросу ответить не мог. Преподаватель естественной истории, заслуженный тайный советник, однако, вошел в мое положение и не захотел резать мальчишку, благополучно прошедшего уже по всем предметам экзамена — национальные ссиллы и харибды. Он дал мне переэкзаменовку на... после обеда. Нечего и говорить, конечно, что я сумел воспользоваться этой передышкой, а после обеда сдал экзамен без запинки.

Выдержав экзамен по учебным предметам, я был затем подвергнут медицинскому осмотру. Для этой цели отвели один из пустовавших в то время классов, двери которого выходили в коридор, переполненный родителями и родственниками, привозившими детей на экзамены.

Так как вступительные экзамены в корпус держали исключительно ребята, поступавшие в первые два класса, то я среди них представлял собой единственное исключение, и притом такое, о котором никто из находившихся в коридоре мамаш и не подозревал.

Зная, что доктора осматривают десятилетних карапузов, родители эти, нимало не стесняясь, заходили в комнату осмотра и вступали в разговор с врачами. При их неожиданном появлении в дверях я, голый, как червяк, принужден был дважды спастись за ширмы к обоюдному смущению обеих сторон.

Как только результаты экзаменов были объявлены, отец, поздравив меня, немедленно повел в магазин военных вещей, где купил мне кадетскую фуражку с черным верхом и красным околышем, которую я проносил все лето при штатском костюме, являя из себя довольно странную фигуру. Этот полустатский-полувоенный вид приводил в полное недоумение встречаемых, не знавших, как понимать мою нелепую личность. В качестве старого кадета брат Коля, бывший в это время кадетом в Ярославле, сильно возмущался таким видом, находя, что в кадетской фуражке и при штатском костюме я имею «сволочный вид земского начальника».

Всю дорогу от Воронежа в наше Покровское отец, обычно суровый и неразговорчивый с нами, был необыкновенно ласков,

видимо довольный тем, что и второй его сын стал на привычную и понятную для него дорогу военной службы.

На балконе усадьбы, с которого была видна вперед дорога со станции, вся семья наша, ожидавшая моего возвращения, издали завидев красный околыш, сразу поняла, что мои экзамены сошли благополучно. Ради такого торжественного случая отец в этот день также надел свою дворянскую фуражку с красным околышем, чем как бы сблизил меня со своей особой...

Свободное от опостылевших наук лето промелькнуло незаметно, как и много других счастливых лет юности, как незаметно и быстро проходит в жизни все счастливое. Незаметно подошел месяц август, к 16-му числу которого мне предстояло явиться в корпус, чтобы стать настоящим кадетом, а не возбуждающей недоумение штатской личностью в военной фуражке.

Отвозил меня в военную школу опять отец. Я ехал в Воронеж с наружной бодростью, но и тайной жутью.

Принадлежа к исконно военной семье и зная по рассказам отца и брата кадетский быт, который я и сам уже раз наблюдал, я все же сознавал, что, поступая сразу в четвертый класс, должен был явиться для моих одноклассников, сжившихся друг с другом за три года совместной жизни, человеком чужим и во всех смыслах новичком, положение которых во всех учебных заведениях незavidно. Недаром брат Николай, верный духу нашего сурового деревенского обихода, предупредил меня многообещающе и зло-радно:

— Бить тебя там будут, брат, как в бубен.

— То есть как бить, за что?

— А так... чтобы кадета из тебя сделать. Там, голубчик, штрюков не любят...

Немудрено поэтому, что утром 15 августа 1910 года я вошел в просторный вестибюль кадетского корпуса в Воронеже с видом независимым, но с большим внутренним трепетом.

Усевшись на скамейку, пока отец ушел выполнять соответствующие формальности, я стал прислушиваться к странному глухому шуму, доносившемуся сверху, который, отдаваясь эхом по мраморным лестницам и пролетам, напоминал шум потревоженного улья. Поначалу все, кто впервые слышал этот характерный шум, принимали его за гомон кадет, стоящий весь день в коридорах. Однако впоследствии я убедился, что шум этот никакого отношения к голосовым способностям кадет не имел, а был просто эффектом корпусной акустики.

От нечего делать, в ожидании отца, я стал оглядывать вестибюль и все, что мне можно было видеть со скамейки. Небольшой бюст черной бронзы какого-то николаевского генерала привлек первым мое внимание к нише позади скамейки. Это оказался памятник,

поставленный основателю корпуса. На белой мраморной доске цоколя золотыми буквами стояла надпись:

«Генерал-лейтенант Николай Дмитриевич Чертков в 1852 году пожертвовал 2 миллиона ассигнациями и 400 душ крестьян для учреждения в г. Воронеже кадетского корпуса».

Кроме генеральского бюста, я ничего другого интересного в вестибюле не нашел; кругом никого не было, и корпус словно вымер. Мимо меня по коридору проходили куда-то, звеня шпорами, офицеры, не обращая никакого внимания на мою деревенскую фигуру. Где-то близко, видимо в столовой, негромко позванивала посуда. Так прошло около десяти минут, как вдруг страшный грохот барабана, грохнувшего, как обвал, заставил меня подскочить на скамейке от неожиданности. Прогредев где-то наверху, барабан смолк, а затем снова загрохотал этажом выше.

Через пять минут лестничные пролеты у меня над головой наполнились сдержанным гулом голосов и шарканьем сотен ног, спускавшихся по лестнице. С гулом лавины кадеты сошли сверху, и их передние ряды остановились на последней ступеньке, с любопытством оглядывая мою странную для них фигуру. Сошедший затем откуда-то сверху офицер вышел в вестибюль и, обернувшись к кадетам, скомандовал. Ряды их в ногу, потрясая гулом весь вестибюль, стройно двинулись мимо меня в столовую. Рядами прошли все четыре роты корпуса, начиная с длиннейших, как колодезный журавель, кадет-гренадеров строевой роты и кончая малютками, еще не умевшими «держатъ ноги». Пройдя в невидимую для меня столовую, роты затихли, а затем огромный хор голосов запел молитву, после которой столовая наполнилась шумом сдержанных голосов и звоном посуды: корпус, видимо, приступил к завтраку.

В этот момент ко мне подошел офицер и, спросив фамилию, приказал следовать за ним. На площадке второго этажа он остановился перед высокой деревянной перегородкой, отделявшей коридор от площадки лестницы, и постучал. Большая дверь с надписью: «Вторая рота» немедленно открылась, и мы вошли. По длиннейшему коридору, в который с обеих сторон выходили двери классов и огромные спальни, мы пришли в самый его конец, повернули налево в другой коридор и остановились перед дверью с надписью: «Цейхгауз». Как в коридоре, так и во всех остальных помещениях роты стояла звенящая в ушах тишина и не было ни души.

Бородатый солдат с медалями, одетый в кадетскую рубашку и с погонями, носивший звание «каптенармус», по приказу пришедшего со мной офицера, который, как я потом узнал, был мой новый ротный командир — полковник Анохин, одел меня с ног до головы в казенную одежду: неуклюжие сапоги с короткими рыжими голенищами, черные потрепанные брюки и парусиновую

рубашку с погонами и черным лакированным поясом с тяжелой медной бляхой и гербом.

Пригонка обмундирования была самая поверхностная, поэтому ни одна его часть не соответствовала размерам тела. Брюки были невероятно широки и длинны, рубашка напоминала халат, погоны уныло свисали, причем упорно держались не на плечах, а почему-то на груди.

Но всего хуже произошло с сапогами: из огромной кучи этой обуви мне самому предложили выбрать пару по ноге. Это было бы нетрудно, если бы правые и левые сапоги не были перемешаны в самом живописном беспорядке, так что двух одинаковых сыскать оказалось совершенно невозможно; мне пришлось удовольствоваться двумя разными и поэтому разноцветными. На робкое замечание, которое я позволил себе сделать, что одежда мне «пришлась не совсем», каптенармус ответил бодрым тоном, что «это пока», так как обмундирование, которое он на меня напялил, «повседневное и последнего срока». Здесь же, в цейхгаузе, меня посадили на табуретку и откуда-то вынырнувший парикмахер-солдат, пахнувший луком, наголо облованил мне голову машинкой «под три нуля».

Когда я по окончании всех этих пертурбаций сошел опять вниз к отцу проститься, он только засмеялся и покачал головой. С жутким чувством жертвы, покинутой на съедение, я расстался с отцом и поднялся в роту, куда из столовой уже вернулись кадеты. Ротный командир сдал меня дежурному офицеру, усатому, выступающему, как гусь, подполковнику, который сообщил мне, что я назначен в первое отделение четвертого класса...

Так началась моя кадетская жизнь.

ТОВАРИЩИ

Кадетский корпус!.. Сколько чувств и воспоминаний теснится при этих словах в душе каждого, кто его окончил...

Грязная лапа большевизма, опошляющая все прекрасное, до чего бы она ни касалась, осквернила и хорошее русское слово «товарищ», столь дорогое для нас, старых кадет, привыкших связывать с ним все наиболее светлое и хорошее из учебных лет, проведенных в родном корпусе.

Нигде в России чувство товарищеской спайки так не культивировалось и не ценилось, как в старых кадетских корпусах, где оно достигало примеров воистину героических. Суворовский завет «Сам погибай, а товарища выручай» впитывался в кадетскую плоть и кровь крепко и навсегда. Поэтому для меня слово «товарищ» сохраняет свой прежний смысл — тот, который давали ему наши кадетские традиции, а не мерзкую окраску, приобретенную им в глазах всех порядочных людей благодаря «светлому октябрю».

Воронежский кадетский корпус в николаевские времена был известен на всю Россию суровостью своего первого директора — генерала Винтулова, который в пятидесятых годах запарывал кадет до потери сознания. Таким же был и его первый заместитель, однорукий генерал Бреневский, но уже при третьем директоре корпуса, а именно при генерале А.И. Ватаци, когда в России начались гуманные веяния, порка была навсегда отменена. Однако тяжелые воспоминания старого времени еще жили при мне в корпусе, в котором учился внук Винтулова — кадет Андреев. Жив был и сын генерала Винтулова, занимавший перед войной пост начальника ремонта кавалерии и иногда приезжавший в корпус.

Я поступил прямо в четвертый класс, что было явлением не совсем обычным, а потому на первых порах встретил со стороны кадетского коллектива к себе отношение критическое и выжидательное. Для кадет моего отделения, привыкших уже друг к другу за три года совместной жизни, я был, конечно, элементом чуждым или «шпаком», как именовались на кадетском языке все лица, не принадлежавшие к военной среде.

В младших классах новичков обыкновенно поколачивали «майоры» — второгодники, делая из них такими мерами «настоящих» кадет. В четвертом же классе, находившемся не в младшей, а во второй роте, подобный способ был уже не принят — товарищи ограничивались в отношении меня лишь насмешками, если я, с кадетской точки зрения, совершал тот или иной промах.

Надо правду сказать: для подростка в 14 лет, каким я был тогда, да еще после усадебного приволья, сделаться кадетом было не так-то легко. Недостаточно лишь надеть кадетскую форму, надо, кроме того, узнать кадетскую среду и привыкнуть к ее быту, изучить ее язык и обычаи — словом, морально и физически переродиться. А сделать это было необходимо и возможно скорее в моих собственных интересах, так как печальный результат сопротивления корпоративным началам и традициям был у меня перед глазами.

В один год со мною, но в другое отделение того же класса приехал князь Д. — горячий и смелый кавказец, с первых же дней начавший себя вести вызывающе в отношении его одноклассников, которые над ним, как и над всяким новичком, вздумали потешаться. Обладая значительной физической силой, Д. за это поколотил нескольких своих обидчиков из старых кадет. Этого кадетский коллектив терпеть от чужака не захотел. В один печальный для князя вечер ему устроили в спальне «темную», то есть, накрыв неожиданно одеялом, жестоко избили. Привыкший у себя дома к почету и уважению, бедный князек оказался сильно помятым, но благоразумно смирился. Впоследствии он сам сделался одним из наиболее рьяных защитников кадетских обычаев.

Самым трудным кадетским ремеслом для меня поначалу, естественно, были всякого рода строевые занятия. Мои товарищи по классу, уже изучившие за три года пребывания в корпусе военный строй, конечно знали его твердо, тогда как для меня это была совершенно новая наука, которую приходилось не только воспринимать вновь, но и догонять других в отчетливости ее выполнения.

Первые недели я, как истинный новобранец, путал все строевые движения своего отделения, что сердило офицера-воспитателя и возбуждало веселье кадет. Однако с течением времени все вошло в нормальную колею. Через год в качестве правофлангового я уже давал равнение моему отделению. Помогло здесь и то, что благодаря жизни в деревне я был крепким и здоровым мальчиком, привыкшим ко всяким физическим упражнениям, вырабатывающим у человека чувство темпа.

Еще одна сторона кадетской жизни, которую надо было изучить, — это искусство иметь «воинский вид». Чтобы носить военную форму, нужна не только привычка, но и умение, без чего человек, будь он мальчиком-кадетом или взрослым, выглядит в форме только переодетым штатским, как это резко бросается в глаза у артистов, играющих на сценах театров роли офицеров. Мундир, шинель, фуражку и даже башлык надо уметь носить, без чего из мальчика никогда не получится «отчетливого кадета» и вообще военного.

Для придания «воинского вида» надо мной в поте лица трудились несколько месяцев подряд не только офицер-воспитатель полковник Садлуцкий, но и все кадеты отделения, для которых это было вопросом самолюбия. Мне пришлось заново учиться говорить, сидеть, ходить, стоять, здороваться, кланяться — словом, перестроить все мое существо на новый лад.

Надо отдать справедливость моим одноклассникам — никто из них ни при каких обстоятельствах не отказывал мне ни в совете, ни в помощи. Скоро я начал чувствовать, что холодок, с которым меня встретило отделение, постепенно исчез. Я также все более чувствовал симпатию к своим новым товарищам. Из них несколько человек стали для меня истинными друзьями. Ощущение солидарности и спайки овладело мной окончательно после того, как однажды я подрался с кадетом другого отделения и вдруг, к моему изумлению и несказанному удовлетворению, мне на помощь бросились чуть ли не все мои одноклассники, хотя в этом не было для меня никакой надобности.

К Рождеству полковник Садлуцкий решил, что я принял наконец кадетский вид, научился ходить и отдавать честь, а потому могу быть им отпущен в город без особенного риска «осрамить роту». А осрамить было нетрудно, ибо в то доброе старое время существовало великое разнообразие форм, чинов, погон и знаков отличия, для распознавания которых требовалась немалая практика и на каковой предмет в ротах висели карты с прекрасно испол-

ненными в соответствующих цветах образцами погон чинов русской армии и флота, начиная с генерал-фельдмаршала и кончая рядовым роты дворцовых grenадер.

Из общих правил для обозначения чинов было, однако, множество исключений и отклонений, хотя и имевших под собой основания и резоны, но зачастую совершенно сбивавших с толку неопытных кадет и юнкеров, поступивших в училище из штатских учебных заведений. Неудивительно поэтому, что с кадетами младших классов, еще нетвердыми во всех этих тонкостях, постоянно происходили забавные недоразумения, которые для меня, как кадета второй роты, были совершенно недопустимы. Так, помню, что один маленький кадетик, идя по улице со своей мамашей, стал лихо во фронт какому-то военному фельдшеру из подпрапорщиков, сложность погон которого поразила его воображение. Другой с презрением отвернулся и не отдал чести фельдмаршалу Милютину, шедшему в накидке времен Александра II и в нахлобученной фуражке с громадным козырьком.

Я сам в первый год моей кадетской жизни отдал честь bravому солдату-кавалергарду в полной парадной форме — огромному и сияющему медной кирасой и каской с орлом, в белом блестящем колете, неожиданно вышедшему на меня из-за угла улицы, как живой памятник воинской славы.

Выпустить меня на улицу в первый раз хотя и выпустили, но не одного, а под наблюдением старшего в отделении Бори Костылева, шедшего в город по одному делу со мной, а именно к фотографу.

Этот снимок, первый в военной форме, был для моей семьи вопросом чести. Начиная с самых отдаленных предков и в течение пятнадцати поколений, от отца к сыну и внуку, без единого перерыва, моя семья несла свои «дворянские службы» на ратных полях «конно, людно и оружно». Не было на протяжении последних пятисот лет в истории России ни одной мало-мальски крупной кампании, в которой не участвовали бы члены нашей семьи. Жаловались они при Иване Третьем и Грозном царе вотчинами «за государевы ратные службы», при первом Романове «за московское осадное сидение». Награждались жалованными царскими «золотыми» за «многие труды и раны» при славном царе Алексее Михайловиче. Участвовали «порутчиками» и «цейхвеймейстерами» в походах Петра Великого, ходили майорами и бригадирами с Суворовым через Альпы. В Отечественную войну трое из моих прадедов стали молодыми генералами. От полученных в венгерской кампании ран и лихорадки погибли два моих деда. Третий — мой тезка по имени, отчеству и фамилии — погиб в лихой конной атаке под Силистрией в турецкую кампанию на Дунае. Его брат прямо со школьной скамьи, юным прапорщиком, пошел на усмирение польского восстания.

В нашем старом помещицьем кругу с военной службой не связывали каких-либо выгод или приобретений материальных благ; она, скорее, была моральным долгом каждого мужского представителя семьи по отношению к Родине, давшей дворянству «вольности и привилегии».

По этим причинам в кругу, к которому принадлежала моя семья, на военной службе оставались недолго, выходя в запас и отставку в чинах не выше ротмистра, прослужив лет с десяток в молодости. «Свиты Его Величества подпоручик корпуса коноводных» — важно расписывался на бумагах мой прадед и ни за что не хотел менять этого почетного звания на довольно значительный штатский чин, на который имел право за долгую службу по выборам. Отец мой, вышедший в отставку капитаном-инженером, как только отбыл обязательный за Академию и училище срок, не допускал и мысли о возможности для меня другой службы, кроме военной, в чем я с ним был вполне согласен.

Поэтому-то теперь, впервые надев погоны, я и шел сниматься в военной форме, чего от меня категорически потребовал отец. Костылев и два других кадета нашего отделения, тоже отправлявшиеся к фотографу, еще не выходя из помещения роты, проявили ко мне самое братское попечение. Одев и осмотрев меня, как мать невесту, они чуть не подрались, оправляя на мне складки шинели, раза три-четыре снимали и снова надевали фуражку на мою стриженую голову и после долгих препирательств забраковали казенный башлык, заменив его собственным одного из них, который, толкаясь и сопя, приладили по всем правилам хорошего кадетского тона. Тут же, не выходя на улицу, было условлено, что при встрече с каким-либо начальством, которому полагалось становиться во фронт, я немедленно должен буду занять левый фланг, где будет не так заметно, ежели учиню служебный гаф.

Путешествие к фотографу обошлось, впрочем, вполне благополучно: моя первая фотография в военной форме была отослана домой, чтобы украсить семейный альбом. Мне она казалась тогда прекрасной, но впоследствии, перейдя в старшие классы и постигнув все тонкости военного щегольства, при взгляде на эту карточку я мучительно краснел от изображенной на ней маленькой фигурки в стоящей колом шинели. Кончилось тем, что я тайно от отца вытащил ее из альбома и истребил, о чем, разумеется, потом очень жалел.

ОДНОКАШНИК

Весной 1911 года я остался на второй год в пятом классе корпуса. В наказание отец не взял меня на лето домой, и я был принужден провести каникулы в лагере, находившемся в пяти верстах от г. Воронежа, в лесу, на берегу небольшой речки. Каждое

лето в нем жило около двух десятков кадет, не имевших возможности почему-либо провести лето дома или бывших круглыми сиротами.

Лагерь состоял из деревянных бараков, стоявших в лесу, в которых жили кадеты и офицеры. Перед бараками был небольшой плац, увенчанный мачтой с флагом корпуса и его вензелем. В бараке, где помещались кадетские кровати, мы проводили все время, когда были не на воздухе или в дождливую погоду.

День наш начинался в 8 часов по «первой повестке», которую подавал на трубе солдат или барабанщик. По ней мы вставали и шли в умывалку — длинный, стоявший в лесу дощатый сарай, в котором находились умывальники с проточной водой и уборная.

По «второй повестке» кадеты выстраивались перед главным баракom, по команде дежурного офицера сигнальщик играл повестку и поднимал флаг на мачте, а мы пели молитву и гимн, после чего строем шли в барак-столовую пить чай. После чая каждый делал, что хотел, при условии не выходить из расположения лагеря до завтрака, после которого под командой дежурного офицера нас вели на прогулку в лес, а если погода была солнечная, то купаться в реке. Возвратясь в лагерь, мы пили чай, тянули время, как кто мог, до обеда, а затем ужинали и в 9 часов ложились спать. Раза два или три в неделю катались на лодках и собирали грибы в лесу.

От скуки и безделья старшие кадеты часто шли на всякого рода шалости, одна из которых однажды едва не обошлась всем ее участникам — и в их числе мне — очень дорого. Состояла она в следующем.

Был в лагере кадет третьего класса Григорович — мальчик, плохо учившийся и не совсем, по-видимому, нормальный. Сидя в каждом классе по два года, он достиг уже 15-летнего возраста, и все его интересы вращались вокруг сексуальных вопросов, благодаря чему он вечно рассказывал малышам-одноклассникам всякие гадости.

В кадетской среде, состоявшей из мальчиков поголовно здоровых физически и морально, это было не принято, и к Григоровичу товарищи относились с брезгливостью. Попав в лагерях в один барак с младшими кадетами, мы, старшие, об этом узнали и несколько раз приказывали Григоровичу прекратить грязные разговоры, чему он не подчинился. Это шло вразрез с правилами кадетского общежития, поэтому было решено его наказать и одновременно поднять на смех в глазах маленьких кадет, которым он благодаря своему возрасту невольно импонировал.

Зная, что Григорович был большой трус и явно боялся темноты и леса, мы, группа старших, в один дождливый вечер, когда все сидели в спальне, начали, заранее сговорившись, разговор о привидениях, покойниках и прочих ужасах, причем один из кадет «признался», что видел в лесу, около умывалки, привидение. Мы,

старшие, подхватив эту тему, заявили, что давно заметили при-
зрак, но не говорили о нем, чтобы не испугать маленьких. Гри-
горович от этих разговоров весь сжался и неуверенным, дрожащим
голосом, по-видимому, чтобы успокоить самого себя, заметил, что
«может быть, это только кажется».

Во время горячего обсуждения этого вопроса я с другим старшим
кадетом вышли незаметно из барака и спрятались в лесу рядом с
умывалкой, предварительно предупредив кадет, чтобы никто из
них не выходил из барака с Григоровичем.

Через полчаса ожидания мы увидели в сумерках его трусливую
фигурку, которая двигалась по тропинке, робко вглядываясь в
темнеющий с двух сторон лес. В этот момент, нарушая все наши
планы, я из озорства заорал на весь лес диким и дурашливым
голосом.

Григорович подпрыгнул на месте от неожиданности, издал какой-
то заячий вопль и рухнул на землю без движения. Мы бросились к
нему, уверенные в том, что он умер от страха, но, к счастью, он
оказался в обмороке, и с ним случился детский грех. Тогда мы
перенесли его в барак и привели в чувство, сами донельзя испугав-
шись своей глупой шутки, едва не обратившейся в трагедию.

Григорович после этого обратился в общее посмешище, но меня
стала мучить совесть, что я так жестоко с ним поступил. Я всячески
искал случая, чтобы искупить перед ним мою вину. Во время
пребывания в лагере, а затем в корпусе этого случая, однако, не
представилось, так как в тот же год, перед Рождеством, Григорович
попал в «декабристы», то есть был исключен из корпуса в числе
тех кадет, которых начальство ежегодно исключало в декабре
месяце за неуспехи в науке и, как кадеты шутили, «за разнооб-
разное поведение».

Судьба, однако, дала мне возможность искупить мою вину перед
Григоровичем много лет спустя и при обстоятельствах не совсем
обыкновенных. Окончив корпус и военное училище, я более или
менее благополучно вышел из всех перипетий первой великой
войны и революции и летом 1918 года служил в рядах Офицерского
конного полка Добровольческой армии. В первых числах августа
после занятия нами Новороссийска я приказом полковника Куте-
пова, тогда командовавшего нашей бригадой, был назначен стар-
шим плац-адъютантом комендантского управления. Для создания
сложного государственного аппарата, который бы заменил собой
царскую администрацию области, у добровольческого командова-
ния не было ни людей, ни возможностей. Поэтому в Черноморье
вся законодательная, судебная и исполнительная власть сосре-
доточилась в руках только двух учреждений: штаба военного губер-
натора и комендантского управления.

Моим начальником оказался полковник Васьков — сумрачный
пожилой человек, который терпеть не мог разговоров, не относя-

щихся к военной службе, почему и возложил на меня все сношения с гражданской частью населения. Между тем в Новороссийске и его окрестностях не было ни одного вопроса человеческого бытия, за разрешением которого жители не шли в «комендантское». Дело дошло наконец до того, что ко мне однажды явились две милые дамы за указанием, как им улучшить их материальное положение.

Помимо всевозможных отделов при комендантском управлении состоял и военный суд, заседавший два раза в неделю для осуждения большевистских комиссаров, арестованных на Черноморье, и преступлений, совершенных чинами армии. Ввиду отсутствия чинов военно-судебного ведомства членами суда являлись офицеры Кубанского стрелкового полка, стоявшего гарнизоном в Новороссийске, под председательством полковника Крыжановского.

По условиям тогдашнего сердитого времени суд этот действовал строго и скоро: большинство его приговоров кончалось расстрелом. Однажды утром из местной тюрьмы конвой привел очередную партию подсудимых, среди которых оказался рослый молодой человек, одетый в элегантную военную форму, хотя и без погон. Лицо мне показалось странно знакомым. Приглядевшись к нему, я узнал... Григоровича. После исключения из кадетского корпуса, как оказалось, он жил, «околачивая груши», у своего отца, занимавшего в Новороссийске должность воинского начальника.

С учреждением в этом городе Черноморско-Кубанской республики во главе с кочегарами Черноморского флота Григорович из любви к женщинам и вину примазался к компании пьянствовавших с утра до вечера комиссаров, с которыми его постоянно видели жители города. После бегства красных — разбитой нами Таманской армии Сорокина — он выехал куда-то, но вскоре вернулся и, вероятно, надеясь на заступничество отца перед добровольцами, поселился у него. Оpoznанный на улице жителями, он был арестован и предан суду.

Не знаю, занимал ли Григорович у большевиков какую-либо определенную должность; вернее, он просто вел с ними приятельство в качестве специалиста по местным значным местам и любителя женщин и дарового угощения. Как бы то ни было, его поведение при красных никак не приличествовало сыну царского полковника, тем более что в этот период на одном из молотков Новороссийска был целиком расстрелян весь офицерский состав Варнавинского пехотного полка, который имел несчастье в этот момент прибыть на транспортах с Кавказского фронта.

Узнав меня, Григорович взревел белугой и, обливаясь слезами, стал умолять дать ему револьвер, чтобы застрелиться, так как не сомневался, что суд приговорит его к расстрелу. При этом он то пытался меня обнять, как старого товарища, то становился на колени и молил спасти от смерти.

В память прошлого я его пожалел и подал председателю суда докладную записку, в которой изложил, что знаю Григоровича с детских лет, был свидетелем его исключения из корпуса как умственно отсталого и морально дефективного мальчика, а потому, считая его не вполне отвечающим за поступки, полагаю, что он не несет полностью за них ответственность. Суд принял во внимание это свидетельство и вместо казни приговорил Григоровича к 20 годам каторги, что в те времена являлось чистой фикцией, ибо отец его имел достаточно времени, чтобы за свою службу просить добровольческое командование о смягчении участи сына.

Вечером после заседания суда полковник Крыжановский зашел ко мне в канцелярию и недовольным тоном спросил:

— Откуда у вас, ротмистр, неожиданная нежность сердца? Чего ради вы сегодня хлопотали за этого с. с.?

— Господин полковник, он мой однокашник по корпусу... В старое время однажды по мальчишеской глупости я едва не отправил его на тот свет и этого не забыл.

— А вы какого корпуса?

— Воронежского...

— Да ну! — просиял полковник. — Ведь я тоже воронежец, выпуска 1910 года.

— Очень рад... значит, вы тоже, хотя и не подозревая этого, выручили из беды однокорытника, тем более, поверьте мне, он не большевик, а просто дурак.

— Что ж, спасибо, если это так... я очень рад...

Судьбы трех главных действующих лиц этой старой истории сложились затем по-разному, как разны вообще человеческие судьбы. Григорович после эвакуации нами Новороссийска был освобожден из тюрьмы большевиками и, вероятно, как «пострадавший за идею», преуспел. Полковник Крыжановский накануне своего производства в генералы погиб под Армавиром, зарубленный красными. Что же касается автора настоящих строк, то он доживает на чужбине свой век, полный событий, которых в другую, более нормальную эпоху с избытком хватило бы на три человеческие жизни...

СКАНДАЛ В ЛАЗАРЕТЕ

Испытав на себе все блага товарищеского отношения и всосав в себя кадетские традиции, я с переходом в первую роту стал одним из самых горячих их защитников и сторонников, а перейдя в шестой класс, за это жестоко пострадал. Причиной этого памятного мне происшествия явилось то, что подъем с постели в шесть часов утра в ноябре и декабре являлся для меня поистине мукой. Холод в это время в спальне стоял адский, спать хотелось до обморока, а к этому прибавлялось еще и то, что за окнами чернела

ночь и весь город спал. И во всем этом городе только длинный ряд освещенных окон корпуса светился над глубоко еще спавшим Воронежем. Бывали дни, когда, не выдержав пытки раннего вставания, кадеты забирались куда попало, лишь бы доспать хотя бы несколько минут.

Чаще всего для этого служила «шинельная комната», где складывались запасные одеяла и висели наши шинели. Проскользнувшему туда незаметно для офицера и дежурных дядек счастливцу представлялась возможность заснуть на гряде одеял и ими же укрыться с головой, как для тепла, так и для укрытия собственной особы. В подобном положении слоеного пирога иные спали так долго, что пропускали чай, утреннюю прогулку и два-три первых урока.

Большим затруднением, однако, служило то обстоятельство, что ход в «шинельную» вел через дежурную комнату и надо было войти и выйти так, чтобы дежурный этого не заметил, что было нелегко. Кроме того, в случае поимки преступление это очень строго каралось. Поэтому более спокойным и безопасным местом для любителей поспать являлся корпусной лазарет, бывший вообще приятным местом.

В отличие от неуютных казарменных помещений роты, в которых проклятые служители распахивали настежь все окна по утрам, не считаясь ни с сезоном, ни с погодой, здесь, в уютных лазаретных комнатuşках, стоял по утрам приятный полумрак и потрескивали дрова в печах, наполнявших палаты теплом и сонной дремотой. Кровати также здесь были особенные: широкие и мягкие, манявшие к кейфу и отдыху. За пять лет корпусной жизни мне, однако, ни разу не удалось заболеть и попасть в лазарет, так сказать, на законном основании. Однако для незаконного отдыха в лазарете у нас в старшей роте имелись верные и испытанные способы.

Маленькие кадеты, обыкновенно с детской наивностью, пытались незаметно для врача и дежурного фельдшера «настукать» температуру до требуемой правилами цифры 37,6, однако это при наличии в лазарете опытного и испытанного в кадетских фокусах персонала удавалось редко. В строевой же роте умели попадать в лазарет, не прибегая к таким допотопным средствам. У нас просто имелись в роте несколько термометров одинакового образца с казенными, и взыскивающий больничного отдыха являлся к врачу на осмотр, уже имея под мышкой один из этих градусников, заранее нагретый до нужной температуры. Казенный градусник, который ставился фельдшером, затем роняли под рубашку, а через пять минут извлекали из-под другой руки собственный, с необходимой по закону температурой.

Попав однажды таким способом в лазарет на положение болящего, я оказался в нем старшим из находившихся там кадет. Нужно сказать, что в корпусном лазарете суточные дежурства

несли военные фельдшера, окончившие Военно-фельдшерскую школу и хотя носившие звание унтер-офицеров, но, как все недочулки, имевшие о себе очень высокое мнение. Все они были чрезвычайно франтоватые молодые люди, носившие форму с писарским шиком и считавшие себя гораздо выше той среды, в которую их поставила судьба. Подобно большинству полуинтеллигентов, отошедших от народа, но в господа не попавших, они были заносчивы и настроены весьма оппозиционно ко всякому начальству, боялись старших кадет, перед которыми заискивали, и были грубы с маленькими, если это происходило без свидетелей.

На второй день пребывания в лазарете малыши мне доложили, что накануне за завтраком дежурный фельдшер в отсутствие заведующего госпиталем офицера полковника Даниэля грубо обругал одного из маленьких кадет, обратившегося к нему с какой-то просьбой. В качестве старшего в лазарете я немедленно по уставу доложил о происшествии Даниэлю при первом своем с ним свидании. Однако он, привыкший к постоянным трениям между кадетами и фельдшерами, не обратил на мой доклад должного внимания и не заставил фельдшера извиниться, как этого требовал корпусной обычай.

Убедившись, что никакого извинения не последовало, как и взыскания фельдшеру со стороны офицера, я дал об этом знать в первую роту, которая, собравшись в курилке — обычном нашем клубе, в лице своих старшин вынесла постановление наказать фельдшера и одновременно выразить свое неудовольствие полковнику Даниэлю в виде «бенефиса», который должны были дать кадеты, находящиеся в лазарете, этому фельдшеру, когда он останется один на дежурстве после того, как Даниэль уйдет к себе на квартиру, находившуюся под помещением лазарета.

Провести постановление строевой роты должен был я как ее представитель и старший из больных кадет. В 10 часов вечера, когда все лежали в кроватях, а Даниэль ушел к себе, по моему сигналу во всех палатах начался кошачий концерт, а прибежавшего на шум фельдшера забросали подушками и плеватьельницами. Спешно им вызванный полковник немедленно арестовал меня, как старшего, и отослал под арест в роту. Это было совершенно резонно и вполне согласовалось с военными правилами, по которым старший всегда отвечает за происшествие.

На другой день спешно созданный педагогический совет пригласил меня к аресту на неделю и к сбавке балла за поведение с 11 до 2. Это являлось своего рода рекордом и даром не прошло. В карцер ко мне явился с неожиданным визитом сам директор корпуса генерал-майор Михаил Илларионович Бородин. Это был добрый и справедливый человек, весьма уважаемый кадетами. До назначения директором корпуса он состоял воспитателем детей великого князя Константина Константиновича — Иоанна и Кон-

стантина, что несомненно доказывало его исключительные педагогические способности, так как великий князь, главноначальствовавший над всеми военно-учебными заведениями России, имел для выбора гувернера своих сыновей более чем широкие возможности. В седьмом классе генерал Бородин преподавал русскую литературу. Преподавал прекрасно, отличаясь по тогдашнему времени большой широтой взглядов и даже либерализмом.

Большой и важный, с красивой бородкой на две стороны, по случаю какого-то праздника во всем блеске своего парадного генеральского мундира и орденов, он долго стоял передо мной, склонив голову набок и рассматривая меня с головы до ног, словно видя в первый раз, а затем медленно и многозначительно произнес: «Был конь, да изъездился, был кадет, да испортился», — и посоветовал мне немедленно написать письмо отцу, чтобы он взял меня из корпуса на время «по болезни», пока... все утрясется.

В мое время это была мера, применявшаяся в кадетских корпусах по отношению к кадетам, хорошо учившимся и добропорядочного поведения вообще, но которые в период формирования ни с того ни с сего начинали дурить и беситься. Обыкновенно этот период кадеты переживали во второй роте, то есть в четвертом или пятом классе, почему эта рота считалась среди воспитателей самой трудной, в ней кадеты были не большие и не маленькие. У меня, как совершенно правильно определил директор, этот период запоздал и совпал с шестым, а не пятым классом.

Отец мой, сам бывший кадет, прекрасно знавший корпусной быт, сразу разобрался в положении вещей, и через неделю я уже жил в родной усадьбе на положении сыльнопоселенца.

Должен признаться: за все мои учебные годы это был самый счастливый период моей жизни. Увлечшись охотой с борзыми, я, правда, забросил науки и, вернувшись через три месяца в корпус, срезался на весенних экзаменах и засел на второй год в шестом классе, но, положив руку на сердце, никогда не жалел и не жалею до сих пор этого «погибшего» для меня года, давшего мне взамен перехода в седьмой класс столько охотничьих радостей, жгучих и полных.

НОВИЧКИ И «МАЙОРЫ»

Воронежский великого князя Михаила Павловича кадетский корпус, который я кончил перед первой мировой войной, делился на четыре роты, причем в младшую, четвертую, входили два первых класса и одно отделение третьего. Сам я в этой роте не был, поступив сразу в четвертый класс, как выше упоминал, и познакомился с жизнью «младенцев», ее составлявших, благодаря младшему брату моему Евгению, принятому в первый класс тогда, когда я уже состоял в строевой роте.

В качестве старшего брата, уже не ребенком, а сознательным и рассуждающим юношей, я присутствовал при вступлении братишки в корпус и наблюдал его первые кадетские шаги. Привез на экзамен Женю отец, я же являлся свидетелем того, как на медицинском осмотре была забракована после выдержанных экзаменов целая куча ребят под мрачное молчание отцов и стенания мамаш и детей. Зато после того, когда в коридоре наконец выстроили шеренгой всех прошедших экзамены и осмотр, на них было приятно смотреть. Это были крепкие, как орехи, румяные малыши, без всякого сомнения годные вынести годы кадетской муштры.

С этого дня я стал почти ежедневным посетителем четвертой роты и с интересом наблюдал ее жизнь и быт. Первые две недели все сто вновь поступивших в младший класс ребятишек ревели без перерыва в сто голосов, требуя, чтобы их освободили от заключения и отпустили к маме. На всех дверях и входах сутки подряд в это время дежурили дядьки, зорко наблюдая за тем, чтобы малютки не удрали из корпуса. В большинстве случаев семьи новичков жили в сотнях и тысячах верст от Воронежа, с каковым фактом малыши совершенно не считались и норовили при первом же недосмотре за ними удрать, хотя бы и в одной рубашке, домой. Особенной привязанностью к родным местам отличались маленькие кавказцы, от тоски по родным горам и семье первое время чахнувшие и хиревшие, а иногда и серьезно заболевавшие.

Немудрено поэтому, что дежурному по роте офицеру-воспитателю приходилось первое время все двадцать четыре часа его дежурства не столько начальствовать и приказывать, сколько вытирать десятки носов и реки слез и по мере своих сил и способностей успокаивать маленьких человечков, пришедших в отчаяние от первой разлуки с родной семьей.

Впрочем, не лучшим было положение дежурных офицеров и позднее, когда детишки привыкли к корпусу и им уже не требовалось вытирать носов и слез. Две сотни маленьких живых, как ругать, сорванцов с утра до ночи звенели пронзительными дискантами в классах и коридорах, играли, дрались, бегали и давили друг из друга «масло», иногда по двадцати душ зараз устраивали малую кучу и просто бесились.

Разнимать драки и умирять всю эту возню было совершенно немислимо и бесполезно: едва прекратившись в одном месте, она немедленно начиналась в другом углу огромного помещения роты. Поэтому служба воспитателей в четвертой роте была своего рода чистилищем, через которое, однако, каждый из них должен был пройти, доведя свое отделение до выпуска и приняв новое. Офицеры после дежурства здесь выходили потными, красными и совершенно измученными.

Когда я пришел в младшую роту в первый раз, у меня буквально зазвенело в ушах от неистового крика и топота по паркету сотен маленьких ног. Явившись по уставу в дежурную комнату за разрешением повидать брата, я застал в ней на редкость колоритную картину: оглушенный и совершенно опалевший бравый подполковник сидел посреди комнаты на стуле в обществе десятка ревущих во весь голос ребят, из которых двое лежали головами на его коленях. На мой рапорт подполковник только жалко улыбнулся и развел руками, показывая всю свою беспомощность. Приходилось поэтому действовать самому.

Выйдя в коридор, я поймал поперек живота мчавшегося куда-то мимо «младенца» с оттопыренными, как крылышки, крохотными погонами на плечах и приказал ему разыскать и привести ко мне Маркова 3-го. По старому военному правилу, заведенному еще в николаевские времена в корпусе, как и вообще повсюду в военной среде, если в корпусе, училище или полку было несколько лиц, носивших одну и ту же фамилию, то они различались не по имени, а по номерам, дававшимся в порядке старшинства. Я поэтому в корпусе был Марковым 1-м, мой однофамилец — казак из второй роты был 2-м, а братишка числился Марковым 3-м.

Найти этого последнего, однако, оказалось не так просто: во всех помещениях роты шла общая возня и, по полученным мною сведениям, он должен был находиться на самом дне огромной кучи кадетиков, визжавших, как грешники в аду, и барахтавшихся на полу коридора. Вытащив наугад за ногу двух или трех, я наконец обнаружил и Маркова 3-го, вымазанного чернилами и пылью, как Мурзилка, и ярко-красного, как пион, от увлекательной возни.

Гуляя затем с ним и тремя его друзьями по длинному коридору, я выслушал длинное повествование о горькой судьбе и злоключениях бедных новичков-первоклассников, которых «по традиции», на правах старших, жестоко обижали «майоры»-второгодники, не говоря уже о старших классах. Приемы этого младенческого «цука» поражали своим разнообразием и оригинальностью и были, очевидно, выработаны целыми поколениями предшественников. Суровые «майоры» первого класса заставляли новичков в наказание и просто так «жрать мух», делали на коротко остриженных головенках «виргуля» и «смазку» и просто «заушали» по всякому случаю и даже без него.

Пришлось тут же, не выходя из коридора, вызвать к себе нескольких наиболее свирепых угнетателей первого класса и пригрозить им «поотрывать головы», если они впредь посмеют тронуть хотя бы пальцем Маркова 3-го и его друзей. Перед лицом правофлангового строевой роты, бывшего втрое выше их ростом, свирепые «майоры» отчаянного вида, сплошь покрытые боевыми

царапинами, трусили до того, что один даже икнул, и поклялись на месте не дотрагиваться больше до моих протезе.

В тот же день мне пришлось пройти и в третью роту, куда одновременно с братом поступил мой маленький кузен. Там также вызванным мною «майорам» я просто показал кулак и обещал их «измотать, как цуциков», если... впрочем, им, как более опытным, говорить много не пришлось — они меня поняли с полуслова...

В России брату кадетского корпуса окончить не довелось. Революция, а затем гражданская война на юге положили конец крепко налаженной кадетской жизни. Воспитанником шестого класса с двумя своими приятелями, когда-то доверчиво прижимавшимися к моему колену и излагавшими свои детские обиды, он поступил в Добровольческую армию. Брат, служивший вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конном полку, был дважды ранен и выехал в Константинополь в конвое генерала Врангеля, оба же его друга погибли в Крыму, защищая от красных последнюю пядь русской земли.

Окончив в Югославии Донской кадетский корпус и университет в Загребе, Женя состоял агрономом на правительственной службе, когда началась война с немцами. При приближении красных он снова поступил в армию, и дальнейшая его судьба неизвестна.

Он и его маленькие друзья, когда-то бывшие кадетики-малютки, как и их старшие товарищи, отцы и деды, честно выполнили свой долг перед Родиной до конца.

ЗАБАВНИКИ И ГЕРОИ

Однажды, вскоре после Рождества, в помещениях второй роты в совершенно необычайный час затрубила труба корпусного горниста. Не успели мы спросить офицера, дежурившего по роте, что это значит, как из коридора донеслась его команда: «Строиться в ротной зале!»

Одна уже эта команда показывала, что случилось нечто необычайное и торжественное, так как обычно рота строилась в коридоре. Едва она замерла по команде «Смирно!», как из боковых дверей вышел в полном составе корпусной оркестр, ставший на правом фланге, а за ним группой из дежурной комнаты появились все отделенные офицеры, также ставшие в строй на свои места.

К замершей роте из коридора появился, важно ступая, как всегда, наш ротный командир — полковник Анохин. Казак-донец по происхождению, он представлял собой маленького пузатого человека с глазами навывкате и пушистыми серыми усами. Его три дочери в противоположность отцу огромные, могучие брюнетки ходили в корпусную церковь, и в них «по традиции» был влюблен весь корпус. Человек очень добрый, Анохин искренне любил кадет и был большим любителем всяких торжеств.

Поздоровавшись с ротой, Пуп, как мы его непочтительно называли между собой, обратился к нам с речью. Красноречием он не отличался, и потому его обращение к нам больше состояло из коротких отрывистых фраз, в которые Анохин вкладывал обыкновенно всем известные истины, что добродетель должна торжествовать, а порок должен быть наказан.

После речи он вызвал из строя какого-то малыша третьего класса, приговоренного педагогическим советом к суровому наказанию — снятию погон. Наказание это практиковалось в корпусе только в младших трех классах и полагалось лишь за проступки пакостные и предосудительные.

Сообщив о приговоре плакавшему преступнику, Пуп величественно указал на него пальцем, причем из-за строя немедленно вывернулся крохотный ротный портной по кличке Иртыш и огромными портняжными ножницами срезал у взывшего от этой операции кадетика погоны. Затем обесчещенный таким манером «младенец» был отправлен на левый фланг роты, позади которой и должен был ходить до отбытия им срока наказания.

После этой неприятной экзекуции, всегда тяжело действовавшей на кадет, с детства привыкших считать погоны эмблемой чести, полковник Анохин сделал многозначительную паузу, отступил на два шага назад и, выпятив колесом грудь, повышенным голосом скомандовал:

— Кадет Греков! Два шага вперед, марш!

Из строя вышел и замер перед нами и начальством маленький белоголовый кадетик.

— А теперь, господа, — не спадая со своего торжественного тона и лишь подняв его на две октавы, продолжал ротный, — вместо вашего товарища, наказанного тяжким для всякого военного наказанием... д-да, именно тяжким!.. вы видите перед собой... кадета, совершившего благородный и героический поступок с опасностью для собственной жизни. Сегодня я получил от черкасского окружного атамана Войска Донского письмо... в котором он извещает меня, что... кадет Греков на Рождестве, будучи в отпуску, спас в станице С-ой провалившегося под лед мальчика. В воздаяние его подвига... кадет Греков всемилостивейше награжден государем императором медалью за спасение погибающих!

Закончив свою речь, полковник вынул из кармана футляр с медалью и, приколол ее на грудь Грекова, обнял и поцеловал его.

— А теперь, — заговорил ротный снова, — «ура» в честь вашего товарища-героя!

Рота радостно и оглушительно заорала «ура», оркестр заиграл туш, а бедный маленький Греков, с медалью на груди, пунцовый от смущения, не знал, куда ему деваться.

Не успели нам скомандовать «Разойтись!», как сотни рук подняли Грекова, а кстати и полковника Анохина и по старому обычаю

стали их качать до одурения под оглушительное, звенящее детскими голосами уже неофициальное «ура». Услышав эти радостные вопли, из других рот к нам прибежали делегаты и, узнав, в чем дело, помчались «домой» с новостью. За ужином в столовой, куда пришли все четыре роты корпуса, при нашем входе из-за столов загремело в честь Грекова новое, оглушительное под низкими сводами обеденного зала «ура» уже всем корпусом. Этому стихийному и благородному порыву радости за своего товарища, несмотря на то что ее выражение выходило за рамки корпусного порядка, не мешали ни улыбавшийся дежуривший в столовой ротный командир, ни один из четырех дежурных офицеров рот.

Награждение Грекова медалью имело тем же летом неожиданное и забавное продолжение. Лагеря корпуса находились верстах в пяти от Воронежа, в лесу, на берегу небольшой речки. Там, в деревянных бараках, жило ежегодно от июня до 15 августа около двух десятков кадет, не имевших почему-либо возможности провести летние каникулы дома.

В этом году вместе с другими остался в лагере кадет князь Шакро А., веселый и милый грузин, на редкость компанейский парень и прекрасный, как и все кавказцы, товарищ. Хотя он был всего только в четвертом классе, но, неоднократно «зимую» в одном и том же классе, имел на лице уже густую черную, как вороново крыло, растительность, выроставшую, по уверению кадет, через полчаса после бритья. Вместе с тем это был лихой кадетик, небольшого роста, но ловкий и прекрасно сложенный, обладавший веселым и беззаботным характером. С ним дружил его земляк, отчаянный храбрец абхазец Костя Лакорбай — на два года старше по классу и большой забавник.

И вот, скучая в лагере, за неимением других развлечений оба друга решили разыграть сцену «спасения погибающих». Для этого Костя должен был изобразить во время купания тонущего на глубоком месте, а Шакро «случайно» оказаться поблизости и вытащить погибающего. Все было заранее условлено и уговорено. Согласно выработанному плану Косте надлежало ударить из лагеря перед купанием кадет и влезть в реку, а затем, как будто увлеченному течением, тонуть и звать о спасении. Шакро же предстояло, также негласно выбравшись из лагеря, спрятаться в прибрежных кустах, а затем на призыв утопающего броситься в реку и вытащить Костю, когда его крики привлекут других кадет.

Блестяще задуманный план этот, однако, сорвался из-за Костиного ехидного поведения и вместо того, чтобы принести Шакро славу героя, сделал его объектом кадетской потехи.

Не входя в воду, Костя с шумом бросил в воду большой камень и отчаянно закричал о помощи. Шакро, которому из-за кустов обрыва ничего не было видно, услыша крик и, как говорится,

движимый лишь собственным мужеством и жаждой подвига, как лев, ринулся со своего обрыва вниз головой одетым, но, зацепившись за сук, перевернулся в воздухе и вместо спортивного «броса» позорно шлепнулся в воду на глазах подхोдивших к месту происшествия кадет под командой дежурного офицера.

Когда несчастный Шахро, мокрый и грязный, выбрался на берег, его встретил гомерический хохот товарищей, так как предатель Костя успел им уже рассказать всю историю. Под шумное веселье кадет бедный Шахро был прямо из реки отправлен офицером в лагерь под арест за самовольную отлучку. Заключение это он разделил, впрочем, братски со своим другом-предателем. Все лето потом кадетский лагерь шутил над этим приключением, а больше всех смеялся сам добродушный Шахро.

Прошло шесть лет, и все участники этой детской истории: Греков, Шахро А. и Костя — доказали на деле, что их детские стремления к подвигам, заложенные разумным воспитанием в родном корпусе, создали из них, мальчишек-забавников, истинных героев на поле чести.

Греков в рядах лейб-гвардии Атаманского полка, Шахро — драгун, а Лакорбай в Черкесском полку Туземной дивизии показали себя на войне доблестными офицерами. Корнетом абхазской сотни Костя отличался исключительной храбростью даже среди своего бесстрашного народа. Во время конной атаки полка в Галиции, когда его сотня отходила на прежние позиции под ураганным огнем австрийцев, он заметил, что под одним из его товарищей убита лошадь. Лакорбай немедленно повернул своего коня обратно и помчался на спасение товарища. Видя несущегося на них одинокого всадника, австрийцы сначала открыли ураганный огонь, а затем, прекратив стрельбу и поднявшись из окопов, с изумлением наблюдали непонятный им Костин маневр. Подскакав к раненому, Лакорбай поднял его на всем скаку к себе на седло и помчался обратно. Это было до такой степени смело и эффектно, что австрийцы вместо выстрелов проводили Костю громом рукоплесканий, а русские встретили его громовым «ура!»...

Судьба не простила Косте его постоянную игру со смертью на войне. Покрытый славой Георгиевский кавалер, он был убит в 1916 году. Абхазцы свято чтят его память как одного из своих национальных героев; милый Костя, без всякого сомнения, вполне заслужил эту честь своей беззаветной храбростью.

Да будет земля ему пухом!

ОФИЦЕРЫ-ВОСПИТАТЕЛИ

Ближайшим к кадетам начальством в кадетских корпусах являлись отделенные офицеры-воспитатели, которые принимали одно из отделений первого класса при поступлении кадет в корпус

и вели это отделение семь лет курса кадетского корпуса через все сциллы и харибды, невзгоды и радости до выпуска, переходя вместе со своими питомцами из роты в роту.

Естественно, что в течение этих семи лет, протекавших в стенах корпуса, взаимоотношения между офицером-воспитателем и кадетами его отделения в числе 25—30 человек имели большое значение для обеих сторон. Офицер составлял на каждого из своих кадет аттестацию, где в заранее напечатанных графах помещались все данные о его успехах, способностях, нравственных и физических качествах, поведении, прилежании и характере. Эти характеристики имели большое значение как для аттестации кадет на педагогических советах, периодически рассматривавших их, так и для поступления в военные училища. С другой стороны, начальство офицера-воспитателя в лице ротных командиров и директора корпуса весьма считалось с тем, как живет тот или иной воспитатель со своими кадетами, имеет ли между ними достаточный авторитет, привил ли дисциплину и имеет ли на них влияние. От всего этого зависела карьера офицера и его дальнейшая судьба.

В огромном большинстве случаев офицеры-воспитатели моего времени находились вполне на высоте порученной им задачи, так как попадали в корпус не иначе, как после 5—10 лет службы в полку, где успевали приобрести воспитательский стаж с молодыми солдатами, и при поступлении в корпус были аттестованы полковым начальством как выдающиеся в строевом и нравственном отношении. Благодаря такому подбору, а также тому, что большинство офицеров-воспитателей прошло специальные педагогические курсы, в корпусах не могло быть плохих педагогов. Если же таковые и появлялись, то начальство их скоро удаляло назад в строй, так как прежде, чем быть переведенными в корпус, они три года считались к нему только прикомандированными и проходили испытательный стаж.

В бытность мою в корпусе я прошел последовательно через руки трех офицеров, из которых первым при моем поступлении был подполковник Николай Иосифович Садлуцкий, кубанский казак по происхождению, плотный, атлетически сложенный брюнет с лихо закрученными, молодецкими черными усами. Жизнерадостный холостяк, человек добродушный и веселого характера, он чрезвычайно щепетильно относился к нуждам и интересам своих кадет, весьма о них заботился и даже советовал наиболее слабым по учению остаться на год-другой в классе вместо того, чтобы надрываться наукой сверх сил. Он был одним из самых старших офицеров-воспитателей и являлся первым кандидатом на получение роты. Многолетнее пребывание в корпусе приучило его никогда не выходить из себя, и он редко терял свое неизменное благодушие. Был он старым холостяком и все свое свободное время отдавал кадетам, которые его очень любили. Николай Иосифович питал

слабость к хорошим фронтовикам и гимнастам и любил военную службу, о которой никогда не устал рассказывать. Надо ему отдать полную справедливость в том, что он сумел внушить своим воспитанникам любовь и уважение к армии и службе в ней, хотя сам от нее получил немного. При нашем переходе в шестой класс он был произведен в полковники и получил роту, на чем его военная карьера и закончилась. Попав после революции в Сербию, Садлущкий занялся хиромантией как ремеслом, о чем многие годы подряд печатал статьи в белградском «Новом времени».

После него наше отделение принял подполковник Завьялов, которого кадеты за гордо закинутую назад голову и разлапистую походку прозвали Гусем. Жили мы с ним в мире и согласии, хотя большими воспитательными талантами он и не обладал. Завьялов болел какой-то сердечной болезнью, из-за которой часто пропускал служебные занятия, почему был у директора корпуса, строгого к службе генерала Бородина, на замечании. Летом 1912 года подполковник женился на барышне из воронежской помещицкой семьи, по какому случаю кадетские пииты немедленно написали новый куплет в корпусной «Звериаде», начинавшийся, как помню, строфой:

Нам сказал однажды Гусь:
На Китаевой женюсь...

Семейное счастье бедного полковника, однако, продолжалось недолго. Однажды, как это часто случалось в последнее время, Завьялов не явился на строевые занятия, полагавшиеся для его отделения по расписанию. Как на грех, в этот час роту обходил генерал Бородин. Узнав от старшего по отделению, что офицер-воспитатель отсутствует, он вспыхнул и приказал горнисту, его сопровождавшему, немедленно вызвать подполковника из квартиры. Бедный Гусь, с лицом, покрытым от волнения красными пятнами, явился через несколько минут и получил от генерала в «дежурной комнате» такую головомойку, что в тот же вечер скончался от сердечного припадка.

Наутро, когда весть об этом пришла в роту, буря негодования поднялась среди кадет отделения покойного. Все его недостатки и смешные стороны были забыты, кадеты не на шутку загоревали по своему воспитателю. По единогласной просьбе отделения нас повели проститься с покойником к нему на квартиру. Там старший отделения от имени всех нас выразил сочувствие вдове покойного, причем горько заплакал, что ее очень тронуло, тем более что плакали и мы все, стоя вокруг гроба.

Вслед за этим кадеты отделения присутствовали на всех панихидах на квартире покойного и отпевании в корпусной церкви. Во время погребения бедного Гуся они шли не в общем строю корпуса, а несли перед гробом многочисленные венки, самый

большой из которых был от нас. Сочувствие и симпатии кадет к усопшему были так искренни, что вдова подарила нам портрет его, который мы затем торжественно, в траурной рамке, повесили в классе, хотя это и противоречило правилам. Начальство, прекрасно разбиравшееся в кадетских настроениях, этому не препятствовало, так как понимало, что кадеты руководимы в данном случае лучшими чувствами.

На несколько недель наше осиротевшее отделение осталось без офицера, но вело себя совершенно безупречно: в память Завьялова мы условились круговой порукой вести себя хорошо, чтобы показать директору корпуса, которого считали виновником смерти нашего воспитателя, что покойный был примерным офицером. За порядком при этом следили сами кадеты, и дисциплина среди нас была поэтому безукоризненная. Считаюсь с такими настроениями, начальство не спешило назначать нам нового воспитателя, хорошо понимая то трудное положение, в которое он должен попасть в качестве «мачехи» со всеми из этого вытекающими последствиями для обеих сторон. Кончилось это «междоусобицею» тем, что, зная хорошо кадетскую психологию, к нам начальство назначило не кого другого, как гордость корпуса моего времени — подполковника Михаила Клавдиевича Паренаго.

Крепкий и бравый, с лихо закрученными русыми усами и бородкой под Генриха IV, Паренаго как воспитатель и педагог стоял на большой высоте этого трудного дела и умел внушить кадетам своего отделения горячую к себе любовь и глубокое уважение, не прибегая для этого ни к строгостям, ни к панибратству. Говорил он всегда медленно, с расстановкой, и мы его слушали всегда с напряженным вниманием, не пропуская ни одного слова. Он был холост, как и Садлуцкий; не имея семьи, кроме старушки матери, все свое время посвящал кадетам, живя в казенной квартире при корпусе. По своему происхождению Паренаго принадлежал к хорошей дворянской семье Воронежской губернии, окончил наш же корпус и в прошлом был блестящим офицером Фанагорийского гренадерского полка, имея несколько императорских призов за стрельбу из револьвера и винтовки и за фехтование.

С первых же дней его назначения нашим воспитателем мы привязались к нему до такой степени, что буквально стали ревновать к кадетам чужих отделений, часто обращавшимся к нему с просьбами устроить для них ту или иную прогулку, вечер или развлечение, на которые наш подполковник был большой мастер, обладая талантами организатора, устроителя, художника и талантливого рассказчика.

Паренаго, однако, нашу ревность понимал и потому всегда отвечал «чужестранцам», что все его свободное время принадлежит исключительно кадетам нашего отделения. Своих кадет он никому в обиду не давал, являясь их постоянным ходатаем и защитником

перед начальством и преподавателями. В свободные от занятий часы или в так называемые пустые уроки Паренаго читал нам хорошие книги и беседовал о жизни и военной службе, рассказывая все, что могло интересовать любопытную молодежь. Каждый год, во время летних каникул, Михаил Клавдиевич путешествовал по России, посещая ее самые глухие углы, причем внушал нам, что наша родина такая огромная и интересная страна, что человеку, чтобы ее узнать, недостаточно всей жизни, а потому он осуждает и не понимает чудаков, тратающих деньги и время на поездки за границу, не потрудившись толком узнать, что представляет собой их собственная родина.

В своих взглядах он был очень независим и никогда не говорил нам ничего трафаретного. Отличался остроумием и, зная о своей популярности среди кадет, немного ею кокетничал, за что они, замечавшие малейшие слабости начальников, при его появлении в корпусе дали ему кличку Обезьяна и сочинили о нем специальный куплет к традиционной «Звериade»:

Из дальней варварской страны
К нам прискакала Обезьяна,
Надела китель и штаны
И стала в чине капитана...

К нам, шестиклассникам, подросткам по 15—17 лет, Паренаго относился как к взрослым, что, как известно, мальчишками чрезвычайно ценится. В знак того, что мы уже не дети, он читал нам книги вроде «Шагреневои кожи» Бальзака, чего, конечно, по курсу литературы того времени не полагалось, да, вероятно, в то время и книга эта почиталась неприличной. Словом, положи руку на сердце, вспоминая корпус и воспитателей, я должен сказать, что Паренаго был лучшим и наиболее любимым офицером корпуса.

Будучи талантливым художником, он каждый год возглавлял устройство традиционного корпусного бала 8 ноября, причем умел с необыкновенным вкусом убирать для этого ряд огромных зал, где имели место эти балы. Для их украшения помимо кадетских работ и рисунков наш воспитатель доставлял каждый раз массу снаряжения и старого оружия не только из собственной богатой коллекции, но и из местных музеев, в которые как археолог-любитель и знаток старины был вхож. Благодаря этому декорации и украшения зал корпуса в день праздника не оставляли желать ничего лучшего, и о наших балах долго говорили в городе.

При выпуске из корпуса мы прощались с Михаилом Клавдиевичем со слезами на глазах, как с родным, благодарили его от всей души за все, что он для нас делал, поднесли ему ценный подарок, обменялись фотографиями и снялись в общей группе. Приезжая впоследствии офицерами в родной корпус, мы прежде

всего шли с визитом к Паренаго, который в свою очередь встречал нас, как членов своей семьи.

В начале проклятой памяти революции 1917 года Михаил Клавдиевич был убит в Воронеже на улице пьяными солдатами, отказавшись снять по их требованию погоны.

ОТПУСКА И КАНИКУЛЫ

Перейдя в шестой класс корпуса и попав в строевую роту, я впервые стал ходить в городской отпуск. В трех младших ротах корпуса кадеты имели право проводить его только у родственников, если таковые имелись у них в Воронеже, в старшей же роте разрешалось и посещение знакомых, которые выразили желание видеть у себя по праздникам того или иного кадета, разумеется, с разрешения его родителей. Эти последние препятствия для сына в этом отношении не ставили; что же касается «знакомых», то их добывали так.

Кто-либо из живущих в городе приходящих кадет доставал от своих родственников заявление на имя директора корпуса с просьбой отпустить к ним на праздники кадета имярек. К таким фиктивным знакомым кадеты обычно являлись лишь единственный раз, чтобы поблагодарить за письмо, а больше уже не беспокоили их своим присутствием без особого на то приглашения.

Таким же способом устроились и мы с моим приятелем и одноклассником Сережей Пушечниковым, проводя отпуска в городе и его окрестностях. Поначалу, при изобретении этой системы, кадеты встретили затруднение в вопросе с питанием, так как без сопровождения старших нам было запрещено посещать рестораны. Но вскоре общими усилиями мы в городе отыскивали некую кухмистерскую, носившую пышное название «Московская гостиница», которая предоставляла нам заднюю комнату для завтрака и обеда; кроме кадет, в нее никого не впускали. В этой сомнительной харчевне кадеты-воронежцы питались много выпусков подряд, и, положа руку на сердце, впоследствии ни на одном званом обеде мне не случалось проводить время так хорошо и весело, как в этом тайном убежище моей юности.

Как деревенских жителей нас с Сережей город мало интересовал; мы больше стремились на лоно природы, к привольным лугам и заводям, которые тянулись на многие версты по левой стороне реки Воронеж вплоть до ее впадения в Дон. Здесь мы купались, ловили рыбу, катались на лодках и проводили весь день, радуясь тому, что хоть на несколько часов избавились от тяготившей нас казенной атмосферы.

Однажды, когда мы, как обычно, катались на лодке, с нами поравнялась другая, в которой сидели две барышни наших лет. Мы заговорили друг с другом, познакомились и с этого дня стали

проводить наши отпуска не вдвоем, а вчетвером. Препровождение времени при этом было более чем невинное; мы с Сережей относились к нашим подругам с подчеркнутым уважением, избегая всякого намека на ухаживание, что, как мы считали, должно было их оскорбить. Так прошел месяц, но вдруг знакомый нам офицер, знавший всех и вся в городе, однажды увидев нас вчетвером, счел нужным предупредить меня с приятелем, что Надя и Оля, как звали барышень, имели в городе репутацию начинающих, но уже многообещающих кокоток. Это почему-то меня и Сережу страшно оскорбило, и мы немедленно прекратили знакомство с нашими кратковременными подругами.

С 1910 года, то есть с периода перемены дислокации войск в России, в Воронеже поместился штаб армейского корпуса, а, кроме того, в город был определен Новоархангельский уланский полк, ставший немедленно предметом поклонения кадет и всех местных девиц. При парадной форме, которую в те времена офицерство надевало каждый двенадесятый праздник, офицеры-уланы зимою носили николаевские шубы, а летом плащи-накидки, в соединении с уланской каской с султаном и волочащейся по земле саблей создававшие полную иллюзию кавалеристов наполеоновского времени.

Через старших братьев кадет-воронежцев, служивших в этом полку, между ним и корпусом быстро установилась связь, благодаря чему кадеты, а в их числе Сережа и я, часто ходили в полк в гости и даже обедали несколько раз в офицерском собрании. Кавалерийская служба, с которой мы познакомились в этом полку, еще более укрепила наше желание по окончании корпуса выйти в кавалерию, а именно в новоархангельцы, стоявшие в трех—пяти часах езды от наших родных мест.

Начальник Запасной кавалерийской бригады генерал Еремкин, суровый, огромного роста старик, являлся весьма заметной и очень красочной фигурой в городе. Когда он, прямой как стрела, с щетинистыми рыжими усами и выразительным лицом, словно вырубленным топором, проходил по улице, неся свою блестящую саблю под мышкой, мы замирали перед ним во фронт в немом восторге. Суровый генерал, которого очень боялись его подчиненные, видимо, кое-что знал о своей популярности среди кадет, так как козырял нам в ответ всегда с ласковым блеском в глазах и улыбкой под подстриженными усами.

Нечего, конечно, и говорить, что городские отпуска для нас с Сережей являлись лишь паллиативами, рассеивающими на несколько часов скучную корпусную обстановку, и лишь слегка напоминали приволье усадебной жизни, в которую мы были влюблены и к которой всей душой стремились. На родину мы, впрочем, попадали с Пушечниковым чаще других кадет, так как наши семьи жили от Воронежа: его в двух часах езды по железной

дороге, а моя — в пяти. Первый настоящий отпуск домой поэтому наступал для нас только на Рождестве, когда нас отпускали на целые две недели, в начале двадцатых чисел декабря. С утра в этот день уроков не было, и дядьки выкладывали каждому из нас на кровать отпускное обмундирование, состоявшее из новой черной шинели, пары таких же брюк, мундира с галунами, фуражки и белья. Дежурный офицер выдавал отпускные билеты и деньги на проезд. На вокзале в этот день нас уже ожидал особый, «кадетский» вагон третьего класса, отведенный заботливым начальством только для кадет, — других в него никого не пускали. В нем под командой старшего из нас мы разъезжались по домам. Такие вагоны одновременно уходили из Воронежа на Курск, Тамбов и Ростов.

Через два перегона от города, на станции Землянк, сходил мой друг, а сейчас же за этой станцией уже начинались и мои родные места — Щигровский уезд Курской губернии. На этом перегоне я почти всегда встречал кого-либо из родных и знакомых. Бывали при этом довольно забавные случаи, весьма красочные и характерные для того, теперь уже далекого времени. Так, помню раз, когда однажды наш «кадетский» вагон совершенно опустел, я, соскучившись в одиночестве и надеясь встретить кого-нибудь из знакомых в поезде, купил билет второго класса и обошел все вагоны. Знакомых не оказалось, и я сел в углу вагона второго класса. В этот момент проходил контролер, видевший меня только что в третьем классе, и, вообразив, что я сел по билету третьего класса во второй, высказал вслух свое подозрение. Я обиделся и ответил, что он, привыкнув иметь дело с безбилетными «зайцами», не умеет обращаться с порядочными людьми. Контролер, задетый моими словами, вломился в амбицию, и между нами началась перепалка, на шум которой из соседнего купе появился какой-то толстяк с погонами полицейского чиновника. Он немедленно стал на сторону контролера и потребовал от меня мой отпускной билет. Под угрозой вызова станционного жандарма я принужден был выполнить это требование и протянул мои бумаги, которые они оба стали разглядывать. Прочитав мою фамилию, полицейский чин спросил, куда я еду. Я ответил, что в отпуск, к отцу в имение. Это заставило их обоих переглянуться, а затем контролер упавшим голосом спросил, кем именно приходится мне председатель Управления юго-восточных железных дорог. Узнав, что председатель — мой дед, железнодорожник осведомился о здоровье дедушки и — исчез из вагона.

Полицейский, молча слушавший наш разговор, спрятал обратно в карман свою записную книжку, в которую начал было писать мои приметы, возвратил мой билет и, крикнув, как человек, сделавший глупость и сознающий это, после небольшой паузы спросил:

— А... Лев Евгеньевич — дворянский предводитель, значит, ваш дядюшка?

— Нет, это мой отец...

На лице полицейского при таком ответе появилась приятнейшая улыбка, и он сделал движение, похожее на попытку обнять меня.

— Боже мой!.. Какое кипрокво, какой приятный случай! Так вы, значит, сынок его превосходительства... Ну, как я рад!.. Позвольте со своей стороны отрекомендоваться: вновь назначенный цигровский исправник!

При этом он привстал и щелкнул каблуками...

Всю дальнейшую дорогу исправник, явно стараясь загладить свое прежнее отношение ко мне, одолевал меня своей любезностью и, наконец, дошел до того, что предложил на одной из остановок выпить с ним «на приятельских началах» рюмку водки в буфете. По прибытии поезда на нашу станцию Красная Поляна он, обнаружив совершенно неуместную энергию, вызвал грозным голосом станционного стражника, которому отдал строжайший приказ: «Проводить г. кадета до имения его превосходительства ввиду ночного времени». Эта излишняя забота привела меня в ужас, так как неминуемо вызвала бы расспросы моего строгого отца, которому я никак не собирался сообщать о конфликте, вызванном мною в поезде. К счастью, стражник оказался парнем смышленным и с удовольствием согласился на мою убедительную просьбу к нему «отставить проводы», благодаря чему я избавился от угрожавшей мне родительской головомойки.

ВОЕННЫЕ ПРОГУЛКИ И ПАРАДЫ

Через неделю после перехода в шестой класс нас выстроили в коридоре строевой роты и повели в оружейный цейхгауз получать винтовки и штыки — предмет кадетских мечтаний в младших классах. Цейхгауз помещался на хорах сборной залы, и ход в него был из помещения второй роты. Здесь в длинных деревянных стойках рядами стояли новенькие, блестящие маслом винтовки кавалерийского образца с примкнутыми к ним штыками, на которых висели желтые подсумки для патронов. Под каждой винтовкой, на рейке, белели бумажки с фамилиями каждого из нас.

С этого времени на плацу, а во время дождливой погоды в ротной зале офицеры-воспитатели шестого класса, каждый со своим отделением, стали заниматься раз в неделю винтовочными приемами по правилам строевого устава. Кроме того, раз в неделю мы ходили в тир для стрельбы в цель из мелкокалиберных винтовок. Усиленные строевые занятия осенью с шестым классом были необходимы потому, что ко дню корпусного праздника шестой класс должен был постигнуть в совершенстве все ружейные

приемы, так как в этот день строевая рота корпуса принимала участие в параде на площади Митрофаньевского монастыря во главе войск гарнизона. В октябре месяце мы ружейные приемы уже достаточно освоили; начались строевые занятия, на которые выходила вся первая рота, то есть совместно с седьмым классом. Поначалу строевые занятия проводились на большом корпусном плацу, к восторгу всех окрестных мальчишек, а затем начались так называемые военные прогулки по окрестностям города. Это были небольшие походы по десятку и больше верст, с непривычки весьма утомительные, так как кроме учебного строевого шага в течение всего дня проселочными дорогами каждый из нас в продолжение нескольких часов нес на плече винтовку со штыком весом в 10 с лишним фунтов, вся тяжесть которой ложилась на левую согнутую руку, совершенно немевшую от этого. Чтобы облегчить тяжесть, кадеты незаметно цепляли за пуговицу под левым погоном, на черной драфте, медное колечко, которое надевали на спусковую собачку винтовки. Это приводило к тому, что винтовка, в сущности, висела на шинели и ее только приходилось поддерживать за приклад, давая штыку надлежащий угол.

В эти кадетские походы вместе с ротой шел духовой оркестр, игравший по дороге и на стоянках разные марши. Когда на походе он замолкал, то такт для ноги начинали отбивать два солдата-барабанщика. По дороге кадеты пели военные песни, приуроченные к солдатскому шагу, для чего впереди роты выходили двое запева: баритон и подголосок. Они начинали песню, подхватываемую затем в нужных местах всей ротой.

Любимым маршем корпуса, неизменно сопровождавшим наше возвращение в корпус, был «Фанфарный», который начинали на высоких нотах три фанфары. Мотив же марша являлся не чем иным, как «Звериной», положенной на ноты одним из кадет Полтавского кадетского корпуса, традиционной песней военно-учебных заведений, получившей этим путем легальное существование.

Песни, которые кадеты пели в этих прогулках, были традиционные в русской армии: «Бородино», «Полтава», «Вдоль по речке, вдоль да по Казанке», «Чубарики-чубчики» и казачьи: «Засвистали казаченьки», «Там, где волны Аракса шумят», «Пыль клубится по дороге» и другие. Все они были сложены в память бывших походов, и по ним, в особенности по казачьим, в сущности, можно было бы написать историю русской армии за последние два с половиной века.

Надо сказать, что в корпусах моего времени умели и знали, как закалять кадетское здоровье. Благодаря этому в своем подавляющем большинстве кадеты никогда не болели и не простужались. Начиная со второго класса корпуса, нас выпускали гулять до снега в одном мундирчике на холстяной подкладке, а затем в

шинелях, «подбитых ветром»; другой теплой одежды мы в корпусе не знали. Для парадов и военных прогулок рота надевала вместо обычных коротких сапог с рыжими голенищами и брюк навывпуск смазные сапоги с высокими голенищами, в которых зимою мерзли ноги, а летом было жарко.

Сейчас же за кадетским плацем находилась в Воронеже обширная «Сенная площадь», на которой шесть месяцев подряд лежала черноземная пыль не менее чем в аршин глубиной; здесь по праздникам торговали сеном. И вот эту пыль мы, кадеты, возвращаясь с военных прогулок, неизменно и нарочно поднимали густым облаком, благодаря чему в корпус приходили настоящими неграми. Нас эта пыль не пугала, так как в роте мы немедленно и тщательно ее обмывали. Что же касается обмундирования, то оно было казенное; офицерам же приходилось туго, так как светло-серые их шинели и цветные фуражки меняли от пыли цвета и чистить их было нелегко.

Конечным своим пунктом военные прогулки имели какую-нибудь пригородную деревню, где мы останавливались на привал, составляли ружья в козлы, варили кашу или кулеши и завтракали принесенными с собой булками и котлетами. Как на привале, так и по дороге начальство заставляло нас производить всевозможные перестроения, наступления цепями, перебежки, разведки и т.д. Иногда эти маневры имели место в лесу, и тогда шалунам иногда удавалось из цепи умышленно оторваться и погулять на свободе час-другой под предлогом того, что они заблудились. Являлись такие «заблудшие» в корпус через час или два после роты голодными, замерзшими и занесенными снегом, но крайне довольными тем, что им удалось погулять на воле.

Разыгрывать «заблудших младенцев», однако, пришлось недолго. После двух таких попыток однажды шестеро кадет явились в качестве заблудившихся в лесу, после пяти часов опоздания, умышленно засыпанные снегом с головы до ног. И вышел конфуз. Старший из них, кадет Баранов, войдя в дежурную комнату, чтобы доложить о прибытии «заблудших», нашел в ней командира роты — Трубанька. Молча выслушав рапорт, командир спросил:

- Вы что же, за старшего оторвавшегося от цепи звена?
- Так точно, господин полковник...
- Так отправьтесь на трое суток под арест, чтобы на будущее время не отрываться.

Баранов, отсидев этот срок, до окончания корпуса получил среди товарищей кличку Оторвавшееся Звено.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

В десятых годах текущего века великий князь Константин Константинович был переименован из начальника Главного уп-

правления военно-учебных заведений в генерал-инспектора того же управления. Как пишет в книге своих воспоминаний бывший военный министр генерал В. Сухомлинов на стр. 255, Константину Константиновичу ставили в вину то, что «он слишком баловал воспитанников, слишком ласково к ним обращался. Сам отец многочисленной семьи, он переносил свою отеческую ласку и любовь на обширнейшую семью всех военно-учебных заведений, вверенных ему государем. Поэтому он не мог относиться к воспитанию с одной лишь точки зрения муштры и дисциплины, предоставляя это ближайшему начальству кадет, а сам предпочитал уделять воспитанникам часть своей отеческой ласки».

Далее Сухомлинов на стр. 257 тех же воспоминаний пишет: «Когда мне удалось осуществить план объединения всех управлений военного ведомства в одних моих руках, ко мне явился великий князь Константин Константинович и просил откровенно объяснить причину и цель предстоящего его переименования из начальника Главного управления в генерал-инспектора. Когда затем начальником Главного управления военно-учебных заведений был назначен генерал Забелин, по своему характеру довольно тяжелый человек, то великий князь выказал в отношении его столько такта и выдержки, что, несмотря на все, никаких недоразумений и конфликтов между ними не возникло».

Надо сказать, что после назначения генерала Забелина направление любовно-воспитательное в отношении кадет изменилось на весьма строгое, при котором всякая вина была виноватой и провинившийся не мог больше рассчитывать на какие бы то ни было снисхождения, как это практиковалось раньше, благодаря чему в первые годы управления генерала Забелина многим кадетам пришлось покинуть корпус, не окончив курса. Были введены новые правила, согласно которым в течение учебного курса кадет не мог оставаться в классе более двух лет, и из корпусов периодически к весне и Рождеству стали исключаться кадеты, мало успевающие в науках. Последние на кадетском жаргоне получили наименование «декабристы».

Положительной стороной управления Забелина было расширение курса кадетских корпусов с сильным уклоном в математику, приравненную к программе реальных училищ, благодаря чему кадетам, малоспособным к этому предмету, а в числе их и автору настоящих воспоминаний, приходилось туго. В старших классах были, кроме того, введены аналитическая геометрия, начала дифференциального исчисления и космография.

Помимо этого Забелин обратил внимание и на физическую сторону кадетского воспитания, введя сокольскую гимнастику, стрельбу в цель из мелкокалиберных винтовок и военные прогулки, являвшиеся небольшими маневрами для подготовки кадет к строевому обучению в военных училищах, тогда как ранее строевое

учение ограничивалось лишь ружейными приемами. Стали корпуса при нем принимать также участие и в военных парадах гарнизона как строевая часть в лице первой, или «строевой», роты корпуса. Ежегодно, кроме того, были введены состязания всех кадетских корпусов по гимнастике на снарядах с наградой победителям, для чего имели место съезды сокольских команд всех корпусов в Москве. Помню, что кадеты Псковского кадетского корпуса три года подряд оказались победителями в состязаниях по гимнастике и получили в собственность почетный кубок, ежегодно до того переходивший из рук в руки.

Дисциплина в корпусе с назначением Забелина стала много строже; он был неумолим при нарушении кадетами установленных им раз и навсегда правил. Так, при нем всякая попытка кадета к самоубийству, какими бы причинами она ни была вызвана, каралась немедленным исключением из корпуса. Помню два таких случая в бытность мою в старшей роте корпуса, причем оба они имели место на любовной почве. Первый заключался в том, что кадет седьмого класса III-ий, по происхождению из хорошей семьи Тверской губернии, из-за какой-то девчонки прострелил себе грудь из револьвера. По приказу Забелина он немедленно был исключен из корпуса, и все хлопоты в Петербурге влиятельного и имевшего большие связи тверского дворянства не привели ни к чему.

Второй случай произошел с кадетом-казакон II-м, который из-за неудачного романа также выстрелил в себя ночью в спальне, накрывшись с головой одеялом; звук выстрела был настолько глух, что его не все даже слышали, в том числе и я сам, изумленно спросивший моего соседа Шакро Амираджиби, чего он как сумасшедший вскочил с кровати. Шакро, ничего не ответив, бросился куда-то бежать, шлепая по полу голыми пятками. Вслед за этим в спальне началась какая-то суматоха, послышался звон шпор дежурного офицера. Когда все затихло, Шакро, вернувшись к себе на кровать, сообщил мне, что II-в пытался покончить с собой выстрелом в сердце. Происшествие это не обошлось без комической нотки, так как утром выяснилось, что сосед по кровати II-ва, осетин Тох Тургиев, спавший невероятно крепко, не слышал ни выстрела, ни суматохи, им вызванной. Проснувшись утром, он очень изумился: куда девался его сосед? Как только рана закрылась, II-в был исключен из корпуса и отправлен к родителям, несмотря на все просьбы и петиции.

Строго карались при Забелине и другие серьезные проступки, как, например, самовольная отлучка из корпуса, что на моей памяти произошло всего лишь однажды. В зимнюю холодную ночь, не то в январе, не то в феврале 1913 года, я проснулся от какой-то возни возле моей кровати. Сквозь сон мне показалось, что служители что-то делают с кроватью моего соседа, кадета К-ва. Обложив их за беспокойство крепким словом, я повернулся на

другой бок и заснул снова. Утром оказалось, что мой сосед, кадет К-в, исчез. Все, что мы могли узнать утром от дежурного воспитателя по поводу ночного исчезновения К-ва, это то, что он учинил какой-то серьезный проступок, за который в наказание и в предвидении его исключения из корпуса был отправлен под арест ночью, дабы изолировать провинившегося от других кадет роты.

Когда затем, после первых трех уроков, мы строились в коридоре, чтобы идти на завтрак в столовую, в роту явился командир ее — полковник Трубчанинов. После команды «Смирно!», поздоровавшись с нами, он, обычно не терпевший разговоров, которые, по его мнению, «не соответствовали военному званию», произнес перед изумленной ротой целую речь, правда с мучительными паузами.

— Господа!.. Ваш товарищ, кадет К-в, — начал ротный глухим голосом, — совместно с кадетом Б. совершил совершенно неслыханный в анналах корпуса проступок... Он, по его собственному признанию, — при этих словах полковник замялся и мучительно покраснел, — он... скажу прямо, так как вы уже не дети... ушел к женщинам, бежав из корпуса. Педагогический совет, собравшийся сегодня утром, единогласно исключил этих двух паршивых овец из корпуса, и сегодня же они будут отправлены домой...

При последних словах Трубчанинова глухой гул пробежал вдоль строя роты, так как оба провинившихся кадета были отличными по учению и наказание это нам показалось слишком строгим ввиду того, что через год они, по закону став юнкерами, получили бы право посещения каких угодно им женщин. К этому надо добавить, что оба кадета дальше корпусного расположения не ушли и были выданы жившими при корпусе военными фельдшерами, к которым обратились с вопросом: не знают ли они адреса какой-нибудь кокотки?

После завтрака в курилке состоялось заседание семиклассников-«дополнителей», как почему-то в корпусе у нас они себя именovali, на котором было признано, что наказание слишком строгое и не соответствует вине. Однако дисциплина в корпусе была так высоко поставлена, что ни о каких протестах и речи быть не могло. Ограничились тем, что решили проститься с исключенными особенно сердечно, чтобы начальство почувствовало, что в этом деле оно переборщило.

Когда наступил момент вывода из карцера исключенных, для чего в роту прибыли офицер в походной форме и два служителя, густая толпа кадет собралась возле карцерных дверей. Когда оттуда вывели двух заплаканных «преступников», их моментально окружили кадеты. Оба исключенных, переходя из объятий в объятия, дошли таким образом до дверей роты, где вся она громко пожелала им счастливого пути. Опытное корпусное начальство, хорошо разбирающееся в настроениях кадет, в этот вечер, чувствуя взволно-

ванность роты, приняло заранее нужные меры. Вопреки правилам после обеда в роту явились все четверо офицеров-воспитателей и сам Трубчанинов, но вмешаться им не пришлось, — чувства товарищества они не только понимали, но и ценили сами.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

На второй или третий день моего поступления в корпус, выходя погулять по плацу со своим одноклассником-второгодником, я обратил внимание на три закрытых ставнями окна и дверь, выходящую в вестибюль.

— Что это за помещение? — спросил я своего спутника, знавшего все ходы и выходы корпуса.

— Это комнаты великого князя.

— Какого великого князя? Ведь их много.

— Князей-то много, да наш, кадетский, только один — Константин Константинович.

Через несколько дней после этого я, как вновь поступивший кадет, получил от своего офицера-воспитателя портативное, изящно изданное и особой формы Евангелие в черном коленкоровом переплете. На первой его странице было напечатано факсимиле стихов с подписью К. Р. следующего содержания:

Пусть эта книга священная,
Спутница вам неизменная,
Будет везде и всегда
В годы борьбы и труда.

По традиции корпуса именной экземпляр этого Евангелия выдавался каждому вновь поступающему кадету — как бы благословение великого князя начинающему жить мальчику — и берегся нами как святыня. Многие из старых кадет, покидая родину, взяли ее с собой в изгнание среди немногих вещей, напоминающих им дорогое прошлое. У нас в семье было три экземпляра этой книги, полученных каждым из трех братьев одновременно.

От товарищей по роте я вскоре узнал, что с именем и личностью великого князя у кадет связаны самые лучшие и дорогие воспоминания; в кадетской среде из уст в уста передавался ряд рассказов о том, как великий князь выручал многих кадет в трудные минуты жизни. У нас в корпусе за год до моего поступления он спас от исключения кадет, заподозренного в шалости, которой тот не совершал, и приговоренного к позорному наказанию — снятию погон. Этому кадет категорически воспротивился, так как считал, что ничем не заслужил подобного наказания.

При мне был случай, получивший самую широкую известность в кадетской среде. Дело заключалось в том, что маленький кадетик второго класса, родной внук известного генерала и композитора

Цезаря Кюи, имел какие-то неприятности со своим офицером-воспитателем и, ища справедливости и защиты, написал наивное и детски трогательное письмо тому, кого все кадеты России считали своим покровителем и защитником. Великий князь, тронутый таким доверием ребенка, в первый же свой приезд в наш корпус, встретившись наедине с офицером-воспитателем, просил его особенно позаботиться о кадете Кюи, не упомянув, конечно, о полученном им письме. Офицер, само собой разумеется, полагая, что семья Кюи лично известна великому князю, стал исключительно внимательным и доброжелательным по отношению к мальчику.

В бытность свою начальником военно-учебных заведений великий князь почти никогда не утверждал приговоров об исключении кадет из корпусов, не желая губить их будущее, считая, что, раз родители отдали сына на воспитание государству, они вправе рассчитывать, что он кончит корпус. Если же кадет разбаловался и плохо учится, то это была вина его воспитателя, за которую нельзя наказывать ребенка, а тем более его родителей.

Великий князь при мне посетил наш корпус дважды, причем каждый раз пробыл в нем по нескольку дней. Без всякой свиты, с утра и до вечера, он ходил по классам, залам и спальням всех рот, наблюдая жизнь кадет и с ними беседуя. В младших классах он позволял малышам окружать его густой толпой и гулял с ними вдоль коридоров, слушая с улыбкой, как они с чисто детским доверием несли ему свои радости и горе, твердо веря в то, что он поможет исправить все, что можно. В первый приезд великого князя мне не пришлось с ним говорить; во второй же — он приехал к нам в Воронеж уже генерал-инспектором военно-учебных заведений, когда, занимая этот пост, уже не осуществлял непосредственного управления кадетскими корпусами. Это случилось весной 1913 года, в самый разгар экзаменов, когда я был уже в седьмом классе. Помню, будто вчера, как открылась большая дверь в коридор первой роты и в ней в сопровождении директора корпуса генерала Бородина появилась высокая, необычайно стройная фигура Константина Константиновича, с тонкими, породистыми чертами лица, седыми усами и небольшой бородкой. Проходя мимо меня, вытянувшегося во фронт, он остановился и, слегка картавя, спросил:

- Как твоя фамилия, гренадер?
- Марков 1-й, ваше императорское высочество!
- А кем же ты, Марков 1-й, приходишься Маркову 2-му, члену Государственной думы?
- Племянником, ваше высочество.
- А, вот как. Ну, брат, твой дядюшка, как две капли воды, на Петра Великого похож и ростом и наружностью. Без грима Саардамского плотника играть может. Постой... так ты, значит, внук писателя Евгения Маркова.

— Так точно!

— Ну, так я, брат, знал твоего деда... знал и уважал как человека и как писателя... «Черноземные поля» его и теперь часто перечитываю — мысли в них чистые, да и язык прекрасный... А отец твой где служит?

— Теперь предводителем дворянства, по выборам, а в молодости был военным инженером.

— Так ты, значит, тоже математик?

— Никак нет, ваше высочество. Математику едва на семерку вытягиваю и... терпеть ее не могу.

— А как с русским языком и словесными предметами?

— По всем двухзначные баллы имею...

— Он, ваше высочество, — вмешался в разговор директор, — лучшим по сочинению в выпускном классе, я у них русский язык преподаю. Одиннадцать баллов в годовом имеет; на выпускном экзамене, думаю, на все двенадцать вытянет.

— Вот видите, Матвей Илларионович, — живо обернулся к нему великий князь, — ведь это же опять подтверждение моей теории. Вы ее помните?

— Как же, ваше высочество, и думаю, что она безошибочна...

— Видишь ли, Марков, — снова обратился ко мне Константин Константинович, — дело в том, что я на вас, кадетах, убедился, что сыновья очень редко наследуют способности своих отцов, а внуки почти всегда идут по стопам дедов. Вот и ты — сын математика, а по математике плаваешь и ее не любишь, зато унаследовал от деда его литературные способности. Мне это очень приятно слышать, что на тебе моя теория опять оправдалась...

За обедом великий князь имел по традиции, строго соблюдавшейся в корпусе, свой прибор за первым столом первой роты, где сидели самые высокие по росту кадеты, а за старшего стола — вице-фельдфебель. И среди них... я. Это считалось у нас большой честью, так как после каждого посещения корпуса великим князем в стол, за которым он обедал, врезалась серебряная дощечка с именами тех кадет, которые сидели вместе с ним. Через два года, уже будучи офицером, приехав в корпус, я первым долгом отправился в столовую, чтобы убедиться в том, что традиция соблюдена; остался очень доволен, увидя рядом с великокняжеским именем свое.

С нами, кадетами первого стола, князь в это свое посещение вел разговор о наших дальнейших планах по окончании корпуса, расспрашивал о родителях и семьях каждого.

— Ты, Ардальон, по-грузински говоришь? — спросил он моего соседа, красавца грузина князя Микеладзе.

— Говорю, ваше высочество.

— А ну, скажи, как по-грузински сукин сын?

— Мама-дзагла, — засмеялся Микеладзе, сияя белозубой улыбкой.

— Ну, молодец! Вижу, что говоришь. А вот мой зять ни одного слова по-грузински не понимает, и я его за это очень стыжу. Ты знаешь, кто мой зять?

— Так точно: князь Константин Александрович Багратион-Мухранский.

— Вот то-то и оно. А я, брат, о тебе тоже знаю, что ты из Кулашей.

— Откуда же это вам известно, ваше высочество? — изумился Микеладзе.

— А вот знаю, — добродушно засмеялся князь. — Если хочешь знать, то от старого князя Давида. Он тебе кем приходится?

— Дедом двоюродным...

— Ну, так вот он мне и сказал, что где бы я ни встретил Микеладзе, то могу быть уверенным, что он из Кулашей. Кроме Кулашей, нигде нет и не было Микеладзе, а кроме Микеладзе, никого нет в Кулашах. Вот тебе и весь фокус-покус...

На другой день утром, когда я стоял у географической карты, сдавая экзамен по географии, в класс вошел великий князь в сопровождении нашего строгого ротного командира полковника Трубчанинова, тянувшего свою строевую роту вовсю и не дававшего ей никаких поблажек. Сев за стол экзаменаторов, великий князь задал мне ряд вопросов о Туркестане, который стоял у меня в билете. В то время, как я ему отвечал, Трубанек, как мы называли ротного, почему-то не переставал сверлить меня глазами, явно выражая свое неудовольствие.

Когда наконец великий князь вышел из класса, поставив мне полный балл при среднем сочувствии нашего географа капитана Писарева, никому такого балла не ставившего, Трубчанинов набросился на меня со свирепым выговором. Оказалось, что во время моего ответа великому князю я, показывая ему что-то на карте, повернулся к нему вполоборота, что в глазах полковника было явным нарушением дисциплины. Строгий строевой служака, он считал, что выправка для военного человека важнее всех географий, и потому немедленно, прямо из класса, как говорится без пересадки, отправил меня под арест.

В тот же вечер, сидя в заключении, я смотрел в окно на голубые дали задонских степей и на густой ковер белой акации, покрывавший корпусной сад. У меня впервые тоскливо и сладко сжалось сердце. В голову пришла мысль, что с окончанием корпуса наступает для меня пора взрослой жизни, которая и радовала и пугала одновременно...

Осенью того же года мне пришлось увидеть великого князя в третий раз, уже в Петербурге, где я был на младшем курсе Николаевского кавалерийского училища. Он вошел в нашу столовую во время завтрака

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЪ

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ:

Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ Любезнѣйшаго двоюроднаго Дядю Нашего, Великаго Князя Константина Константиновича. Его Императорское Высочество скончался, послѣ продолжительной и тяжелой болѣзни, во 2-й день іюня, на 57 году отъ рожденія.

Покойный Великій Князь Константинъ Константиновичъ посвятилъ свою жизнь отечественной наукѣ и положилъ много труда и заботъ по высшему руководству деломъ военнаго образованія юношества, давшего столь доблестный составъ офицеровъ, геройскіе подвиги коихъ въ настоящую войну навсегда запечатлѣются въ исторіи русской арміи.

Оплакивая утрату Любезнѣйшаго Дяди Нашего, Мы увѣрены, что всѣ вѣрноподданные Наши раздѣлятъ скорбь, постигшую Императорскій Домъ Нашъ, и соединять молитвы свои съ Нашими объ упокоеніи души усопшаго Великаго Князя.

Данъ въ Царскомъ Селѣ, во 2-й день іюня, въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ пятнадцатое, Царствованія же Нашего въ двадцать первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:

НИКОЛАЙ

и стал обходить столы, беседуя с юнкерами и безошибочно определяя, кто из них какой корпус окончил. Подойдя ко мне, он положил руку мне на плечо и, улыбнувшись, сказал:

— Этого я тоже знаю. Он у меня в Воронеже экзамен по географии держал. Ведь твоя фамилия Марков? Вот видишь, я тебя не только помню, но и знаю, что двенадцать двенадцатью, а под арест ты с экзамена все же влетел... Так-то, братец, дружба дружбой, а служба службой, — Трубанек твой мужчина был серьезный.

Это был последний раз, когда я видел великого князя. Через два года он скончался, оставив после себя в сердцах всех бывших кадет самую теплую память и горячую благодарность. Да будет пухом родная земля нашему светлому князю!

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

По неизменной примете наших мест снег выпадает никак не позднее 8 ноября. Пусть даже накануне еще ездили на колесах, в ночь «под Михайлу» обязательно ляжет зима. Проснувшись утром, повеселевший люд в светлом окне увидит густую, пушистую порошу.

В этот день наш кадетский корпус праздновал свой престольный праздник, по традиции являвшийся выпускным для кадетов седьмого класса, которые на нем считались хозяевами бала, имевшего место вечером. Занятия по этому случаю прекращались на три дня, а именно 7, 8 и 9 ноября, а к самому празднику корпус готовился задолго. Главным распорядителем бала и одновременно заведующим художественной и декоративной частью являлся в мое время, много лет подряд, подполковник Паренаго — художник, артист и археолог, собиравший к этому дню для украшения отведенного под бал помещения массу всевозможного декоративного материала как из музея и арсенала корпуса, так и из частных коллекций — в виде старого оружия, лат, кольчуг и прочего снаряжения, приличествующего украшать балную залу военного учебного заведения. Центральным помещением для танцев служила большая зала — огромная, двухсветная, в которой весь состав корпуса, собираясь для парадов, занимал едва ли ее третью часть.

Внизу, вдоль стен залы, шла галерея белых колонн, наверху же имелись с двух сторон хоры для музыки. На стенах сборной висели под потолком огромные портреты государей, начиная с основателя корпуса императора Николая I. По стенам на белых мраморных досках золотыми буквами сияли имена бывших кадет, награжденных орденом Св. Георгия, и описания их подвигов. Помимо этого, в больших шкафах, стоявших вдоль стен, находилась так называемая фундаментальная библиотека корпуса, насчитывавшая около десяти тысяч томов.

Бал кадетского корпуса был самым большим светским событием в Воронеже, и на него съезжались к этому дню все военное начальство во главе с командующим армейским корпусом, дворянство, бывшие кадеты и родственники учащихся кадет. В городе существовало шесть женских гимназий, и в дамах поэтому на балу недостатка не было, уже не считая сестер и кузин местных кадет-воронежцев. В качестве хозяев и распорядителей праздника выступали выпускные кадеты. Кадеты первой роты при этом для приглашения располагали двумя билетами на каждого, второй роты — по одному, а две младшие роты не имели права приглашать кого бы то ни было и сами на балу веселились только до 9 часов вечера.

В день праздника полагался ранний традиционный обед, на котором кроме состава корпуса присутствовали почетными гостями все прибывшие в этот день в Воронеж бывшие кадеты, сидевшие по этому случаю в кадетской столовой за специальными столами, под председательством старейшего в чине, обыкновенно заслуженного генерала, так как в мое время корпус уже пережил пятидесятилетие своего основания, — я сам принадлежал к 62-му его выпуску. Меню обеда по строго соблюдавшейся традиции было всегда одно и то же и, по выражению кадет, состояло из «серьезного харча», а именно: на первое — бульон с великолепной мясной кулебякой, на второе — жареный гусь с яблоками и на сладкое — сливочный торт. Для тостов, полагавшихся за обедом, каждому кадету полагалась бутылка меду.

Первая здравица была, конечно, за государя императора, и ее провозглашал директор корпуса, после чего оркестр уланских трубачей, игравший в течение всего обеда, исполнял национальный гимн, сопровождаемый хоровым пением всех присутствовавших и громким «ура». Второй и последующие тосты следовали за великого князя, корпус, бывших и настоящих кадет, директора и т.д. Каждый тост сопровождался тушем и криками «ура». Настроение за этими обедами было всегда приподнятым и очень искренним; общая хлеб-соль кадет, по-товарищески разделенная с заслуженными генералами и офицерами, молодевшими в стенах родного корпуса, где прошло их детство, создавала теплую атмосферу братства и спайки между старыми и молодыми, которой была крепка и сильна Российская императорская армия. Много раз я переживал это хорошее и теплое чувство корпоративной связи и единства за кадетским обедом Михайлова дня, как будучи кадетом, так и позднее, приезжая офицером в этот день в корпус. Хорошее, давно прошедшее и невозвратное время!

Бал 1912 — юбилейного — года Отечественной войны был особенно блестящ и роскошен как по убранству, так и по обилию почетных гостей, во главе которых стоял кадет первого выпуска корпуса, сын бывшего первого директора, престарелый генерал от

кавалерии Винтулов, занимавший в этот год пост генерал-инспектора ремонта кавалерии. Воронежское дворянство во главе со своим губернским предводителем Алехиным также не ударило лицом в грязь и было представлено на празднике своими заслуженными членами и целым цветником очаровательных дам и барышень.

Залы украшали огромные копии с картин Верещагина, посвященных событиям 1812 года, причем во всю стену тянулся плакат со словами, выбитыми на памятной медали Отечественной войны: «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги». На сцене корпуса были поставлены живые картины на тему исторических событий Отечественной войны, такие, как «Военный совет в Филях», «Бегство французов» и другие, в которых я играл наполеоновского гренадера.

Бал открылся национальным гимном, который играл соединенный оркестр отдельной уланской бригады; ему вторил двухтысячный хор кадет и гостей, буквально потрясший стены огромной залы. Патриотический подъем при этом был необычаен — внуки и правнуки праздновали великие дела своих предков. Корпусной настоятель о. Стефан, знаток и любитель старины, с большим подъемом сказал речь в память героев Отечественной войны, отметив, что среди кадет корпуса присутствуют потомки славных деятелей 1812 года, назвав их имена, что вызвало шумную оvation.

Для нашей первой роты корпусной праздник был двойным торжеством, так как являлся одновременно и ротным праздником. Утром 8 ноября в роте имело место торжество по случаю производства кадет в вице-фельдфебели и вице-унтер-офицеры. Директор корпуса, вызвав из строя произведенных, поздравил их и лично вручил каждому соответствующие погоны. В столовую к завтраку строевая рота вошла, уже имея на соответствующих местах свое кадетское начальство, блиставшее новыми нашивками.

К пятичасовому чаю фельдфебель первой роты отправился на квартиру к директору корпуса, как шутили кадеты, «поздравляться», то есть от имени корпуса поздравить генерала и его жену с корпусным праздником, после чего в свою очередь получил поздравление с производством и был приглашен на чашку чаю.

С Михайлова дня в седьмом классе начиналось усиленное уничтожение пирожных, доставляемых из кондитерских города почти ежедневно. Это объяснялось тем, что по кадетским традициям каждый нашивочный, а их в роте насчитывалось в году около пятнадцати, должен был поднести товарищам своего отделения сотню пирожных. Такое же подношение делали многие семиклассники в день своих именин и все кадеты, получившие приз на каком бы то ни было корпусном состязании, а именно: за гимна-

стику, стрельбу, фехтование, музыку, легкую и тяжелую атлетику, футбол и т.д. Все это выражалось, в конце концов, в том, что седьмой класс целый год ел пирожные каждое воскресенье.

ГВАРДЕЙСКАЯ ЮНКЕРСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСИОН

В этом году исполнилось 135 лет со дня учреждения 12 июля 1826 года одного из наиболее славных военно-учебных заведений России, давшего русской кавалерии столько выдающихся начальников, почему я беру на себя смелость дать краткий очерк этого старого гнезда, из которого вылетело столько славных птенцов, носившего в русском кавалерийском мире имя «славной школы».

9 мая 1823 года, по мысли великого князя Николая Павловича, была основана для образования тех молодых дворян, которые, поступая в гвардейскую пехоту из университетов и частных пансионов, не имели подготовки в военных науках, Школа гвардейских подпрапорщиков. Военно-учебное заведение это в отзыве Главного штаба получило наименование Гвардейской юнкерской школы, которая была подчинена главному надзору великого князя Николая Павловича. Первым командиром ее стал лейб-гвардии Измайловского полка полковник П.П. Годеин. Воспитанниками школы являлись подпрапорщики, командированные из всех полков гвардейской пехоты для прохождения курса; они носили в стенах школы свою полковую форму. Им разрешалось иметь личную прислугу из собственных крепостных или наемных людей в таком количестве, чтобы один служитель приходился на пять подпрапорщиков. Торжественное открытие школы произошло 18 августа 1823 года в помещении Измайловских казарм великим князем Николаем Павловичем. Первый состав ее воспитанников насчитывал 39 человек; старшего из них по службе, подпрапорщика лейб-гвардии Московского полка Теличева, назначили фельдфебелем.

12 июля 1826 года при школе учреждается кавалерийское отделение, или эскадрон, и она переименовывается в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Воспитанниками этого нового отделения являлись юнкера, присылаемые из полков гвардейской кавалерии. Число юнкеров в эскадроне было определено 98, из расчета 14 человек на каждый гвардейский кавалерийский полк. Первым командиром эскадрона школы назначили ротмистра Кавалергардского полка Гудим-Левковича, а вахмистром — юнкера того же полка Михаила Храповицкого.

В 1832 году в школу поступил из Московского университета М.Ю. Лермонтов. Первые дни пребывания его в школе сопровождались случаем, имевшим для него неприятные последствия на всю жизнь. Чтобы показать свою удаль перед товарищами, он в

манеже сел на молодую и необъезженную лошадь, которая сбросила его на землю и при этом ударила копытом в ногу настолько сильно, что молодого человека отнесли замертво в лазарет. Лермонтов получил после этого искривление ноги, плохо сросшейся. По этому поводу товарищи прозвали его Маешкой, словом, являвшимся русифицированной переделкой французского слова *тоуеих* — горбун. В это время как раз вышел в свет французский роман под таким же названием, героем его был хромой горбун; так как Лермонтов отличался сутуловатостью, то школьные товарищи находили, что подобное прозвище «весьма ему приличествует». Надо, впрочем, сказать, что сам Лермонтов на эту кличку не только не сердился, но и увековечил ее в поэме «Монго» из школьной жизни.

Будучи в юнкерской школе, Лермонтов создал несколько произведений, в которых описывал различные эпизоды юнкерской и лагерной жизни. Все они помещались в рукописном юнкерском журнале, издаваемом втайне от начальства в 1834 году (вышло всего шесть номеров). Журнал этот выходил раз в неделю по средам и прочитывался громко в юнкерском клубе-курилке при неумолкаемом смехе и шутках молодежи. Здесь были помещены стихи Лермонтова: «Юнкерская молитва», «Петергофский праздник» и «Уланша». Последнее произведение имеет отношение к тому, что эскадрон того времени делился на четыре взвода, из которых два были кирасирские, один гусарский и один уланский, самый шумный и веселый. Будучи юнкером, Лермонтов написал в стенах школы также поэму «Хаджи-Абрек» и работал над своим «Демоном».

Память о великом русском поэте осталась крепко в стенах юнкерской школы. Впоследствии в ней был учрежден Лермонтовский музей и поставлен памятник юнкеру-поэту.

15 октября 1838 года школу переформировали в своекоштное военное училище «для приготовления офицеров, преимущественно для службы в гвардии», в составе 120 подпрапорщиков пехоты и 108 юнкеров кавалерии. Два добавочных низших класса, учрежденных при этом, соответствовали двум последним классам кадетских корпусов, а два старших продолжали быть специальными. 24 марта 1859 года школа по случаю упразднения в русской армии звания подпрапорщик была переименована в Николаевское училище гвардейских юнкеров в память своего основателя императора Николая I, получив на погоны вензель государя. 1 сентября 1864 года ее переформировали снова (уже в последний раз), назвав Николаевским кавалерийским училищем, причем пехотное отделение в ней упразднили, а эскадрон увеличили до состава 200 юнкеров. Во вновь преобразованное училище было положено принимать лиц из дворян не моложе 16 лет, а также юнкеров, состоявших в кавалерийских полках.

Для воспитанников Пажеского корпуса, окончивших кадетские классы и желавших служить в гвардейской кавалерии, в эскадроне ежегодно имелось 10 вакансий.

Командиром эскадрона был назначен полковник гвардии барон Штакельберг, а из числа юнкеров в вахмистры произведен Константин Траубенберг. Два старших класса школы при этом приравнивали к уставу и курсу военных училищ, младшие же два преобразовали в приготовительный пансион — по образцу тогдашних военных гимназий — в составе 100 воспитанников, разделенный на четыре класса, соответствовавших четырем старшим классам военной гимназии. С переходом в старший класс пансионеры обучались верховой езде в манеже под руководством командира эскадрона училища. Пансион имел своего собственного начальника, но находился под наблюдением начальства Николаевского кавалерийского училища. Пансион, открытый 4 сентября 1864 года, оставался при училище и в его здании в течение 14 лет, до 1878 года, когда был преобразован в самостоятельное заведение с правами военной гимназии и переведен в собственное помещение на Офицерской улице. Первым начальником пансиона назначили статского советника А.В. Шакаева, известного петербургского преподавателя истории, который занимал этот пост до самой своей смерти в 1870 году. По имени его пансион очень долго назывался Шакаевским. В 1882 году подготовительный пансион Николаевского кавалерийского училища был переименован в Николаевский кадетский корпус.

Интересно отметить, что Николаевское кавалерийское училище, как и Николаевский корпус, сохранило связь со своим прошлым. Юнкера до самой революции продолжали по старинке называть училище «школой» и продолжали соблюдать ее старые традиции и обычаи времен Лермонтова и корпоративный дух, названный в Высочайшем манифесте 19 мая 1864 года «весьма хорошего направления». В отличие от всех других военных училищ в России в «славной школе» наименее чувствовалась казарма; в ней для юнкеров сохранялся старый обиход иметь наемных слуг-лакеев (одного на пять воспитанников). Николаевский кадетский корпус продолжал сохранять связь с училищем и также в своем обиходе отличался от других корпусов тем, что имел тот же вензель императора Николая I, какой носило училище; вместо черных брюк носили синие кавалерийские, цветной пояс и пашку вместо штыка. Старший его класс, как когда-то пансионеры Шакаевского пансиона, сохранил право обучаться езде в манеже училища. Большинство кадет, окончивших корпус, шло в кавалерию.

ЮНКЕРА СЛАВНОЙ ШКОЛЫ

В красивое время,
Когда опасались
Грешить слишком много
И черта боялись,
И верили в Бога —

Слова были тверды,
Друзья были честны,
Все рыцари горды,
Все дамы прелестны...

В наше время гибели всего светлого особенно дороги воспоминания о прежних счастливых днях, когда время изгладило все тяжелое из памяти, оставив в ней лишь одно хорошее. В этих воспоминаниях, написанных тогда, когда былая жизнь русской кавалерии с ее красочным бытием, рыцарским духом и красивыми традициями отошла в безвозвратное прошлое, я хочу помянуть теплым словом беззаботные юнкерские дни, оставившие в душе навсегда теплое и хорошее чувство.

Всем старым кавалеристам дороги и памятные дни их училищной жизни, и нет ни одного из них, который не вспомнил бы с грустью и благодарностью свое пребывание в «славной гвардейской школе», как называлось в кавалерийском мире Николаевское кавалерийское училище в царской России, где судьба дала мне завидный удел провести самые счастливые дни моей юности.

Училище носило в кавалерии имя «школы» потому, что в дни его основания при императоре Николае I называлось Школой гвардейских юнкеров; оно сохранило в общежитии не только это старое свое название, но также обычаи и традиции старого времени, благодаря которым быт николаевских юнкеров представлял собой особый и очень своеобразный мирок. Где брали свое начало эти неписанные традиции юнкерского общежития, в каких тайниках и глубинах прошлого затерялись часы их зачатия, Господь их ведает, но блюлись они ревностно и неукоснительно и были живучи и крепки, как запах нафталина в казенном цейхгаузе. Много в них было нелегкого, еще более забавного, но цель их была несомненна, и многие для постороннего глаза, казалось бы, странные вещи имели под собой большой здравый смысл. Больше же всего в жизни юнкеров школы было такого, что вспоминается до сих пор с теплым и хорошим чувством. Без своего собственного жаргона, обычаев и традиций я не могу и не хочу даже представить себе школу.

Неприятное и враждебное чувство поэтому пробуждается в душе каждого старого кавалериста, когда посторонние кавалерийской жизни люди в обществе и печати обсуждают традиции училища, о быте которого и службе не имеют никакого представления. Трудно объяснить постороннему человеку, не имеющему понятия о кавалерийской службе, что обычаи школы вызывались особыми требованиями жизни кавалерии и потому являлись обязательными для всех юнкеров, не допуская никаких исключений: хочешь быть

кавалеристом — исполняй их, как все, не хочешь — считай себя выбывшим. Строго, но справедливо!

Свои собственные обычаи и традиции существовали и существуют и по нынешний день во всех старых школах мира. Так, обычаи, зачастую весьма грубые, процветают в военных школах США, в знаменитом французском Сен-Сире, уже не говоря о демократической Англии, где, например, в колледже Итона существует до сего дня обычаи помыкания старшими учениками младших, именуемый «фаггинг», согласно которому младший обязан чистить сапоги старшему, носить за ним вещи и отдавать ему свои лакомства, за что в награду получает одни колотушки. Это признается английской аристократией необходимой принадлежностью «мужественного воспитания», как и драки между учениками, которых никто и никогда не разнимает.

В нашей старой школе в противоположность этому грубость на словах, уже не говоря о поступках, была вещь недопустимой и преследовалась по традиции совершенно беспощадно. Случай, чтобы юнкер старшего курса позволил себе дотронуться пальцем до юнкера младшего курса с целью его оскорбить, был совершенно немыслим в стенах школы, а вежливость в отношении друг к другу и в особенности старших к младшим обязательна. Да иначе и быть не могло там, где юнкера в своем огромном большинстве принадлежали к воспитанному и состоятельному обществу. Кроме того, в школе некадеты представляли собой редкое исключение, благодаря чему николаевские юнкера, принадлежа к одной социальной среде и получив одинаковое воспитание, были по своим взглядам, понятиям и вкусам гораздо ближе друг к другу, нежели юнкера какого бы то ни было другого военного училища с более пестрым социальным составом. Такие условия создавали в школе между юнкерами огромную спайку, прочную и надежную, которая затем переходила и в кавалерийские полки.

* * *

На вокзале Николаевской железной дороги в Петербурге пассажиры нашего «кадетского» вагона, шедшего из Воронежа через Козлов и Москву, в последний раз перецеловались, пожали друг другу руки и разъехались в разные стороны. Большинство моих товарищей по выезду из корпуса я уже больше никогда не встречал в жизни.

Извозчик, взятый мною у памятника Александру III, не спеша тархтел по мостовой. Впервые попав в Питер, я с интересом разглядывал улицы столицы. Только через добрый час пути, проехав мимо Балтийского вокзала и через Обводной канал, пахнувший на меня совсем не столичным запахом, мы попали на Лермонтовский проспект, справа от которого показалось трехэтажное

здание. Над его фронтоном под орлом, широко раскинувшим крылья, я увидел надпись, заставившую крепко забиться мое кадетское сердце: «Николаевское кавалерийское училище».

Мою долговязую одинокую фигуру в помятой в вагоне кадетской черной шинели у стеклянной входной двери охватила невольная жуть перед будущим. Выдержу ли я высокую марку «славной школы» в шкуре бесправного «сугубца», о многострадальной жизни которых было столько фантастических рассказов среди нашей кадетской братии?..

Стукнула входная дверь, звякнул где-то над головой колокольчик, и, не чувствуя под собой ног, я уже стоял в том гнезде русской конницы, откуда вылетело столько славных птенцов. Широкий и темноватый вестибюль был меньше нашего корпусного. Мраморная, в два марша, лестница вела наверх; под нею виднелась стеклянная дверь в белую залу с колоннами. Держа в руке чемодан, я нерешительно остановился на месте, никого не видя и не зная, куда идти дальше.

— Здравия желаю, господин корнет, — вдруг раздался позади меня негромкий солидный голос.

Я обернулся на это странное приветствие, так не соответствующее моему положению, и оказался лицом к лицу с высоким представительным швейцаром, появившимся откуда-то сбоку в полумраке петербургского утра.

— Здравствуй...

— Дозвольте, господин корнет, мне ваш штычок, а то с ним наверх у нас идти не полагается — господа корнеты старшего курса обижаться будут, и... вас неприятности ожидают-с, — многозначительным тоном вполголоса продолжал швейцар. — А чемоданчик возьмите с собой наверх, это полагается, — у нас традиция-с...

Прислуга школы, как я потом узнал, вся поголовно знала и строго соблюдала все неписанные законы училища, и теперь, на пороге моей новой жизни, швейцар первым посвятил меня в обычаи моей новой среды. В тот же день я убедился, что совет швейцара на первых шагах моего юнкерского бытия был как нельзя более полезен и избавил меня от больших неприятностей. Штык, которым мы, кадеты строевой роты, так гордились, оказался в глазах «корнетов» школы символом пехотного звания; появление с ним среди таких отъявленных кавалеристов, какими они были, являлось в их глазах непростительной дерзостью со стороны «молодого» и явным нарушением традиций.

Передав швейцару шинель и штык, я с чемоданом в руке направился к лестнице, но едва поставил ногу на первую ее ступеньку, как был остановлен командным и зычным окликом сверху:

— Куда?.. «Молодой», назад!..

Беспомощно оглянувшись, я остановился. Швейцар, многозначительно показывая мне пальцем на другую лестницу, прошептал:

— Это «корнетская»... для господ юнкеров старшего курса.

Перейдя на другую сторону, я поднялся на первый этаж с жутким ощущением, что кто-то следит за каждым моим движением и возьмет меня немедленно «в работу». Действительно, наверху лестницы, выходящей в небольшую залу, именовавшуюся «средней площадкой», меня ожидала грозная и великолепная фигура. Красивый и стройный, как дорогая игрушка, только что вышедшая из магазина, передо мной стоял, загораживая дорогу, юнкер старшего курса, одетый с иголки, в отлично сшитом защитном кителе, синих бриджах и великолепных сапогах, на которых каким-то чудным серебряным звоном звучали шпоры, хотя их владелец как будто стоял совершенно неподвижно. Когда я подошел к нему вплотную, он, не мигая, строго посмотрел мне в лицо и проговорил небрежным тоном:

— Мое имя и отчество?

— Не могу знать, господин корнет. Я только что приехал...

— Как? — возмутился он и даже покачнулся от изумления. — Вы уже две минуты в школе и не знаете моего имени и отчества? Вы что же, «молодой», не интересуетесь службой? Или, быть может, ошиблись адресом и шли в университет? — закончил он уничтожающим тоном.

— Никак нет, господин корнет. Я прибыл на службу в школу «сугубцем», но только еще слаб в дислокации...

— А-а-а, — величественно протянул корнет, — это другое дело.

Сразу смягчив тон, он продолжал:

— Вы, я вижу, «молодой», подаете надежды... это хорошо... это приятно... пожалуйста за мной.

Он круто повернулся и запагал через залу впереди меня. Я почтительно последовал за начальством, не выпуская из рук чемодана.

К слитному гулу голосов, несемому нам навстречу из помещения эскадрона, так знакомому мне по корпусу, здесь, однако, примешивался нежный металлический звук, заставивший сладко сжаться мое мальчишеское сердце. «Шпоры!» — мелькнула у меня в голове радостная догадка, и на душе сразу стало тепло и весело. Это был действительно звон многочисленных шпор, неизменный признак кавалерии, но здесь, в школе, он отличался особенной мелодичностью и густотой благодаря знаменитому мастеру старого Петербурга — Савельеву, поставлявшему своим клиентам шпоры с «малиновым» звоном. Под этот мелодичный звон началась для меня и на многие годы потекла моя дальнейшая кавалерийская жизнь.

Юнкер, встретивший меня на лестнице, оказался «майором» Саклинским. Он довел меня под ироническими взглядами других

корнетов, таких же щеголеватых и ловких, до дежурной комнаты, где за высокой старинной конторкой сидел плотный ротмистр с усами цвета спелой ржи. Я взял под козырек и, вытянувшись, как утопленник, произнес уставную формулу явки:

— Господин ротмистр! Окончивший курс Воронежского великого князя Михаила Павловича кадетского корпуса Анатолий Марков честь имеет явиться по случаю прибытия в училище.

При первых словах моего рапорта ротмистр быстро надел фуражку и взял под козырек, а группа стоявших в дверях юнкеров, враз щелкнув шпорами, стала «смирно». Выслушав меня, офицер сел снова, принял от меня бумаги и крикнул в пространство:

— Взводный вахмистр Персидский!

Через три секунды, словно по волшебству, в дверях вырос юнкер еще шикарнее виденных мною до этого. Мелодично звякнув шпорами, он вытянулся в ожидании приказаний.

— Вот, вахмистр, возьмите к себе этого «молодого» и... «в работу», — приказал ротмистр, оскалив в улыбке свои на редкость белые зубы.

— Слушаю, господин ротмистр, — весело ответил вахмистр и, повернувшись кругом, вышел из дежурки. Этот лихой юнкер, стройный и подтянутый, преисполнил мое сердце старого кадета изумлением и восторгом. Все его движения, жесты и повороты не были похожи на грубоватые кадетские приемы, а представляли собой поистине строевую поэзию. Изящество, легкость и отчетливость движений в сопровождении мелодичного звона савельевских шпор мог понять и оценить только военный глаз, который вырабатывался у нашего брата-кадета после 7—8 лет пребывания в корпусе.

Ошеломленный и очарованный этими блестящими примерами высшей военной марки, я вышел вслед за вахмистром. Снова перейдя «среднюю площадку», мы вышли в коридор и остановились перед первой дверью налево, оказавшейся вахмистерской. Здесь помещался эскадронный вахмистр — на училищном языке «земной бог», — высокий, стройный, державшийся с большим достоинством юнкер, на погонах которого было три желтые нашивки. По правилам училища в начале года юнкеров, предназначенных занять на старшем курсе должности портупей-юнкеров, производят: взводных — в младшие, а вахмистра — в старшие портупей-юнкера. Свои настоящие чины они получают лишь некоторое время спустя.

Выслушав рапорт о явке, вахмистр оглядел меня с ног до головы и приказал моему провожатому:

— Ты, Персидский, возьми его к себе во взвод!

После этого мы отправились в спальню. В небольшой зале с двумя десятками кроватей, отделенных одна от другой высокими тумбочками, над которыми висели электрические лампочки с

абажурами, мы застали группу кадет разных корпусов, вскочивших при входе взводного вахмистра.

— Вот, «молодой», — сказал он мне, садясь на койку, — знакомьтесь с вашими «сугубыми товарищами».

«Сугубые товарищи» один за другим подали мне руку и назвали свои фамилии, после чего взводный приказал нам отставить все церемонии и, усадив всех вокруг себя, просто и по-товарищески объяснил то, что мы должны были знать на первых порах нашей школьной жизни.

— Пока вы попросите какого-либо из господ корнетов стать вашими «дядьками», которые вас научат уму-разуму, я сообщу вам самое необходимое, касающееся распорядка школы, — объявил нам Персидский.

Оказалось, что мы, юнкера младшего курса, с момента появления в училище называемся «сугубыми зверями» и поступаем по строевой части в полное распоряжение старшего курса, представители которого для нас являются ближайшим начальством. Приказы «корнетов» — они же «благородные офицеры» — мы должны исполнять немедленно и беспрекословно. С первой минуты встречи со своими однокурсниками, или «сугубыми товарищами», мы обязаны перейти с ними на «ты» и быть в самых лучших отношениях. Традиция школы даже рекомендовала, что при встрече после разлуки «молодые» должны поцеловаться друг с другом и навсегда оставаться на «ты», что соблюдалось и по выходе из школы между старыми николаевцами даже разных выпусков.

Когда к нам в помещение входил любой юнкер старшего курса, мы, «молодые», обязаны были вскакивать и становиться «смирно» до получения разрешения сесть. Это было очень утомительно, но подобная традиция имела в себе тот смысл, что заставляла видеть начальство в каждом старшем по службе, что затем продолжалось и во время службы в полках, где старший по производству корнет делал замечания своему младшему товарищу, и это не вызывало никаких трений, так как мы были приучены с юнкерских лет к дисциплине и «корнет» оставался таковым для своего «зверя» на всю жизнь, что не мешало им быть в отличнейших отношениях друг с другом. Это давало правильное понятие о дисциплине, так как невнимание к старшему в военной школе легко приучало к недостаточному вниманию к старшим вообще. У нас же в школе чинопочитание, дисциплина и отдавание чести возводились в настоящий культ, равно как и блестящее строевое воспитание или «отчетливость», которыми мы гордились и щеголяли. Это была облагороженная и доведенная до истинного совершенства военная школа, марка которой оставалась на людях всю их жизнь.

Взводный объяснил нам, что каждый из нас теперь же должен просить кого-либо из «корнетов» взять нас к себе в «племянники» для обучения традициям, причем принято, чтобы младший при-

глашал в «дяди» юнкера старшего курса, окончившего один и тот же корпус с «племянником» и поэтому знавшего его раньше.

— Будете «отчетливыми сугубцами», как я надеюсь, — закончил свое наставление вахмистр Персидский, — и вам будет хорошо в школе, нет — лучше теперь же, до присяги, отчислитесь от училища; калекам здесь делать нечего...

Пока мы получали эти наставления, время подошло к полудню. На «средней площадке» трубач затрубил «сбор», после чего немедленно по всем помещениям эскадрона соловьями запели корнетские голоса:

— Молодежь!.. Опаздывает! Ходу!.. ходу!.. Последнему пачку нарядов!..

Миг дикого галопа среди таких же «сугубых товарищей», и мы, младший курс, уже стояли в строю, встречая глазами медленно выходивших из помещений эскадрона господ «корнетов». Медленность эта, однако, была чисто показной, так как, когда через несколько минут из своей комнаты вышел дежурный офицер, эскадрон в полном составе стоял в безукоризненном строю.

— Здравствуйте, господа! — поздоровался ротмистр.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — ответил дружно эскадрон, и мы, вчерашние кадеты, почувствовали сразу, что перестали быть детьми, а стали настоящими военными солдатского звания.

— Ведите, вахмистр! — небрежно бросил офицер, двинувшись по коридору впереди эскадрона и не оглядываясь на него.

— Эскадрон, правое плечо вперед... марш! — звонко и необыкновенно четко пропел вахмистр.

Я опять почувствовал, что в этой, привычной мне с кадетских лет команде есть новое и приятное. Слово «марш» было произнесено раскатисто, как в кавалерии, а не коротко и резко, как в пехоте и кадетских корпусах. Эскадрон, отчетливо позванивая шпорами, прошел коридор и небольшую проходную комнату, увешанную фотографиями прежних выпусков, после чего спустился по лестнице в полуподвальный этаж, где находилась юнкерская столовая. Под лестницей, на площадке, стояла трехдюймовая пушка, на которой юнкера практически обучались обращению с оружием.

Столовая школы, расположенная в длинной полуподвальной зале, была разделена арками и колоннами на две равные части, в одной из которых сидели юнкера эскадрона, а в другой — сотни. Казачья сотня школы показалась мне народом солидным, хотя из-за казенного обмундирования и не имевшим столь щеголеватого вида, как наши «корнеты». Эти последние в столовой почти ничего не ели, а продолжали, как и в помещении эскадрона, «работу» над нами, строго следя за тем, чтобы «молодые» во время еды не нарушали хорошего тона, и поминутно делали нам замечания по

всякому поводу. Дежурный офицер, во время завтрака прогули-
вавшийся между арками, сам не ел, а вел себя вообще как бы
посторонним человеком, не обращая внимания на «цук», имевший
место в столовой. Как я после узнал, это происходило лишь в те
дни, когда по школе дежурили офицеры эскадрона; казацки же
офицеры никакого беспорядка в зале не допускали.

Привыкнув наблюдать в корпусе кадетский аппетит, я был
удивлен тем, что наши «корнеты» почти ничего не ели, занятые
преподаванием нам хорошего тона. Причиной этому, как мне потом
стало известно, оказалась юнкерская лавочка, которой заведовал
старший курс и где продавались всевозможные вкусные вещи.
Она-то с избытком и заменяла старшему курсу казенное доволь-
ствие. Лавочка эта помещалась в нижнем этаже рядом с «гербовым
залом», где по стенам висели щиты, раскрашенные каждый в свой
полковой цвет, по числу кавалерийских полков с указанием исто-
рии каждого из них, их отличий и особенностей, что входило в
состав так называемой на юнкерском языке словесности, обяза-
тельной для изучения юнкерами младшего курса. «Словесность»,
или иначе «дислокация» на юнкерском языке, обязывала каждого
«молодого» в возможно краткий срок, в его собственных интересах,
изучить подробно не только все относящееся к семидесяти двум
полкам регулярной кавалерии, но также имена всего начальства,
и в том числе всех юнкеров старшего курса, с добавлением того,
в какой полк каждый из них намерен выйти. Это было довольно
сложно, но внедрялось в наши головы с такой неуклонной настой-
чивостью, что я помню все это до сегодняшнего дня, то есть почти
через полвека.

Для быстрейшего усвоения молодежью всей этой премудрости
старший курс постоянно экзаменовал нас в любой час дня и ночи
и в любом месте: в спальне, коридоре, столовой, курилке, уборной
и в манеже; везде «сугубец» должен был быть готов перечислить
гусарские или уланские полки, объяснить подробности той или
иной формы. Словом, пока по всей такой науке «молодые» не
сдавали экзамена у своего «дядьки», им не было ни отдыха, ни
покоя. Существовала, кроме того, еще и неофициальная «словес-
ность», менее обязательная, но все же приличествующая хорошо
выправленному и «отчетливому сугубцу». Она была отчасти ха-
рактера анекдотического, отчасти философски-практического, в
большинстве случаев малоприличного содержания вроде «верха
рассеяния». «Корнеты» считались «родившимися из пены Дудер-
гофского озера» и являлись «офицерами» уже в школе; что каса-
ется «молодых», то они в лучшем случае по службе могли рассчи-
тывать стать «штаб-трубачами через 75 лет службы при удачном
производстве». В смысле предела своей власти над младшим кур-
сом старший курс вопреки всем фантазиям и рассказам был строго
ограничен определенными рамками, переходить которые не имел

права под страхом лишения «корнетского» звания. За этим строго следил «корнетский комитет» (возглавляемый выборным председателем), куда входили все юнкера старшего курса. Председатель «корнетского комитета» являлся верховным блюстителем и знатоком традиций школы; компетенция его была неоспорима.

Согласно обычаю «корнеты» не имели права задевать личного самолюбия «молодого». Последний был обязан выполнить беспрекословно все то, что выполняли до него юнкера младшего курса из поколения в поколение, но имел право обжаловать в «корнетский комитет» то, в чем можно усмотреть «издевательство над его личностью, а не «сугубым званием зверя». «Корнеты», например, не имели права с неуважением дотронуться хотя бы пальцем до юнкера младшего курса, уж не говоря об оскорблении. Это правило никогда не нарушалось ни при каких обстоятельствах. Немыслимы были и столкновения юнкеров младшего курса между собой с применением кулачной расправы и взаимных оскорблений; в подобных случаях обе стороны подлежали немедленному отчислению из училища независимо от обстоятельств, вызвавших столкновение. В своей среде старший курс строго придерживался старшинства, свято соблюдавшегося в военной среде старого времени. Старшинство это в школе, однако, базировалось не на уставе, а на обычном праве. Вахмистр, взводные и отделенные портупей-юнкера для старшего курса были начальниками лишь в строю, в обычном же общении со своими однокурсниками никакими привилегиями не пользовались; зато засевшие на младшем курсе «майоры» почитались выше «корнетов», а еще выше были «полковники», находившиеся в школе по четыре года, и редкие «генералы», просидевшие по пяти. Последним младший курс должен был при встрече становиться во фронт. Все эти «чины», однако, приобретались в большинстве своем не за малоуспешность в науках или строю, каковые юнкера считались «калеками», а, так сказать, по линии традиций.

С назначением начальником училища генерала Марченко, в кавалерийском училище никогда не воспитывавшегося и потому охотно взявшегося за искоренение в нем старых обычаев, началась борьба с традициями. Как человек чуждый кавалерийской школе, в прошлом не то лицеист, не то правовед, произведенный в офицеры из вольноопределяющихся и всю службу пробывший в Генеральном штабе, он не понимал значения «цука». Любимым наказанием генерала Марченко в его совершенно безуспешной борьбе с традициями было отчисление замеченных им в поддержке традиций юнкеров вольноопределяющимися в полки на более или менее продолжительный срок. Такой изгнанник обыкновенно возвращался в школу для продолжения курса, потеряв полгода, а то и год. Пострадавшие за традиции, вернувшись из полков, которыми они

«командовали», как выражались юнкера, и носили вышеуказанные мною «высокие чины».

Помимо них были, хотя и редко, на старшем курсе так называемые «пассажиры», временные или постоянные. Это юнкера, не удостоенные старшим курсом при переходе в свою очередь на старший курс «производства в корнеты школы» из-за своей «корявости» или временно переведенные в это звание за провинности перед товарищами. Отношение к «пассажирам» со стороны старшего курса было товарищеское, в отношении же младшего курса они не пользовались никакими правами. В этой промежуточной роли я помню одного или двух юнкеров-иностранцев, плохо говоривших по-русски.

Была еще одна категория юнкеров, к счастью, чрезвычайно редкая и в школе не задерживавшаяся, а именно «красные», или на живописном языке школы — «навоз». Это господа, пытавшиеся «в чужой монастырь прийти со своим уставом», не желавшие подчиняться обычаям и традициям школы. Они быстро исчезали из училища, не дождавшись перехода на старший курс. Иначе и быть не могло в сравнительно небольшом кавалерийском мире. Тысячи нитей связывали школу с жизнью кавалерийских полков. Поэтому человек, исключенный из товарищеской среды, не мог рассчитывать ни на что хорошее и в полку, если ему даже удавалось окончить училище, ведь в полках была та же среда, что и в школе, и те же самые взгляды на вещи.

Именно исключенные из товарищеской среды господа помещали в печати статьи и очерки о жизни школы, пачкая ее незаслуженно и несправедливо в общественном мнении, чтобы оправдать самих себя. Большинство таких господ, черными красками описывавших жизнь в Николаевском кавалерийском училище, в действительности было непригодно физически и морально к службе в кавалерии и покидало школу в два-три первых месяца пребывания в ней, так и не поняв, почему им там пришлось так туго. Весь же секрет заключался в том, что в первые недели училищной жизни как начальство, так и старший курс «грели молодежь в хвост и в гриву» с целью отбора способных выдерживать нелегкую кавалерийскую службу из той сотни молодых людей, которые поступали на младший курс.

Служба кавалериста, а тем более юнкера, обязанного стать через два года начальником и учителем молодых солдат, требовала большой физической выносливости, характера и упорного труда, на что далеко не все поступавшие в училище были способны. По этим-то причинам от 20, а иногда и до 40 процентов молодых людей, поступавших на младший курс из кадетских корпусов, не выдерживало, уже не говоря о молодых людях «с вокзала», как именовались в школе окончившие штатские учебные заведения.

Покинуть школу и вернуться, как говорится, в первобытное состояние было можно в течение первых двух месяцев пребывания в ней, до принесения присяги младшим курсом. После этого юнкера уже считались на действительной военной службе и уйти из училища могли лишь вольноопределяющимися в полк. Поэтому-то в первые два месяца пребывания на младшем курсе так тяжело и приходилось молодежи, которую «гнули и в хвост и в гриву», дабы заставить слабых физически и морально уйти из училища. Средство это было жестокое, но верное и испытанное; благодаря такой системе из ста человек, поступавших на младший курс, до принятия присяги переводились в училища другого рода оружия от 15 до 25 процентов; оставалось не более 75—80 человек, которые и представляли собой нормальный состав младшего курса Николаевского кавалерийского училища в мирное время.

Дрессировка, которой мы подвергались в помещении школы днем и ночью, была жестокая и отличалась большим разнообразием. В нее входили и классические приседания, выполнявшиеся во всех углах и при всех случаях для развития «шлюза» и «шенкелей», и бесчисленные повороты направо, налево и кругом, чтобы довести нашу «отчетливость» до совершенства, и многое другое. Курительная комната, спальни, коридоры и все прочие помещения были постоянной ареной этих занятий. Дежурные офицеры, постоянно находившиеся в помещении эскадрона, делали вид, что ничего не замечают, так как понимали и ценили эту систему, сочувствовали ей и сами ею в свое время были воспитаны. Надо при этом отдать полную справедливость старшему курсу в том, что он для дрессировки молодежи не жалел ни своего времени, ни сил, ни отдыха. С утра и до вечера можно было наблюдать повсюду картину того, как «корнеты», расставив каблуки и запустив руки в карманы рейтуз, трудились над молодежью во славу школы. Такой труженик обыкновенно начинал с того, что, разведя каблуки, коротко звякал шпорами и командовал:

— Молодежь!.. В такт моим шпорам до приказа.

Немедленно комната наполнялась вокруг него четко вращающимися автоматами. В спальнях некоторые переутомившиеся «корнеты» давали себе отдых, «молодых», впрочем, не касавшийся. Отдыхающий «офицер» лежал на койке, а рядом с ним два или три «сугубца» в интересах развития «шенкелей» методично приседали, держа руки фертом в бока. Только после девяти часов вечера, перед тем как ложиться спать, в эскадроне прекращался всякий «цук», и юнкера младшего курса могли отдыхать, лежа на кроватях, читать и делать все, что им угодно, никем и ничем не тревожимые. Перед сном, в 10 часов вечера, юнкера младшего курса были обязаны складывать на низкой тумбочке, стоящей у ног каждой кровати, свою одежду и белье в правильные квадраты, причем нижним и самым большим был китель, затем, все умень-

шаяся в размерах, рейтузы, кальсоны и носки. Поначалу, пока юнкера младшего курса не набивали себе руку в этом деле, квадраты были недостаточно правильными, и тогда случалось, что дежурный по эскадрону портупей-юнкер будил виновника и заставлял его при себе заново складывать квадраты, в наказание давая ему один или два наряда.

На языке школы, то есть особом кавалерийском жаргоне, на котором юнкера говорили между собой, почти всякое понятие и всякая вещь в училищном общежитии носили свои особые наименования. Так, начальник школы назывался «сто пятьдесят большое», командир эскадрона — «сто пятьдесят малое», инспектор классов полковник Генерального штаба С. — «сто пятьдесят капонирное», старший врач — «сто пятьдесят клистирное», а сменные офицеры — «двадцать шесть». К химии, артиллерии, фортификации и прочим «некавалерийским» наукам можно было относиться с небрежностью, зато науки, имевшие прямое отношение к службе в кавалерии, такие, как езда, вольтижировка, военносиперное дело, иппология и другие, должны были изучаться не за страх, а за совесть, и манкировать ими или — на юнкерском языке — «мотать» считалось непозволительным, и молодежь за попытки к этому строго наказывалась старшим курсом. Кадеты, переведенные в школу по окончании курса, считались прибывшими из такого-то «болота», окончившие среднюю школу в штатском учебном заведении числились «прибывшими с вокзала». Шпоры и кителя могли быть только у «корнетов», те же предметы на юнкерах младшего курса именовались «курточками» и «подковками». Зад юнкера младшего курса назывался «крупом», и так как полагалось считать, что «молодой» ездить не умел и потому натирал себе эту часть тела, то при каждой покупке чего бы то ни было в юнкерской лавочке ему вручалась обязательным приложением крохотная баночка вазелина для смазки воображаемых повреждений.

«Молодого», обнаружившего неприличный аппетит за казенным столом, господ «корнетов», чтобы научить приличию, после обеда вели в лавочку и там закатывали ему «скрипку»; она заключалась в том, что его кормили разными вкусными вещами, но в таком порядке, что он рано или поздно кончал «поездкой в Ригу», ему любезно предлагали после арбуза кильки, затем кефир, виноград, ростбиф и т.д.

Из четырех дверей, ведущих в спальни эскадрона, где юнкера располагались повзводно, две были «корнетскими», равно как и половина зеркал-трюмо, там стоявших. Пользоваться ими младший курс не имел права. То же самое относилось и к курилке, где на полу имелась борозда, по преданию проведенная шпорой Лермонтова и потому именовавшаяся «Лермонтовской», за которую «зверям» доступ был запрещен.

В Николаевском кавалерийском училище, которое М.Ю. Лермонтов окончил в 1834 году, культ его поддерживался традициями; самому поэту приписывалось авторство многих традиций, существовавших в школе моего времени. На юнкерском языке его иначе не называли как «корнет Лермонтов». Даже наш сменный офицер, также в свое время окончивший школу, на строевых занятиях командовал нам:

— От памятника корнету Лермонтову по линии в цепь... бегом марш!

В школе существовал музей имени поэта, где были собраны реликвии его пребывания в училище и первые произведения, написанные в нем. Памятник Лермонтову был открыт в 1913 году, но в мое время на пьедестале стоял только макет его бюста.

Форма школы была чрезвычайно нарядной и красивой и не имела ничего общего с двумя другими кавалерийскими училищами — Елисаветградским и Тверским, носившими уланскую форму. Эскадрон носил мундир и кивер драгун наполеоновского времени с Андреевской гвардейской звездой, черный мундир с красным лацканом, красно-черный пояс и длинные брюки-шоссеры с красными генеральскими лампасами при ботинках с прибивными шпорами. Белая гвардейская португеза пашки и белые замшевые перчатки, носимые при всех формах одежды, даже в манеже, дополняли эту стильную картину. Обыденной формой была алая бескозырка с черными кантами, защитный китель, синие рейтузы с красным кантом при высоких хромовых сапогах и шпорах. Шашка, португеза и пояс надевались поверх кителя и серой, светлого тонкого сукна, шинели.

В школе было принято носить собственное обмундирование, строго придерживаясь формы, что являлось довольно сложной «наукой». Казенного обмундирования старший курс не носил никогда, а младший — только в стенах школы. Собственное обмундирование подчинялось следующим правилам: шинель должна быть такой длины, чтобы доходить до шпор. Покрой каждой части обмундирования был строго определен, и все портные столицы, работавшие на школу, знали эти правила, как «Отче наш». Этикет, португеза и пояс должны были быть обязательно казенными, выбеленными меловой краской, так как относились к высочайше установленной форме гвардейской кавалерии, и потому никакие фантазии в этой области не допускались и строго карались. Шпоры были, как выше говорилось, марки знаменитого Савельева и независимо от их разновидности издавали мелодичный «малиновый» звон, хотя и различных тонов, начиная от солидного баритона и до нежного дисканта.

Довоенный Петербург хорошо знал и любил красочных николаевских юнкеров, которых дамы называли «наши красные шапочки». Даже такой противник всякой военщины, как писатель

граф Лев Николаевич Толстой, согласно запискам его дочери однажды, приехав из Петербурга, в восторге сказал встретившим его домашним:

«— Каких я сейчас двух кавалерийских юнкеров видал на Невском! Что за молодцы, что за фигуры... в шинелях до пят, какая свежесть, рост, сила... и вдруг, как нарочно, навстречу нам генерал!.. Если бы вы только видали, как они окаменели мгновенно, звякнули шпорами, как поднесли руки к околышу. Ах, какое великолепие, какая прелесть!..»

Каждый шаг юнкера, как в стенах школы, так и вне ее, каждая мелочь его быта строго определялись и регламентировались обычаями и традициями. Школа в целом, начиная с командира эскадрона и кончая последним лакеем, подметавшим дортуар, также руководилась этими неписаными правилами, слагавшимися сами собой, среди людей разнохарактерных и разномыслящих, принужденных годами жить бок о бок.

Через несколько дней после приезда в училище меня и нескольких приехавших одновременно в школу кадет разных корпусов вызвали в цейхгауз для получения юнкерского обмундирования и сдачи кадетского. Там, в длинной полуподвальной комнате, густо пропахшей нафталином, нас встретил старый каптенармус, весь в шевронах и с баками александровского времени. Он вежливо и не спеша при помощи ассистента-портного подобрал нам защитные кителя, синие рейтузы и высокие сапоги, увы, без шпор. Эти последние — предмет наших кадетских мечтаний — младшему курсу выдавались в индивидуальном порядке не раньше двух-трех месяцев, по мере успехов каждого юнкера в езде. Первый из «молодых», получивший их, получал обыкновенно в подарок от своего «дядьки» серебряные шпоры, и его поздравлял весь курс. Кстати сказать, получал от своей смены в подарок брелок — золотую репу и тот, кто первым падал в манеже с коня.

Как само обмундирование, сшитое из прекрасного материала и сидевшее на нас весьма прилично в отличие от «пригонки» в кадетских корпусах, так и обувь, хотя и казенные, были хороши. Вслед за обмундированием нам выдали пашки и карабины кавалерийского образца, причем в пашках, с внутренней их стороны, имелись пазы для штыка, на кавалерийской винтовке в строю не носившегося. Пашки должны были висеть в изголовье кроватей в спальне; что же касается винтовок и подсумков к ним, то они стояли в особых стойках, находившихся в коридоре каждого взвода.

В школе от старых времен сохранился обычай давать на каждые 5—6 юнкеров одного лакея. Последние чистили нам сапоги и убирали кровати, одновременно ведая и нашим собственным обмундированием, для которого существовал специальный пейхгауз. Как лакеям, так и вестовым, ходившим за юнкерскими конями,

каждый из юнкеров платил жалованье. Вообще надо сказать, что жизнь юнкеров в Николаевском кавалерийском училище требовала некоторых средств, как в самой школе, так и еще больше в отпуску; по традиции нам, например, не разрешалось ходить пешком по улицам столицы, а полагалось ездить на извозчике или в автомобиле, но ни в коем случае не в трамвае; последнее строго каралось традициями. Немало стоило посещение мест развлечений и прочие удовольствия в отпуску (менее скромного характера), так что расходы составляли никак не меньше 65—70 рублей в месяц.

В первую же среду моего пребывания в школе мой «дядька» — «корнет» Борис Костылев, с которым мы были не только однокашниками по корпусу, но и сидели до седьмого класса на одной скамейке, повел меня и Прибыткова, вышедшего одновременно со мной из нашего корпуса в школу, в белый зал нижнего этажа, куда в этот день из года в год являлись поставщики, чтобы мы могли заказать собственный юнкерский гардероб. В белом зале с колоннами мы застали целый ряд представителей столичных портных, сапожников, фуражечников и т.п. специалистов. Все это были знаменитости Петербурга — великие артисты своего ремесла, причем почти каждый из них специализировался на какой-нибудь одной части обмундирования. Так оказалось, что сапоги нужно заказывать у Мещанинова, шинель у Паца и т.д. Здесь же с огромным открытым ящиком всевозможных шпор стоял и представитель Савельева, на товар которого мы, «молодые», пока что бросали лишь восхищенные взоры, не имея еще права на это лучшее украшение кавалериста.

Через неделю съехались все юнкера обоих корпусов, и жизнь училища вошла в нормальную колею. Для нас, молодежи, начались усиленные строевые и учебные занятия, причем первым посвящалось не менее трех часов в сутки, от чего при наличии той «работы», которой нас подвергали господа «корнеты» добавочно, к вечеру ныли мускулы и ломило кости. Трудновато было и в манеже, где наш сменный офицер гвардии ротмистр Шипергсон, белобрысый швед с бесцветными холодными глазами, буквально не знал ни жалости, ни снисхождения. Это был лихой кавалерист, сломавший в свое время на парфорсной охоте в Офицерской кавалерийской школе обе ноги и потому в пешем строю хромавший сразу на обе стороны. Упорно преследуя цель отобрать из нас способных к службе в кавалерии и заставить отказаться от этого непригодных или, как он выражался, «калек», ротмистр применял весьма жестокие приемы.

По уставу обучения кавалериста мы должны были сначала изучить правила посадки на деревянной в натуральную величину кобыле, затем на живой лошади и научиться управлению ею сперва на корде, потом на уздечке, без стремян на седле, со стремянами, на мундштуке, без оружия, с оружием и, наконец, в полном

походном снаряжении и при пике. Мы должны были также прыгать через препятствия верхом на коне, посаженном одной попоной, затем в седле. Делалось все это для того, чтобы приучить молодого юнкера держаться на лошади не с помощью стремян и поводов, а одними шенкелями и шлюзом, то есть собственными природными средствами, не так, как это делают городские любители верховой езды. На младшем курсе юнкеру не полагалось иметь для езды определенную лошадь. Он был обязан менять коня каждую езду, чтобы приучиться управлять лошадьми вообще.

В первый день нашей верховой езды мы вошли в манеж с душевным трепетом, явственно видным на лице каждого. В предманежнике нас уже ждала команда «вестачей», державших смену крупных и красивых гнедых коней. Когда Шипергсон подал команду «По коням», я, с детства ездивший верхом и проводивший дни напролет в седле на псовых охотах, сразу прикинув все «за» и «против», прямо направился к небольшой изящной кобылке в расчете, что на ней мне будет легче вольтижировать. Однако ротмистр Шипергсон был старой и опытной «птицей» в манеже. Не успели мы выравняться перед ним в конном строю, как он, ехидно усмехаясь в ус, мигнул унтеру коноводов, который немедленно вывел из предманежника огромного коня, и приказал мне на него пересестя как правофланговому. При взгляде на этого верблюда у меня упало сердце — Наиб, как его звали, безусловно был самой высокой лошастью в школе, и садиться на него, уже не говоря обо всем остальном, было целым предприятием: я не мог с земли донести ногу до его стремени и каждый раз был принужден спускать ремень путлища, чтобы вдеть ногу в стремя. В довершение несчастья этот Наиб был слишком велик и тяжел, чтобы брать препятствия, он заваливал их на землю, а из так называемого конверта, состоявшего из реек, ставившихся крест-накрест и прикрытых третьей, каждый раз делал груды дров, что приводило Шипергсона в неистовство.

Коней наших в первый день этой манежной езды посадили попонами, туго обливавшими их сытые спины, и я едва охватывал шенкелями моего гиганта. Пока смена шла шагом, все было благополучно, но едва ротмистр подал команду «Рысью», как мы все сразу почувствовали неудобство положения. Шенкелей, разумеется, ни у кого из нас не было и быть не могло. Поэтому двое из смены сразу «зарыли репу», а в дальнейшем, когда мы перешли на галоп, началось уже настоящее «избиение младенцев».

Злорадно усмехаясь в ус, Шипергсон приказал нам завязать узлом поводья на шее у коней и, расставив руки в стороны на уровне плеч, прыгать через барьер, который внесли в манеж «вестачи». Опытные и тренированные кони шли по кругу как заведенные, совершенно не обращая внимания на своих беспомощных всадников и только кося умными глазами в сторону ездоков,

падавших один за другим. На этой первой езде в опилки манежа, смешанные с конским навозом, легла половина смены. Ротмистр, на все это только приятно улыбавшийся, заметно оживился, в руках у него откуда-то появился длинный бич, которым он нарочно стал горячить лошадей. С этого момента то в одном, то в другом углу манежа почти непрерывно стали раздаваться звуки грузно падавших тел, каждое из которых поднимало тучу опилок.

К концу первого двухчасового урока Шипергсон разошелся окончательно. Его длинный бич засвистел по воздуху и с веселым воплем «Заранее извиняюсь!» он стал ловко попадать концом бича не только по коням, но и по юнкерским ляжкам в туго натянутых рейтузах. С одной из бойких кобыл, давшей при этом неожиданную «свечку», легкой птахой сорвался через ее голову и грузно слепнулся носом в навоз какой-то молодой человек из штатских, явившийся в училище одетым в неуклюжую черкеску явно московского шитья. Поднялся он весь в пыли и, выплюнув изо рта опилки, с достоинством заявил Шипергсону, что после подобного над ним издевательства в школе оставаться не желает. Ротмистр, насмешливо оскалив зубы, крикнул в ответ на весь манеж:

— Скатертью дорога!

«Московский черкес» прямо из манежа заковылял подавать рапорт об отчислении.

Когда мы, потные и ошалелые, с дрожащими от напряжения руками и ногами, наконец вернулись в помещение взвода после этой первой нашей практики «езды», то еще пятеро отказались от дальнейшей чести нести кавалерийскую службу и подали рапорта о переводе их в артиллерию. Особенно трудно пришлось на первых порах трем молодым людям, попавшим в школу «с вокзала», а именно студенту-юристу и двум лицеистам, не имевшим никакого понятия о военной службе. Только один из них выдержал целый месяц, прочие же ограничили свое пребывание в кавалерии одной неделей.

Помимо езды четыре раза в неделю мы занимались вольтижировкой, во время которой солдат-«вестач» гонял на корде по предманежнику толстую и спокойную лошадь — на юнкерском языке «шкапу», — шедшую коротким ровным галопом, поседланную плоским седлом с двумя парами ручек на нем спереди и сзади. Юнкера должны были, держась за эти ручки, вскакивать на ходу в седло и проделывать на нем гимнастические упражнения, непривычному человеку казавшиеся цирковыми номерами, но в действительности не представлявшие собой ничего трудного. Надо было только проделывать их, не теряя темпа галопа и учитывая центрбежное движение, то есть не терять наклона внутрь круга. Поначалу молодежь, пока не усвоила этих «аксиом», много падала, а один при мне даже сломал ногу. Я сам однажды, желая показать номер вне устава, потерял равновесие и упал, порвав связки на

колени, что дает чувствовать себя до сего дня. Та же вольтижировка затем производилась юнкерами в конном строю в манеже, иногда при полной походной седловке, обмундировании и оружии, что было, конечно, гораздо труднее и требовало большой практики.

Кроме езды и вольтижировки, Шипергсон ежедневно гонял нас на гимнастику и строевое учение «пешими по-конному». Обучал стрельбе из пулемета и винтовки и ковке лошадей. В строевом отношении нам, кадетам, также пришлось переучиваться заново, так как строй кавалерии отличается от пехотного тем, что в пехоте все перестроения основаны на расчете по два и четыре, тогда как в кавалерии — по три и шесть, не говоря уже о приемах с шашкой и винтовкой. Пеший строй «по-конному» заключается в том, что, дабы даром не утомлять коней и не собирать вместе больших конных соединений, для чего нужно время и место, юнкера посредством двух человек, держащих за оба конца пику, изображают собой взводы и эскадроны. Шашечные приемы и владение пикой мы проводили сначала на деревянной кобыле, чтобы не порубить по неопытности живую; только привыкнув к шашечным приемам в седле, пересаживались на настоящую лошадь. Но даже и при наличии таких предосторожностей многие кони младшего курса были не застрахованы от увечий и носили на себе следы неудачных шашечных ударов в виде отрубленных и надрубленных концов ушей.

Строевые занятия начинались сразу после завтрака и шли до четырех часов пополудни. После обеда, бывшего в пять часов, мы готовились к репетициям, сдавали их профессорам и выполняли прочие «капонирные обязанности». «Капонирами» в училище на юнкерском языке именовались не только классные помещения, но и... уборные, каковое обстоятельство из года в год приводило в недоумение и раздражение профессора фортификации инженера-полковника К. Как только в своих лекциях в начале года на младшем курсе он доходил до вопроса о крепостных капонирах, класс охватывал неудержимый смех. Когда он затихал, побледневший от негодования полковник клал мел и, обернувшись от доски, на которой чертил план крепости, говорил:

— В чем дело, господа? Какова причина вашего коллективного веселья? Ведь подобный балаган происходит из года в год, едва я произношу слово «капонир». Ради Бога объясните мне, что вы находите смешного в этом слове?..

Никто из юнкеров, однако, не брался объяснить полковнику, что на жаргоне школы его класс приравнивался к пребыванию в... уборной.

С 1890 года и до моего времени Николаевское кавалерийское училище разделялось на две части: кавалерийскую, или эскадрон, и казачью, или сотню, объединенные общим начальником училища, но имевшие каждая свою форму и свой офицерский состав во

главе с командирами эскадрона и сотни. Общими были церковь, столовая и классы. Все же остальные помещения у сотни и эскадрона были отдельные. Сотня имела красивую форму гвардейских казаков как парадную, обыкновенная же отличалась от нашей лишь серебряным прибором, шашкой казацкого (донского) образца и синими шароварами с красными лампасами. Отношения между сотней и эскадронами были самые дружеские, но сотня и эскадрон имели свои собственные традиции и свое начальство, как юнкерское, так и в лице сменных офицеров. Принимали в сотню, за редким исключением, только казаков.

Беспрерывная строевая тренировка и гимнастика всякого рода, в особенности же та «работа», которую нас заставлял проделывать старший курс, быстро превращала мальчиков-кадет в лихую и подтянутую стайку строевой молодежи. Последние остатки кадетской угловатости сходили с нас не по дням, а по часам в опытных руках начальства, которое все чаще стало благодарить то одного, то другого из нас за «отчетливость» и службу.

Через два месяца жесточайшей дрессировки, какую были способны выдержать только крепкие физически и морально, для младшего курса наконец наступил торжественный день присяги. Подняв два пальца правой руки, стоял я в хроне школы среди товарищей в полной парадной форме, слушая слова старинной петровской присяги на верность государю и Родине, которую читал торжественным «медным» голосом адъютант школы ротмистр Зякин. Почти все статьи ее кончались словами «смертная казнь» и производили внушительное впечатление. Глухими голосами мы повторяли после каждого абзаца: «Клянусь, клянусь», — а затем целовали крест, Евангелие и старый шелк штандарта с двуглавым орлом на древке, который держал штандартный вахмистр Кучин.

Получив поздравление «корнетов», вечером того же дня мы впервые были отпущены в город, куда нас до присяги не отпускали ввиду нашего «корявого вида» и во избежание поругания школы. По традиции этот вечер юнкера проводили в цирке Чинезелли, где каждый год происходила по этому случаю неофициальная церемония.

Воспользовавшись моим первым днем отпуска, я поспешил свидеться с товарищами по выпуску из корпуса, бывшими в Михайловском артиллерийском и Павловском училищах.

Михайловцы и обстановка их училища произвели на меня впечатление настоящего храма науки, а мои давние товарищи по классу приобрели, скорее, вид ученых, нежели легкомысленных юнкеров. Чувствовалось, что училище живет серьезной трудовой жизнью и в нем нет места показной стороне.

Павловское военное училище также имело свое собственное, ему одному присущее лицо и свой особый дух. Здесь словно царил дух сурового императора, давшего ему свое имя. Чувствовалось

во всем, что это действительно та военная школа, откуда выходили лучшие строевики нашей славной армии. Юнкера здесь, каждый в отдельности и все вместе, постоянно сохраняли подтянутый и «отчетливый» вид, точно все время находились в строю, даже проходя в свободное время по помещениям училища, старались держать строевой шаг. Легкий запах юфти, такой характерный и приятный всякому военному человеку, здесь вполне гармонировал с общей строго военной обстановкой. Немудрено поэтому, что в описываемое, теперь уже далекое время с батальоном Павловского военного училища на парадах в Петербурге не могла конкурировать ни одна из частей гвардейской пехоты, безукоризненный строй которого и все перестроения возбуждали всеобщий восторг и восхищение.

Вечером вдвоем с грузином Гайдаровым мы подъехали к ярко освещенному подъезду цирка, у которого в этот день стоял усиленный наряд пешей и конной полиции. Ведь первый ряд цирка и ложи цвели морем фуражек гвардейской кавалерии и элегантными туалетами офицерских дам. Все они с улыбками одобрения вглядывались в третий ряд скамей, вдоль которого алыми маками горели бескозырки юнкеров школы.

Все знали, что перед началом циркового представления будет выполнена старая юнкерская традиция, и с любопытством ее ожидали. Едва мы с Гайдаровым уселись на свои места рядом с «сугубыми товарищами», как откуда-то сзади донеслась негромкая, но отчетливая команда:

— Юнкера! Встать... смирно!

Весь длинный ряд алых бескозырок и десятки офицеров и дам в ложах поднялись как один человек. Оркестр заиграл «Марш школы», дивные звуки которого я не забуду до гроба. В дверях входа показалась стройная фигура вахмистра школы, замершая с рукой под козырек. Это была освященная годами и обычаем встреча «земного бога», в которой неизменно каждый год принимали участие не только юнкера училища, но и офицеры гвардии, бывшие в свое время также «корнетами» школы, специально приезжавшие со своими дамами в этот день в цирк Чинезелли...

С утра следующего дня для нас, юнкеров младшего курса, началась наша настоящая военная служба, так как с момента принесения присяги мы стали уже воинскими чинами со всеми из этого вытекающими последствиями. Нужно было или кончать училище и быть произведенным в офицеры, или же заканчивать военную службу солдатом с отчислением в полк вольноопределяющимся. Третьего выхода не было. Однако, как ротмистр Шипергсон, так и господа «корнеты», с этого дня к нам стали относиться гораздо мягче и снисходительнее. Теперь для них мы являлись уже не случайными молодыми людьми, а их младшими товарищами, членами одной и той же кавалерийской семьи, в которой

по девизу школы, выгравированному на ее кольце, представляющем собой подковный гвоздь с Андреевской звездой, «и были вечными друзьями солдат, корнет и генерал». «Цук» хотя и продолжался, но утерял уже свой острый характер испытания и экзамена. Последний мы, по мнению начальства, выдержали с успехом.

ЦАРСКАЯ СОТНЯ

В 1883 году на Дону, в г. Новочеркасске, был «для поднятия уровня образования в среде казачьих офицеров» открыт **Кадетский императора Александра III корпус**. Ко времени первого выпуска из этого корпуса надлежало решить, где выпускаемые из него кадеты должны получить специальное военное образование. Вопрос этот был изучен в особой комиссии, и 4 июня 1890 года состоялось высочайшее повеление, приказом по военному ведомству за № 156 от 1890 года, об «учреждении в Николаевском кавалерийском училище казачьей сотни на 120 юнкеров для приготовления их к службе в офицерском звании в конных казачьих частях». В сотню было постановлено переводить кадет, принадлежавших к казачьему сословию, окончивших курс в Донском корпусе или других кадетских корпусах, а не занятые ими вакансии предоставлять молодым людям казачьего сословия, удовлетворяющим общим условиям приема в военные училища.

В сотню Николаевского кавалерийского училища в 1890 году были приняты только кадеты, окончившие Донской кадетский корпус, в числе 30 человек. В 1891 году вновь было принято 60, а затем с 1892 года введен полный штат. В отношении учебных и строевых занятий, испытания в науках, поощрений, дисциплинарных взысканий, внутреннего порядка, отчисления и выпуска из училища применялся общий порядок училища с тем, что при выпуске юнкера-казаки должны были производиться в строевые части своих казачьих войск. Для юнкеров сотни сделали отдельные спальни, манеж и конюшни; что же касается столовой и лазарета, то они были общими для всего училища. Обучение юнкеров сотни возложили на казачьих офицеров, переведенных для этого в училище из строевых казачьих частей.

Первым командиром сотни был назначен есаул Дьяков, а сменным офицером — подесаул Логинов. В начале второго года существования сотни ей были приданы еще два офицера — подесаул Лобачев и сотник Галушкин, а в 1892 году пятый офицер — подесаул Скосырский. Сотня в строевом и хозяйственном отношении подчинялась начальнику Николаевского кавалерийского училища. В начале текущего века командиром сотни был затем назначен по личному выбору государя Николая II известный есаул

Плешков, прославившийся тем, что приехал на своей строевой лошади из Сибири в Петербург верхом.

При учреждении сотни офицеры и юнкера носили форму своих войск и полков, но с 1907 года получили парадную форму гвардейских казаков; обыкновенной же формой сотни был китель с серебряным прибором и синие казачьи шаровары с красными лампасами и белым гвардейским снаряжением, то есть поясом и портупеей. Вооружение состояло из казачьего карабина без штыка, пики и пашки донского казачьего образца.

Лагерное помещение под Красным Селом с учреждением при Николаевском кавалерийском училище казачьей сотни пришлось расширить, для чего были построены три новых барака. В Петербурге же сотня была помещена во вновь выстроенном третьем этаже здания училища, в котором, кроме того, построили манеж и казачьи конюшни.

Проходя в сотне училища великолепное строевое обучение, юнкера «Царской сотни», как вскоре стало называться казачье отделение училища, были известны в Петербурге как исключительная строевая часть по своей лихости и удали.

В мое время кадеты-казаки по сравнению с кадетами, не принадлежавшими к казачьему званию, были до известной степени в привилегированном положении, так как, чтобы попасть в Николаевское кавалерийское училище не казаку из любого из 28 кадетских корпусов России, надо было кончить корпус, если не вице-унтер-офицером, то, во всяком случае, иметь в среднем не менее 8 с половиной баллов, так как эскадрон училища посылал на каждый из корпусов одну-две вакансии, в то время как в сотню, имевшую такое же число вакансий на младшем курсе, как и кавалерийское отделение, без особых усилий мог попасть любой кадет-казак, окончивший кадетский корпус.

Это объяснялось тем, что с 1907 года в Новочеркасске было открыто Казачье военное училище с равными правами с другими, куда донские кадеты и предпочитали поступать, если не имели намерений выйти в гвардию и обладали для этого достаточными средствами. Для других кадет-казаков, не принадлежавших к Войску Донскому, кроме того, было и третье казачье училище — Оренбургское.

Судьба привела меня окончить кадетский корпус в Воронеже — городе, расположенном на границах Донской области и потому имевшем в своем как воспитательском, так и воспитываемом составе большое число казаков, преимущественно донцов, так как Новочеркасский корпус не мог вместить всех желающих в него поступить. По этой причине у нас был очень силен казачий дух, и я хорошо помню, как одно время среди корпусного высшего начальства казаками были как сам директор корпуса — генерал

М.И. Бородин, так и два ротных командира — полковники Анохин и Садлуцкий.

Что же касается кадет, то в каждом отделении каждого класса было не менее 5—10 казаков различных войск. Они, физически хорошо развитые и энергичные, что среди мальчиков имеет большое значение, сильно влияли на кадетскую массу, прививая ей вкус к физическим упражнениям, смелость и любовь ко всему военному. Помимо этого большинство казаков обладало хорошими голосами и способностями к пению; казаки бывали постоянными запевалами и певчими, как в церкви, так и во время военных прогулок.

Во время моего пребывания в строевой роте казак Фролов из известной донской семьи и его одноклассник и друг Мельников, тоже донец и тоже из старшинской семьи, при всяком случае, когда рота выходила в строю из корпуса, неизменно выслались впереди нее запевалами. Высокий красивый брюнет Мельников запевал баритоном, а ему вторил Фролов, небольшого роста, но на редкость сложенный и подбористый кадет, временами подхватывая мотив казачьим «подголоском» с лихим присвистом в соответствующих местах. Эта славная пара была гордостью строевой роты. Несмотря на минувшие полвека, она и сейчас стоит у меня перед глазами...

Начиная с пятого класса, Фролов стал выделяться среди кадет своей спортивностью и необычайной смелостью, на которую не могли не обратить внимания и начальство, и товарищи. Помню многочисленные случаи того, как он из одного удалства, по пустякам, рисковал жизнью только потому, что всосанная с молоком матери казачья закваска не давала ему жить спокойно. Одним из его излюбленных приемов, за который он часто подвергался наказаниям, было стояние на вытянутых руках, вниз головой, на перилах лестницы третьего этажа или на подоконнике открытого окна, что при малейшей оплошности грозило ему неминуемой смертью на мостовой или на каменном полу нижнего этажа.

Зимой, когда на кадетском плацу строилась ледяная гора, с которой из-за ее крутизны съезжали на салазках только старшие кадеты, Фролов одним прыжком прыгал с ее вершины на отвесную ледяную дорожку и скатывался, стоя на расставленных ногах, вниз. Зацепись он при этом гвоздем подошвы или носком сапога, безусловно поломал бы себе руки и ноги, если бы не убился насмерть. Два раза, я помню, относили его в лазарет то со сломанной рукой, то с ногой после какого-нибудь головоломного номера, причем отчаянный казак не только не стонал и не морщился от боли, как всякий другой в его положении, а весело улыбался, как будто с ним случилось забавное недоразумение. Его казачья лихость била в глаза, благодаря чему он был любимцем

одного из командиров рот, уже упомянутого выше полковника Анохина, казака-патриота, который в Фролове умел ценить это качество и брал его к себе в отпуск, где Фролов был постоянным кавалером полковничьих дочерей, видных и красивых брюнеток, типичных донских казаков.

Выйдя по окончании корпуса в «Царскую сотню», Фролов уже на младшем курсе ее стал знаменитостью столицы. Громкую и прочную славу ему принесла известная конная игра степных казаков — «лисичка», в которой он показал совершенно исключительные способности казака-джигита. Игра эта заключается в том, что один из ее участников-всадников, держа в руке лисий хвост, уходит карьером от преследующих его партнеров, изображающих охотников на лисицу и стремящихся вырвать хвост у него из рук. При этой игре искусный наездник, изображающий «лисичку», имеет широкую возможность показать свое умение и навык управлять конем, находчивость, быстроту смекалки, а главное — искусство джигитовки, так как, увертываясь от преследователей, он буквально вертится вокруг собственного коня, зачастую оказываясь у него под животом. В этой трудной и, конечно, очень опасной игре лихой юнкер сотни Фролов показал такие номера, каких обычно весьма сдержанный спортивный и светский Петербург, всегда посещавший конные праздники, до этого не выдывал и даже не подозревал, что подобные вещи могут быть на белом свете. Огромный Михайловский манеж, где происходили эти праздники, переполненный нарядной светской публикой и офицерами гвардии в блестящих формах, буквально ревел от восторга, забыв обычную сдержанность, при виде отваги и ловкости лихого юнкера.

Из «Царской сотни» Фролов вместе со своим неразлучным товарищем и другом Мельниковым вышли в один и тот же выпуск в лейб-гвардии Атаманский полк, где оба показали себя блестящими офицерами. В самом начале белой эпопеи Фролов погиб на Дону в рядах родного полка в чине есаула в одном из отчаянных приключений, на которые только он один был способен. Что касается Мельникова, то мне пришлось встретить его в Екатеринодаре, тоже в чине есаула и в качестве адъютанта донского атамана генерала Богаевского. Как я узнал потом, он стал в эмиграции певцом-профессионалом и умер в США лет десять тому назад.

В Николаевском кавалерийском училище, куда я вышел из корпуса, у меня продолжались дружеские отношения с моими старыми товарищами-казаками. Из нашего выпуска в «Царскую сотню» вышли 12 кадет, в том числе мой многолетний сосед по парте и приятель Афоня Бондарев. Немудрено, что меня тянуло к ним и я часто ходил из эскадрона в гости к казакам поболтать с одноклассниками.

В первый же день, когда я вошел в помещение сотни, на ее «средней площадке» мое внимание привлекла стоявшая на особой подставке деревянная пика с железным наконечником; это мне показалось странным, так как в те дни казаки и регулярная кавалерия были уже вооружены стальными. Подойдя поближе, я увидел на стене над пикой печатную надпись, гласившую, что пика является точной копией той, которою донской казак имярек в дни кавказских войн отбил от окруживших его 12 черкесов. Действительно, на дереве пики оказалось до двух десятков порезов, а в трех местах дерево было срезано, видимо, пашкой.

Познакомившись ближе с приемами и владением этим страшным оружием и видя, с какой легкостью им работают казаки, я не удивился тому, что через два года после этого донец-казак Кузьма Крючков отбил пикой от 12 немцев, перебив и переранив их всех.

Мои однокорытники по корпусу, юнкера сотни Бондарев, Егоров, Греков и Шитковский, много и интересно рассказывали мне о быте и жизни сотни и о тех старинных казачьих обычаях, которые в ней культивировались из поколения в поколение. Традиции эти были совсем другие, нежели у нас в эскадроне, но зато казаки, как народ солидный, не вносили в них юмористического элемента подобно юнкерам эскадрона. «Хорунжие» старшего курса имели в виду главным образом воспитать и поддержать в своих «молодых» казачью лихость и любовь к боевому прошлому и славе казачьих войск.

Бондарев рассказал мне и главную традицию сотни, по которой в каждом старшем курсе избирается группа наиболее влиятельных юнкеров, на обязанности которых лежит охрана казачьих традиций, — в составе одного «полковника», двух «войсковых старшин», двух «есаулов» и одного «хорунжего». Их намечает заранее старший курс и назначает в ночь так называемого офицерского обхода. Обход этот состоял в том, что ночью, незадолго до выпуска, юнкера старшего курса выстраивались вдоль сотенной спальни с пашками наголо и со свечами, зажженными на их остриях, и пели традиционную песню сотни, начинающуюся словами: «Серый день мерцает», в которой вспоминаются заслуги дедов и отцов казачества, Азовские походы, покорение Сибири, Запорожские походы в Турцию, войны казачества с турками, поляками, Сагайдачный и Разин. После этого читался приказ с назначением из юнкеров младшего курса новых «полковника», «войсковых старшин», «есаулов» и «хорунжего», которым передавалась власть блюсти и выполнять казачьи традиции «Царской сотни» и воспитывать молодежь. Приказ составлялся в старинных казачьих весьма витиеватых выражениях. Церемониал заканчивался общим пением:

«Царской сотне» многие лета!
Еще раз ей многие лета!
Без конца ей многие лета!

Строевое обучение юнкеров сотни было поставлено блестяще. Рубка пашкой и обращение с пикой граничили с чудом. Помню, как на одном из конных праздников в школе всех присутствующих поразил юнкер, чисто срубивший все лозы и под конец рубанувший глиняную пирамиду с таким усердием, что не только разнес ее надвое, но и отрубил от толстой дубовой стойки, на которой она стояла, целый угол, для чего требовалась поистине медвежья сила. Тогда же есаул Тургиев, сменный офицер сотни, уже в пешем строю, четырьмя ударами пашки разрубил глиняную пирамиду с такой чистотой, что она не сдвинулась ни на миллиметр, а затем слева направо разрубил ее опять на четыре части, после чего она продолжала по-прежнему стоять; девятым ударом он заставил взвиться в воздух все разрубленные части.

Громкая слава «Царской сотни» часто привлекала в казачьи ряды и людей, не родившихся казаками. Так, например, окончив эскадрон Николаевского училища, вышел в Сибирский казачий полк старший друг моей юности Борис Владимирович Анненков, ставший в гражданскую войну в Сибири и Семиречье известным «атаманом Анненковым». При мне вышел также из эскадрона в лейб-гвардии Казачий полк взводный вахмистр Персидский; в том же выпуске сотню окончил один из герцогов Лейхтенбергских, а в следующем — князь Трубецкой.

Учреждение «Царской сотни» при Николаевском кавалерийском училище дало возможность юнкерам-казакам, желавшим выйти в гвардейские казачьи полки, представляться их обществу офицеров, дабы быть принятым в эти полки, чего не было раньше, и зачастую юнкера-казаки принуждены были для того, чтобы иметь возможность представиться в гвардейские полки, поступать по окончании корпуса в петербургские пехотные училища, как это случилось с покойным донским атаманом генералом Красновым, окончившим для того, чтобы выйти в лейб-гвардии Атаманский полк, Павловское пехотное училище.

Заканчивая этот очерк, я позволю себе пожелать в новой, свободной России возрождения славной «Царской сотни» и дальнейшего ее существования на многие и многие счастливые лета!

ПРОИЗВОДСТВО

В Николаевском кавалерийском училище существовала традиция, согласно которой перед производством старшего курса в офицеры в лагере Дудергофе, в бараке старшего курса, вывешивалось на стене так называемое дежурство. Это выражалось в том, что на одной из деревянных колонок, подпиравших крышу барака,

вывешивался плакат с надписью: «Сегодня дежурит 20-й драгунский Финляндский полк». Это значило, что до дня производства, известного заранее, оставалось ровно двадцать дней. На следующий день на плакате стояло: «Сегодня дежурит 19-й Архангелогородский драгунский полк» и т.д., кончая 1-м драгунским Московским, что значило, что на другой день наступал день производства в офицеры.

В это знаменательное утро юнкера школы вставали раньше трубы и почти не прикасались к утреннему завтраку. Надевалось полное походное снаряжение; эскадрон и сотня строились перед передней линейкой и после долгих эволюций и заездов наконец наступал желанный момент церемониального марша, принимаемого в старые годы лично государем императором в Красном Селе каждый год перед производством в офицеры юнкеров, окончивших военные училища в Петербурге.

По сигналу «Труби отбой», подававшемуся царским штаб-трубачом конвоя, эскадрон и сотня школы останавливались и выравнивались развернутым фронтом. Подавалась команда: «Господа юнкера старшего курса... слезать... отдать коней младшему курсу!»

Перед Царским валиком постепенно подходили и выстраивались в пешем строю запыленные и усталые пажы, юнкера школы, павлоны, владимирцы, военные топографы, Михайловское и Константиновское артиллерийские и Николаевское инженерное училища. После команды «Смирно» фронт обходили флигель-адъютанты, раздавая каждому из юнкеров царский приказ о производстве, напечатанный в виде брошюры в несколько страниц, где каждый паж и юнкер могли найти свое имя и полк, в который вышли.

В сопровождении свитского дежурства к фронту юнкеров от Царского валика спускался улыбающийся император. Не спеша, он начинал обходить ряды, пристально вглядываясь в лица своих будущих офицеров и поминутно останавливаясь то около одного, то около другого юнкера, расспрашивая об их семьях и полках, в которые они выходят. Дойдя до левого фланга, он отходил к середине фронта и, хорошо видимый всеми, обращался к юнкерам.

— Благодарю вас, господа, за прекрасный смотр!

— Рады стараться, Ваше Императорское Величество! — громко и радостно звучал ответ нескольких сотен молодых голосов.

Это был последний ответ юнкеров; вслед за этим они становились офицерами, так как государь делал два шага вперед и громким голосом произносил магическую фразу чудесного превращения:

— Поздравляю вас, господа, с производством в офицеры!

Оглушительное «ура» начинало греметь перекатами по всему полю; строй ломался, как только император поднимался на валик.

— Господа офицеры — к вашим коням! — впервые слышали бывшие юнкера, а теперь — по одному царскому слову — молодые

офицеры необычайную команду эскадронного командира. В бараки школы произведенные офицеры неслись сумасшедшим карьером, вне всякого строя, что являлось также старым обычаем. На кроватях барака их уже ожидала приготовленная лакеями новая парадная форма, в которую все спешно переодевались, и один за другим выходили к уже ожидавшей у передней линейки туче извозчиков, чтобы ехать в Питер.

Перед отъездом навсегда из Красного Села на стенах и потолке барака, изнутри, каждый вновь произведенный по традиции красками полковых цветов записывал свое имя и полк, что делало внутренность барака старшего курса весьма живописной. Надписи эти начальство не стирало, и они оставались на многие годы.

Традиционный обед вновь произведенных корнетов по традиции назначался на другой или третий день после производства в одном из лучших ресторанов столицы; необыкновенная пестрота, блеск и красота форм обмундирования кавалерийских полков гвардии и армии в этот вечер поражали своей красочностью и разнообразием. Поистине красива и внушительна была форма русской кавалерии, отличаясь не только своей оригинальностью, но и большим вкусом. На прощальном обеде вновь произведенных корнетов присутствовали в качестве почетных приглашенных также командир эскадрона и сменные офицеры, с которыми в этот день бывшие юнкера по традиции переходили на «ты».

После производства молодые корнеты в последний раз приезжали в школу, где присутствовали на молебне в училищном храме, а затем снимались всем выпуском у фотографа, являвшегося в школу. Снимки всех выпусков, на которых молодые корнеты фигурировали в парадной форме, затем вешались в проходном помещении школы, ведущем в капоныри и столовую.

КАДЕТЫ И ЮНКЕРА В БЕЛОМ ДВИЖЕНИИ

Воспитанные в твердых принципах службы за веру, царя и Отечество, кадеты и юнкера, для которых эта формула являлась смыслом и целью всей их будущей жизни, приняли революцию 1917 года как огромное несчастье и гибель всего, чему они готовились служить и во что верили. Красный флаг, заменивший русский национальный, они сочли с первых же дней его появления тем, чем он в действительности и был, а именно грязной тряпкой, символизирующей насилие, бунт и надругательство над всем для них дорогим и священным.

Хорошо зная об этих настроениях, которые кадеты и юнкера не считали нужным скрывать от новой власти, она поспешила в корне изменить быт и порядки военно-учебных заведений. В первые же месяцы революции Советы поспешили переименовать кадетские корпуса в «гимназии военного ведомства», а роты в них —

в «возрасты», строевые занятия и погоны отменить, а во главе корпусной администрации поставить «педагогические комитеты», куда наряду с офицерами-воспитателями, директорами и ротными командирами вошли и стали играть в них доминирующую роль солдаты-барабанщики, дядьки и военные фельдшера. Помимо этого революционное правительство в каждый корпус назначило «комиссара», являвшегося «оком революции». Главной обязанностью таких «комиссаров» было прекращать на корню все «контрреволюционные выступления». Офицеры-воспитатели стали заменяться штатскими учителями под именем классных наставников, как в гражданских учебных заведениях.

Все эти реформы кадетская среда встретила единогласным возмущением. При первых же известиях о начавшейся в разных местах России гражданской войне кадеты стали массами покидать корпуса, чтобы вступить в ряды белых армий, сражавшихся против большевиков. Однако, как молодежь, воспитанная в твердых принципах воинской чести, кадеты в лице их строевых рот, прежде чем покинуть навсегда родные корпуса, приняли все от них зависящие меры, дабы спасти свои знамена — символ их воинского долга и не допустить, чтобы они попали в руки красных. Кадетские корпуса, которым удалось в первые месяцы революции эвакуироваться в районы белых армий, взяли знамена с собой. Кадеты же корпусов, оказавшихся на территории советской власти, сделали все от них зависящее и возможное, чтобы скрыть свои знамена в надежных местах.

Знамя Орловского Бахтина корпуса тайно было унесено из храма офицером-воспитателем подполковником В.Д. Трофимовым совместно с двумя кадетами и спрятано в надежном месте при очень трудных обстоятельствах. Кадеты Полоцкого кадетского корпуса с опасностью для собственной жизни спасли знамя из рук красных и вывели его в Югославию, где оно затем было передано Русскому кадетскому корпусу. В Воронежском корпусе кадеты строевой роты тайно вынесли из храма знамя, а на его место в чехол положили простыню. Исчезновение знамени красные заметили лишь тогда, когда оно находилось уже в надежном месте, откуда было затем вывезено на Дон.

Среди известных случаев спасения знамен, принадлежавших кадетским корпусам, самое значительное дело было совершено кадетами-симбирцами, которые вместе со знаменем своего корпуса спасли и хранившие с ним два знамени Полоцкого кадетского корпуса.

Это славное дело выделяется не только числом спасенных знамен, но и количеством лиц, принимавших в этом то или иное участие.

К началу марта 1918 года Симбирский кадетский корпус уже находился под контролем местных большевиков. У входа в кор-

пусное здание стояли часовые. В вестибюле располагался главный караул с пулеметами. Знамена находились в корпусной церкви, дверь которой была закрыта на ключ и охранялась часовым. А рядом, в столовой, был караул из пяти красногвардейцев.

О намерении большевиков отобрать знамена сообщил пришедший во второе отделение седьмого класса полковник Царьков, один из корпусных преподавателей, особенно любимый кадетами. Поцеловав близстоявшего кадета, полковник этим намекнул кадетам на их обязанности в отношении корпусной святыни.

Отделение поняло намек и, не оповещая других кадет, составило план похищения знамен, в исполнении которого приняли участие все без исключения кадеты славного второго отделения, выполняя полагающиеся, сообща продуманные и распределенные задачи.

Кадетам А. Пирскому и Н. Ипатову посчастливилось незаметно снять слепок ключа от церковной двери. А вечером, когда хитростью удалось отвлечь внимание часового и караула, заготовленным по слепку ключом открыли церковь, сорвали полотнища и, охраняемые всюду расставленными «махальными», доставили знамена в свой класс.

Снимали знамена А. Пирский, Н. Ипатов, К. Россин и Качалов, прикомандированный кадет 2-го Петербургского кадетского корпуса.

Большевики, утром заметившие исчезновение знамен, производили обыски во всех помещениях корпуса, но безрезультатно. Знамена очень находчиво были скрыты в классе же на дне бочонков с пальмами. Но возникла новая задача — вынести знамена из корпуса. Через два дня, когда по сговору предстояло передать знамена находившемуся в городе прапорщику Петрову, который лишь в 1917 году окончил Симбирский же корпус, решили действовать на ура. Самые сильные кадеты отделения спрятали знамена за пазуху, их окружили толпой, и все разом кинулись через швейцарскую мимо растерявшихся часовых на улицу. Потом, когда передача знамен уже была произведена, вернулись в корпус и объяснили свою выходку желанием подышать свежим воздухом, прогуляться.

В дальнейшем, уже после роспуска корпуса, большевики арестовали целый ряд корпусных офицеров, обвиняя их в сокрытии знамен. Находившиеся еще в городе кадеты славного второго отделения собрались для обсуждения вопроса: как бы выручить из тюрьмы офицеров, даже не знавших, где находятся знамена. Кадеты А. Пирский, К. Россин и Качалов предложили, что они сознаются большевикам в похищении знамен, а при допросах будут заявлять, что знамена увез Н. Ипатов, который больше месяца тому назад уехал в Маньчжурию.

Так и поступили. Воспитатели вышли из тюрьмы, а их места заняли кадеты. Но Бог вознаградил их дух: так получилось, что суд признал их невиновными... А от мести большевиков им удалось сбежать.

Знамена переданы были на хранение сестре милосердия Евгении Викторовне Овтрахт. Она спрятала их и передала в руки генерала барона Врангеля после занятия добровольцами г. Царицына. Приказом за № 66 от 29 июня 1919 года за этот подвиг она была награждена Георгиевской медалью. В январе 1955 года знамя, спасенное г. Овтрахт, ставшей игуменьей Эмилией, прибыло в США и ныне находится в митрополичьем храме Синода зарубежной церкви.

Кадеты Омского корпуса в 1918 году, получив от красного командования приказ снять погоны, вечером того же дня собрались всем корпусом в сборной зале, сложили все погоны в гроб, который затем старшими кадетами был зарыт в землю. Знамя Сумского кадетского корпуса, ныне также находящееся в США, спасено с опасностью для жизни кадетом Димитрием Потемкиным.

В белой борьбе за Россию против красных первыми выступили в октябре 1917 года Александровское военное училище и кадеты трех московских корпусов. Юнкера несколько дней подряд защищали Москву от захвата ее большевиками, причем третья рота училища, даже и после поражения не пожелавшая сдать оружия, была красными уничтожена поголовно. Узнав о выступлении юнкеров-александровцев против красных, строевая рота 3-го Московского императора Александра II корпуса немедленно присоединилась к юнкерам и заняла позицию вдоль реки Яузы, в то время как строевая рота 1-го Московского корпуса прикрывала юнкерский фронт с тыла. Под огнем превосходившего их числом противника юнкера и кадеты, расстреливаемые со всех сторон, стали отходить к реке Яузе, где и задержались. В это время строевая рота 2-го Московского корпуса, построившись в сборной зале под командой своего вице-фельдфебеля Слонимского, обратилась с просьбой к директору корпуса разрешить выйти на помощь юнкерам и кадетам двух других корпусов. На это последовал категорический отказ, после чего Слонимский приказал разобрать винтовки и со знаменем во главе повел роту к выходу, который загородил собой директор корпуса, заявивший, что «рота пройдет только через его труп». Правифланговыми кадетами генерал был вежливо отстранен с пути, и рота явилась в распоряжение командующего сборным юнкерско-кадетским отрядом на реке Яузе. Кадеты трех московских корпусов и юнкера-александровцы покрыли себя в эти дни бессмертной славой в борьбе с красными. Они бились в течение двух недель, доказав на деле, что значат для русского кадета и юнкера товарищеская спайка и взаимная выручка.

В дни большевистского переворота в октябре 1917 года с оружием в руках сражались против большевиков в Петрограде почти все военные училища во главе с особенно пострадавшим в этой борьбе Николаевским инженерным.

Морской кадетский корпус в Петрограде в первые дни революции подвергся нападению бунтующей черни и солдат во главе с вышедшими из повиновения нижними чинами лейб-гвардии Финляндского полка и запасных частей. Директор Морского корпуса адмирал Карцев приказал раздать оружие гардемаринам и старшим кадетам, и корпус оказал бунтовщикам вооруженное сопротивление.

Желая спасти гардемарин и кадет, директор Морского корпуса вышел в вестибюль и вступил в переговоры с нападающими, заявив им, что в здание корпуса он толпу не пустит, так как отвечает за казенное имущество, но готов выдать некоторое число винтовок и разрешит делегатам осмотреть все помещения, дабы убедиться в отсутствии пулеметов, в стрельбе из которых агитаторы обвиняли Морской корпус. Однако в то время, как по приказу адмирала Карцева его помощник инспектор классов генерал-лейтенант Бригер отправился с делегатами для осмотра корпуса, на адмирала было произведено нападение, он получил удар прикладом по голове и был увезен в здание Государственной думы, где тяжело себя ранил, покушаясь на самоубийство. Заместивший адмирала Карцева на посту директора корпуса генерал-лейтенант Бригер выпустил кадет и гардемарин по домам, и в этот день, в сущности, закончилось 216-летнее служение корпуса Российской Империи.

В Воронежском кадетском корпусе, когда пришел манифест об отречении государя императора, который директор прочел в церкви, настоятель храма законоучитель корпуса о. протоиерей Стефан (Зверев), а за ним и все кадеты зарыдали. В тот же день кадеты строевой роты сорвали с флагштока красную тряпку, вывешенную писарями, и при открытых окнах сыграли национальный гимн, подхваченный голосами всего корпуса. Это вызвало прибытие к зданию корпуса красной гвардии, которая намеревалась перебить кадет. Последнее с большим трудом было предотвращено директором генерал-майором Белогорским.

В первые дни большевизма, осенью и зимой 1917 года, все кадетские корпуса на Волге были разгромлены, а именно: Ярославский, Симбирский и Нижегородский. Красногвардейцы ловили кадет в городах и на станциях железных дорог, в вагонах, на пароходах, избивали их, калечили, выбрасывали на ходу поездов из окон и бросали в воду. Уцелевшие кадеты этих корпусов одиночным порядком прибывали в Оренбург и присоединялись к двум местным корпусам, в дальнейшем разделив их судьбу.

Псковский кадетский корпус, переведенный в 1917 году из Пскова в Казань и разместившийся в здании Духовной семинарии

на Арском поле, во время октябрьского выступления большевиков в этом городе, как и московские кадеты, присоединился к местным юнкерам, сражавшимся с красными. В 1918 году кадеты-псковичи выступили походным порядком на Иркутск, где снова с оружием в руках, уже в 1920 году, сражались против красной власти. Часть из них погибла в боях, а уцелевшие, перебравшись в Оренбург, продолжали борьбу с красными. Одному кадету удалось в Сибири даже организовать свой собственный партизанский отряд. Знамя Псковского корпуса было спасено из рук красных корпусным священником, настоятелем о. Василием.

Командир второй роты Симбирского кадетского корпуса полковник Горизонтов, преодолевая тысячи затруднений и опасностей, вывел остатки корпуса в Иркутск, где в декабре 1917 года юнкера тамошнего военного училища не позволили местным большевикам захватить власть в городе, сражаясь с красной гвардией в течение восьми суток. В эти дни юнкера потеряли убитыми и ранеными более 50 человек и несколько офицеров, но сами перебили свыше 400 красных.

17 декабря 1917 года строевая рота Оренбургского Неплюевского корпуса под командованием своего вице-фельдфебеля Юзбашева ушла из корпуса и присоединилась к отряду оренбургских казаков атамана Дутова. В их рядах кадеты приняли участие в боях с красными под Карагандой и Каргалай, понеся потери ранеными и убитыми, а затем остатки роты совместно с юнкерами Оренбургского казачьего училища оставили Оренбург и степями двинулись на юг. Этот поход описан талантливым пером кадета-писателя Евгения Яконовского. Кадеты Оренбургского Неплюевского корпуса (выпускного класса) впоследствии почти целиком составили команду броневоего поезда «Витязь», как другие кадеты составляли команды бронепоездов «Слава офицера» и «Россия».

В январе 1918 года юнкера Одесского пехотного училища вместе со своими офицерами были окружены в здании училища со всех сторон красногвардейскими бандами. Оказав им энергичное сопротивление, юнкера только на третий день боя, и то по приказанию начальника училища полковника Кислова, оставили здание одиночным порядком и группами, чтобы пробраться на Дон и вступить в ряды Добровольческой армии.

В октябре 1917 года Киевское пехотное имени великого князя Константина Константиновича военное училище вступило в бой с красными впервые на улицах Киева и понесло в этом бою первые потери. Захватив силой оружия поездной состав на вокзале, оно перешло на Кубань, где в рядах кубанских частей участвовало в Ледяном походе и при взятии Екатеринодара.

Начиная с осени 1917 года и до зимы 1923 года огромные пространства России были охвачены гражданской войной. В этой грандиозной борьбе русские кадеты и юнкера заняли самое почет-

ное место, подтверждая принцип того, что «погоны у кадет разные, но душа одна». Кадеты и их старшие товарищи и братья юнкера понесли страшные потери убитыми, ранеными и замученными, не говоря уже о навеки искалеченных физически и морально на всю остальную жизнь. Эти дети и юноши-добровольцы были самым прекрасным и вместе с тем самым тягостным из всего в белом движении. Об их участии в этой страшной войне должны быть впоследствии написаны целые книги, о том, как пробивались в белые армии эти дети и юноши, как бросали свои семьи, как находили после долгих трудов и поисков обетованную армию.

Первые отряды добровольцев, начавшие бороться с красными у Ростова и Таганрога, были в огромном своем большинстве составлены из кадет и юнкеров, как и отряды Чернецова, Семилетова и других основоположников борьбы с красными. Первые гробы, неизменно сопровождаемые в Новочеркасске печальным атаманом Калединым, заключали в себе тела убитых кадет и юнкеров. На их похоронах генерал Алексеев, стоя у открытой могилы, сказал:

— Я вижу памятник, который Россия поставит этим детям, и этот памятник должен изображать орлиное гнездо и убитых в нем орлят...

В ноябре 1917 года в г. Новочеркасске сформировали Юнкерский батальон, состоявший из двух рот: первой, юнкерской, под командой ротмистра Скосырского и второй, кадетской, под командой штабс-капитана Мизерницкого. 27 ноября он получил приказание погрузиться в поезд и с полусотней Донского казачьего военного училища был направлен в Нахичевань. Выгрузившись под огнем противника, батальон быстро построился, как на учении, и, идя во весь рост, бросился в атаку на красных. Выбив их из Балабинской рощи, он в ней закрепился и продолжал стрелковый бой при поддержке двух наших орудий. В этом бою почти целиком погиб взвод капитана Донскова, состоявший из кадет Орловского и Одесского корпусов. Найденные после боя трупы оказались обезображенными и исколотыми штыками. Так, кровью русских детей-кадет обгадилась русская земля в первом бою, положившем основание Добровольческой армии и белой борьбе при взятии Ростова-на-Дону. В январе 1918 года в Екатеринодаре был создан отряд добровольцев имени «Спасения Кубани» под командой полковника Лесевицкого, состоявший из кадет различных корпусов и юнкеров Николаевского кавалерийского училища. В его рядах героически пали на поле чести кадеты: Георгий Переверзев — 3-го Московского корпуса, Сергей фон Озаровский — Воронежского, Данилов — Владикавказского и многие другие, имена которых записаны у Господа Бога...

После взятия Воронежа отрядом генерала Шкуро многие кадеты местного корпуса, скрывавшиеся от красных в городе, записались добровольцами в отряд. Из них в последующих боях были убиты

кадеты-воронежцы: Гусев, Глонти, Золоторубов, Селиванов и Гроткевич.

Поэтесса Снасарева-Казакова посвятила свои рвущие душу стихи кадетам-добровольцам, погибшим под Иркутском:

Как звезды, были их глаза —
Простые русские кадеты;
Их здесь никто не описал
И не воспел в стихах поэта.
Те дети были наш оплот,
И Русь поклонится их гробу;
Они все там до одного
Погибли в снеговых сугробах...

Славой и честью покрыли себя кадеты всех российских корпусов, сражавшиеся рядом со своими старшими братьями-юнкерами на Оренбургском фронте, у генерала Миллера на севере, у генерала Юденича под Лугой и Петроградом, у адмирала Колчака в Сибири, у генерала Дидерихса на Дальнем Востоке, у казачьих атаманов на Урале, Дону, Кубани, в Оренбурге, Забайкалье, Монголии, Крыму и на Кавказе. У всех этих кадет и юнкеров был один порыв, одна мечта — пожертвовать собой для Родины. Этот высокий подъем духа и вел к победе. Только им и объяснялся весь успех добровольцев против многочисленного врага. Это отразилось и на песнях добровольцев, наиболее характерной из которых является песня о Ледяном походе на Кубани:

...Вечерней порой, сомкнувшись в строю,
Поем мы негромкую песню свою
О том, как в далекие степи ушли
Мы, дети безумной, несчастной земли,
И в подвиге видели цель мы одну —
Спасти от позора родную страну.
Пугали нас вьюги и холод ночной, —
Недаром нам дался поход Ледяной...

«Порыв по своей возвышенности, своему бескорыстию, по самопожертвованию столь исключительный, — писал один из наших славных кадет-писателей, — что подобный ему трудно отыскать в истории. Этот подвиг тем значительнее, что был совершенно бескорыстен, мало оценен людьми и лишен лаврового венка победы...»

Один вдумчивый англичанин, бывший на юге России во время гражданской войны, сказал, что «в истории мира он не знает ничего более замечательного, чем дети-добровольцы белого движения. Всем же отцам и матерям, отдавшим своих детей за Родину, он должен сказать, что их дети принесли на поле брани святыню духа и в чистоте юности легли за Россию. И если люди не оценили

их жертв и не воздвигли им еще достойного памятника, то их жертву видел Бог и принял их души в свою райскую обитель...».

Великий князь Константин Константинович, предчувствуя ту светлую роль, которая в будущем достанется на долю так любимых им кадет, задолго до революции посвятил им пророческие строки:

Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая
Родство с великой воинской семьей,
Гордися ей принадлежать душой;
Ты не один — орлиная вы стая.
Настанет день, и, крылья расправляя,
Счастливые пожертвовать собой,
Вы ринетесь отважно в смертный бой, —
Завидна смерть за честь родного края!..

В дни белого движения на Украине при гетмане Скоропадском кадетские корпуса были восстановлены под именем «войсковых бурс» в Киеве, Сумах, Полтаве и Одессе. Равным образом открылись снова кадетские корпуса: Хабаровский, Иркутский, Новочеркасский и Владикавказский, таким образом, революция и большевизм привели к тому, что за период 1917—1918 гг. погибли все военные училища и 23 кадетских корпуса из 31, существовавшего до марта 1917 года в России. Гибель большинства из них была ужасна, и беспристрастная история когда-либо отметит те кровавые события, которые сопутствовали этой гибели, как, например, поголовное избиение персонала и кадет Ташкентского корпуса, которое можно приравнять разве что к избиению младенцев на заре Нового Завета... Это была недостойная месть большевиков за то, что строевая рота ташкентских кадет принимала участие в обороне Ташкентской крепости вместе с юнкерами и школами прапорщиков.

После разгрома белого движения судьба кадетских корпусов, бывших на территории белых армий, сложилась весьма трудно и печально. Так, в день эвакуации Одессы, 25 января 1920 года, только часть Одесского и Киевского корпусов успела под огнем красных погрузиться на пароходы. Другая же часть, не смогшая пробиться в порт, была вынуждена, повернув обратно, присоединиться к отступающим из города белым войскам; командовал этой частью капитан Реммэрт. 31 января 1920 года в отряде полковника Стесселя при отступлении к румынской границе она героически защищала левый фланг отряда в боях под Канделем и Зельцем, после чего кадетам удалось переправиться в Румынию. Прилагаемый к настоящей книге приказ Военного представителя в Румынии от 2/15 апреля 1920 года говорит достаточно красноречиво об этом подвиге кадет. Страшные дни, пережитые ими, талантливо описаны кадетом-писателем Евгением Яконовским в лучшем его произведении «Кандель».

Хабаровскому корпусу после гибели белой армии в Сибири пришлось эвакуироваться во Владивосток на Русский остров, а затем в Шанхай. Сибирский императора Александра I корпус через Владивосток и Китай попал в Югославию.

19 декабря 1919 года наступление красных на Новочеркасск заставило Донской корпус во главе с его директором генералом Чеботаревым двинуться походным порядком на юг. Через Новороссийск корпус был эвакуирован в Египет, а затем в Югославию. Сюда же после эвакуации армии генерала Врангеля попали и кадетские корпуса, нашедшие себе приют в Крыму и сведенные в Крымский кадетский корпус. В Югославии благодаря этому после ликвидации белого движения в России оказались три кадетских корпуса из остатков прежних корпусов царского времени, а именно: Крымский — из кадет Петровского Полтавского и Владикавказского корпусов в г. Белая Церковь; Первый русский — из остатков Владимирского Киевского, Полоцкого и Одесского корпусов в г. Сараево; Донской — из кадет Новочеркасского, 1-го Сибирского и Хабаровского корпусов в г. Гаражде. Впоследствии эти три корпуса были сведены в один, названный Первым русским великого князя Константина Константиновича кадетским корпусом, кадеты которого называют себя «княже-константиновцы»; шефство было дано приказом короля Югославии Александра I. Корпус этот просуществовал в Югославии вплоть до занятия ее войсками Красной Армии в последнюю мировую войну.

Что касается военных училищ, то во время белой борьбы на Кубань и Дон из Киева, как говорилось выше, прибыло первым Киевское пехотное училище. После сражений на улицах родного города оно, отправившись на Кубань, приняло участие в ее освобождении, после чего возобновило военно-учебную работу в Екатеринодаре, а затем в Феодосии. Работа эта прерывалась участием училища в боях, как, например, в Крыму у Перекопа, когда оно оставило на нем две офицерские и 36 юнкерских могил, а затем в августе 1920 года приняло участие в десанте на Кубань генерала Улагая.

Осенью 1920 года жители г. Феодосии намеревались поставить на набережной памятник, представляющий собой занесенную снегом фигуру юнкера, защищающего Крым. Этот памятник должен был увековечить подвиг училища, которое в январскую стужу 1920 года спасло Крым от красных.

Помимо Киевского училища в Добровольческой армии на юге России возродилось также Александровское пехотное училище под начальством генерала А.А. Курбатова. Оно было награждено генералом Врангелем серебряными трубами с Николаевскими лентами за десантную операцию на Тамани под начальством генерала Хамина.

Николаевское кавалерийское училище было образовано в Галлиполи, а затем после переезда армии в Югославию обосновалось в Белой Церкви, где дало три выпуска, а именно: в ноябре 1922 года, в июле и сентябре 1923 года. Кроме того, перед своим закрытием в 1923 году оно выпустило эстандарт-юнкеров. Всего окончили его и были произведены в корнеты 352 человека.

В Болгарии некоторое время существовали прибывшие из Галлиполи Сергиевское артиллерийское, Алексеевское пехотное, Инженерное и Николаевское артиллерийское училища.

Морской кадетский корпус после эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма обосновался в Бизерте, где несколько лет продолжал свое существование для того, чтобы дать возможность гардемаринам и кадетам окончить курс.

Необходимо упомянуть также о Русском военном училище в Китае, открытом правителем Маньчжурии — маршалом Чжан-Цзолином для пополнения офицерами его армии, сражавшейся с красными в Маньчжурии. Училище сформировали по программе русских военных училищ мирного времени с двухгодичным курсом, причем преподавателями и офицерами в нем были русские. Первый выпуск его имел место в 1927 году, второй — в 1928 году. Все юнкера, произведенные из него в офицеры, русские по национальности, приказом по Общевоинскому союзу были признаны подпоручиками русской армии.

Наконец, ныне во Франции, в окрестностях Парижа, существует Русский корпус-лицей имени императора Николая II благодаря пожертвованию и ежегодной материальной помощи этому учебному заведению леди Лидии Павловны Детерлинг. Первым директором его был генерал Римский-Корсаков, по мысли которого лицей основан. Покровителем корпуса до самой своей смерти в 1955 году являлся августейший кадет и юнкер — великий князь Гавриил Константинович. В 1936 году глава дома Романовых пожаловал леди Детерлинг в благодарность за большое русское дело, ею поддерживаемое, титул княгини Донской при Высочайшем указе.

Ко всему вышеизложенному нелишним будет добавить, что со времени революции круто изменился взгляд русского образованного общества за границей на русские военно-учебные заведения, выказавшие столько геройства и самоотвержения при защите Родины во время гражданской войны в России. Этому лучшим свидетельством служит признание одного из руководителей общественного мнения до революции писателя и публициста Александра Амфитеатрова, который в одной из своих статей в зарубежной прессе воскликнул, изумляясь самопожертвованию и геройству кадет: «Не знал я Вас, господа кадеты, честно признаюсь, и только теперь осознал глубину Вашего подвижничества...»

Заканчивая эту книгу, я должен с большим удовлетворением признать, что кадеты русских зарубежных корпусов целиком впитали лучшие традиции кадет царского времени, в лице княже-константиновцев ныне являясь ядром и главной опорой Общекадетского объединения за границей. Да пошлет Господь Бог им счастья дожить до того светлого дня, когда они смогут передать факел нашей преемственности кадетам будущей свободной национальной России!

Идя навстречу пожеланиям многих кадет и исполняя их просьбу, я с удовольствием присоединяю к своему труду следующие статьи, написанные Сергеем Палеологом, Михаилом Залесским и Череповым, — все затрагивающие одну и ту же «кадетскую» тему.

А. Марков

РОССИЙСКИЕ КАДЕТСКИЕ КОРПУСА В ЗАРУБЕЖЬЕ

(Из газеты «Русская жизнь», 1960 год)

Российская эмиграция во многих отношениях — неповторимое в истории человечества явление. В частности, как объяснить, что рожденные вне России, окруженные инородной средой юноши и молодые люди остались русскими? Одной из причин такой национальной стойкости, несомненно, было воспитание, даваемое российскими кадетскими корпусами в зарубежье. Напомним историю их возникновения.

В январе 1920 года, при эвакуации г. Одессы, половина кадет Одесского, Киевского и роты Полоцкого кадетских корпусов были вывезены морем в Солоники, откуда переехали в г. Панчево (Югославия), а позднее в г. Сараево (Югославия), где обосновались на долгое время как Русский кадетский корпус. Другая половина, отрезанная от порта занявшими город красными, ушла в составе частей генерала Бредова в Румынию, откуда некоторым из кадет удалось пробраться в Югославию и влиться в Русский корпус.

Затем оказался в зарубежье Донской императора Александра III кадетский корпус, вышедший походным порядком из Новочеркасска и эвакуированный англичанами из Новороссийска весной 1920 года в Египет (в окрестности г. Исмаилии), где он просуществовал до 1922 года, когда кадеты младших классов были переведены в Бююкдере (Константинополь), а старшие перевезены в Болгарию.

Не все кадеты и чины Донского корпуса могли быть вывезены в Египет: больные сыпным тифом были оставлены в Новороссийске и по выздоровлении перевезены в Крым, где стали основой Второго

Донского кадетского корпуса (считая Донской императора Александра III за Первый Донской).

Вскоре после принятия поста главнокомандующего Русской армией генерал П.Н. Врангель, желая сберечь «золотой фонд» России — ее учащуюся молодежь, отдал приказ об отчислении из состава армии всех добровольцев с незаконченным средним образованием. Подобные же приказы были отданы и войсковыми атаманами Дона, Кубани и Терека. Откомандированные из армии направлялись в созданный на основе Полтавского и Владикавказского кадетских корпусов Крымский кадетский корпус (Ореанда, Крым), в сформированный из кадет-сумцов интернат в г. Феодосии, а казачья молодежь направлялась во Второй Донской (в г. Евпатории). Кадеты-моряки включались в Морской кадетский корпус в г. Севастополе.

В ноябре 1920 года вместе с ушедшей армией и беженцами за границу выехали: из Ялты — Крымский корпус (с вошедшим в его состав Феодосийским интернатом), из Евпатории — Второй Донской и из Севастополя — Морской кадетский корпус и гардемариные классы.

Крымский и Донской корпуса были направлены в Югославию, сперва в Стрениште при Птуи — бывший лагерь для военнопленных, потом Донской в Билечу — на границе Герцеговины и Черногории, а Крымский в Белую Церковь — вблизи румынской границы. Морской же корпус ушел вместе с военным флотом в Бизерту (Тунис), откуда был переведен в Джебель-Кебир (Тунис), где просуществовал ряд лет.

В 1922 году после захвата красными Дальневосточного Приморья с Русского острова (Владивосток) ушли в зарубежье кадеты Омского и Хабаровского кадетских корпусов, пробывшие до 1924 года в Шанхае, а затем перевезенные в Югославию, где они были включены в Донской кадетский корпус (получивший по расформировании в 1922 году Донского корпуса в Исмаилии вензеля императора Александра III) и в Русский кадетский корпус в г. Сараево.

Таким образом, в 1922 году за рубежом находились: Донской императора Александра III (Исмаилия, Египет), Русский (Сараево, Югославия), Крымский (Белая Церковь, Югославия), Второй Донской (Билеча, Югославия), Морской (Джебель-Кебир, Тунис), Омский (Шанхай, Китай) и Хабаровский (там же) кадетские корпуса с общим числом в две тысячи кадет.

С годами по мере окончания курса учения кадетами корпуса сводились вместе, и к началу второй мировой войны оставался только один — Первый русский великого князя Константина Кон-

стантиновича (Белая Церковь, Югославия), просуществовавший до 1944 года.

Были ли зарубежные кадетские корпуса «бессмысленной игрой в солдатики» или «запоздалым увлечением военщиной»? Конечно нет! Программа учения кадетских корпусов давала всестороннее среднее образование, позволявшее бывшим кадетам с успехом проходить курсы высших учебных заведений, а полученное в корпусе воспитание закладывало в душах кадет крепкие моральные основы долга, чести и верности покинутой, но горячо любимой Родине.

Люди с подобными моральными устоями не могли стать «человеческой пылью», стремящейся только к личному благополучию. Это были кадры борцов за будущее своей страны и своего народа. Это обязывало ко многому, ибо, по словам поэта, «родиться русским слишком мало: им надо стать, им надо быть!»

Кадетские корпуса делали мальчиков и юношей глубоко русскими, и это оставалось на всю жизнь.

Если для старых корпусов было характерно массовое участие их воспитанников в борьбе за Россию в рядах белых армий, то для кадет зарубежных корпусов показательны боевая служба в Русском охранном корпусе, казачьих частях, включение в ряды Российской освободительной армии и несение охраны ее главнокомандующего генерала А.А. Власова, чей личный конвой был укомплектован из юношей-кадет.

Общность героического служения России, доблесть и самоотверженная непреклонность в достижении намеченной цели говорят об общности душевных качеств у дореволюционных и зарубежных кадет. Рожденные на чужбине, никогда не выдавшие России, кадеты-зарубежники в огненном смерче второй мировой войны дали примеры воинской доблести и верности Родине. Подобное проявление действенной любви к невиданной стране граничит с чудом. Это чудо сделали зарубежные кадетские корпуса.

В нынешнем году исполняется 40-летняя годовщина Первого русского великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса, ведущего свое старшинство от Русского кадетского корпуса (год основания — 1920).

Горячо приветствуя княже-константиновцев с их юбилеем, пожелаем им на их празднике вспомнить тех, благодаря кому было возможно чудо существования зарубежных корпусов.

«Наставникам, хранившим юность нашу, не помня зла, за благо воздадим!»

Михаил Залесский

ИЗ СТАТЬИ «АРМИЯ»

(Из однодневной газеты «Первопоходник», 1927 год)

В прошлом году я был на празднике Русского кадетского корпуса в Сараево. То, что я пережил во время парада кадет, не поддается описанию. Передо мною воскресла картина великой России, которая была и, конечно, будет.

Когда кадет-знаменщик, сын Быховца и первопоходника, после отчетливого и внушительного маневра всего строевого состава корпуса благоговейно подошел в начале молебна к аналою, я ощутил спазму, сжавшую мое горло, от нахлынувших на меня патриотических чувств; стоявший рядом со мною, видимо не подозревавший, что под моим штатским одеянием бьется военное сердце, шепнул мне, ища моего сочувствия:

— К чему вся эта муштровка и военщина?

Какое удовлетворение испытал я через 20 минут, когда представитель Его Величества короля Александра, начальник Босанской дивизии генерал Иованович обратился к замершим в строю, как один человек, тремстам кадетам с речью такого содержания:

— Его Величество король шлет вам, кадеты, свой милостивый привет и поздравляет вас с праздником. Страшный вихрь пронесся над матушкой Россией, но уцелела часть ее верных сынов, и вы очутились на нашей земле, искренно любящей великую Россию. Своим прилежанием, примерным поведением и успехами вы доказали, что вы достойные сыны вашей Родины, ныне захваченной ее врагами и тяжело страдающей. Недалек час ее воскресения. От имени короля провозглашаю «живио» в честь России!

Загремело «живио», «ура», раздалась звуки гимна. У многих присутствовавших показались на глазах слезы.

Я взял сконфуженного соседа за рукав и сказал ему:

— Вот для чего нужна вся эта солдатчина и муштра!

Сергей Палеолог

ПОСЛЕДНИЕ КОРНЕТЫ

Одноклассникам, павшим за Родину, посвящаю

(Перепечатано из газеты «Россия»)

Бывали в школе бури, свалки,
Бывало много-много бед,
Но славной конницы заветы
Всегда хранил младой корнет...

Никола Вешний — 9/22 мая — праздник Николаевского кавалерийского училища, «славной гвардейской школы». Вам, дорогие читатели, представляется трехэтажное здание, украшенное по фронтому длиннокрылым золотым «николаевским» орлом, в далеком сказочном городе Великого Петра. Вдоль улицы вытягивается «колонна по три» на холеных, вычищенных до лоска лошадях. Хор трубачей, за ним — эскадрон, за эскадроном — сотня. «Тронулся, двинулся, заколыхался алою лентою наш эскадрон...» Да, все это было. Красивое далекое прошлое. Лермонтов, братья Панаевы и целая плеяда заметных и незаметных героев, воспитанников «славной гвардейской школы».

Они со школьной скамьи попадали в училище, проходили суровую кавалерийскую и военно-образовательную школу, традиционным «цукон» выковывались, сливались душою и телом с дружной тесной семьей Российской императорской конницы.

Об этом красивом прошлом написано много воспоминаний, и они вам известны. Я хочу рассказать о том, что никогда не было описано и поэтому мало кому известно — о последних годах «славной гвардейской школы» и ее последних воспоминаниях.

Гражданская война, основанная главным образом на маневре, дала широкое применение конницы. Для пополнения командного состава молодежью в 1920 году в г. Симферополе был сформирован Учебный дивизион, состоявший из двух эскадронов — офицерского, игравшего роль Офицерской кавалерийской школы, и юнкерского, в который строевые части командировали находившихся в их рядах юнкеров, вольноопределяющихся и кадет, достойных производства в офицеры. Эвакуация Крыма прекратила занятия в Учебном дивизионе. В Галлиполи приказом генерала Врангеля от 19.7.1921 года юнкерский эскадрон в память Николаевского кавалерийского училища, существовавшего с 1823 года, был переименован в НКУ с присвоением соответствующей формы и снова пополнен молодежью из полков. Из Галлиполи в 1921 году училище переехало в Югославию, в г. Белую Церковь. Младший курс был пополнен кадетами, окончившими Крымский, Сараевский и

Донской кадетские корпуса, и небольшим количеством молодежи из частей, так же, как и последовавший за ним через год третий выпуск.

Старший и младший классы были разбиты на два эскадрона по четыре взвода каждый. Офицерский состав был из разных полков и училищ. Начальник училища, чугуевский улан генерал Говоров; инспектор классов Генерального штаба генерал Линицкий, новороссийский драгун; командир дивизиона, одесский улан полковник Синегуб; командир 1-го эскадрона, казанский драгун полковник князь Шаховской; командир 1-го взвода 2-го эскадрона, нежинский гусар полковник Левандовский и 3—4 преподавателя были воспитанниками Николаевского кавалерийского училища; командир 2-го эскадрона и остальные сменные офицеры и преподаватели — Елисаветградского и Тверского кавалерийских училищ. За время своего существования за рубежом НКУ успело сделать три выпуска корнетов и четвертый — эстандарт-юнкеров, всего 357 офицеров. В четвертый выпуск попали юнкера, не имевшие законченного среднего образования. Они были выделены в особый класс, где помимо обычного военно-училищного курса проходились общеобразовательные предметы. По сдаче специальных экзаменов эти юнкера получали аттестат зрелости и выпускались эстандарт-юнкерами в полковые ячйки, находившиеся на пограничной службе Югославии (где наши офицеры занимали унтер-офицерские должности) или на постройках шоссеиных дорог. Через несколько месяцев эстандарт-юнкера были произведены в корнеты.

Первый и второй выпуски почти поголовно, как и большая часть третьего, состояли из юношей, принимавших участие в гражданской войне. Среди них были 3—4 первоходника, а подавляющее число были галлиполидцами. Немало было кавалеров Георгиевских креста и медали, до 1-й степени включительно. Было 4—5 юнкеров, не успевших окончить последние выпуски Николаевского и Елисаветградского училищ. Возраст юнкеров колебался от 18 до 26 лет, за исключением двух 16-летних и одного 34-летнего с пышными рыжими усами Павла Мартыновича Риса (из русских немцев), которого за почтенный возраст и усы даже многие офицеры называли по имени-отчеству. Все это была молодежь, вынесшая с полей гражданской войны на чужбину непримиримую ненависть к коммунизму и горячую любовь к покинутой Родине и славной российской коннице. Эти юноши знали, что по окончании школы их ожидает не служба в полку, красивая форма и жизнь кавалерийского офицера, а тяжелая служба пограничника или тачка и лопата на постройках дорог. Но, веря в глубине души в грядущее освобождение и возрождение России, они хотели вернуться туда настоящими, законченными офицерами, чтобы послужить ей в рядах родной конницы.

Получив наименование юнкеров «славной гвардейской школы» и ее форму, эти юноши хотели быть николаевцами и по духу. От своих товарищей, юнкеров, бывших в школе в Петрограде, и от офицеров, окончивших училище, они узнавали мельчайшие подробности традиций и быта старой школы и немедленно их усваивали.

Еще в Галлиполи было восстановлено деление на «корнетов» и «зверей», «без должного английского пробора на кончике своего длинного пушистого хвоста» являвшихся пред очи «благородного корнета». Помимо изучения названий полков славной российской конницы, подробнейших деталей их формы, отличий, стоянок, девизов изучалась со рвением история школы. Особым почетом пользовались имена героев — воспитанников школы: актырцев братьев Панаевых, полковника Левенца — командира эскадрона училища, доблестно погибшего на своем посту в Петрограде во время революции, и других. Зато весьма недружелюбно произносились имена «действительного статского советника» генерала Марченко и генерала Плеве, которые одновременно занимали должность начальника училища в Петербурге и преследовали «цук» и традиции, стремясь их искоренить. Традиционный «цук», школьный марш, старые юнкерские песни, «приказ по курилке», «корнетские обходы», «похороны капонира» — все это крепко вошло в жизнь юнкеров, а также «лермонтовский» и «малиновый» взводы, «генерал выпуска», «полковники» и «майоры», «земные боги» — вахмистры эскадронов, «пассажирское» и «красное» положение для отказавшихся жить по традициям или исключенных из среды постановлением «корнетского комитета», который строго разбирал вопросы чести. Два раза столкновения между «благородными корнетами» по постановлению «корнетского комитета» закончились дуэлью на пашках. «Корнетский комитет» следил также за корректностью «цука», преследуя корнетов, позволивших себе во время «цука» оскорбить «молодого». За этим следили и «дядюшки», так как каждый «молодой» имел «дядьку» — «благородного корнета», ответственного за его воспитание и поведение. «Родственные отношения» между «дядькой» и «племянником» проявлялись также в том, что «племянник» заботился, чтобы «дядька» не остался голодным, если тот волею юнкерских судеб попадал в карцер строгим арестом, то есть получал горячую пищу через двое суток на третьи. Если же «племянника» постигала такая судьба, «дядюшка» заботился, чтобы кто-либо из «молодых» передал «племяннику» пищу, а в исключительных случаях действовал самолично, не давая посторонним вмешиваться в их семейные дела. Юнкера каждого выпуска были между собой на «ты». После выпуска, надев корнетские погоны, старший выпуск переходил на «ты» с младшим, сменившим его на положении «корнетов школы».

Лошадей училище не имело; получали только несколько коней для вольтижировки от стоявшего в Белой Церкви дивизиона югославского 4-го Кавалерийского полка, впоследствии получившего шефство великого князя Константина Константиновича. Зато строевые занятия в поле «пешим по-конному» велись ежедневно, невзирая на погоду. С течением времени взводы, эскадроны и, наконец, весь дивизион постепенно сколачивались в одно стройное целое. Чистота шашечных и ружейных приемов, как и отчетливость и стройность построений и перестроений, доходила до виртуозности, приводившей в восторг многих старых генералов и полковников, со стороны наблюдавших за строевыми занятиями или присутствовавших на парадах.

На том же поле и прилегающих к нему стрельбищных валах и окопах, давно заброшенных и покрытых кустами и зарослями бурьяна и крапивы, велись тактические занятия и топографические «съемки примерные, съемки глазомерные», проходившие, правда, без участия знаменитых «шакалов», но и не без интересных приключений.

Для полноты картины нужно описать и внешний вид юнкеров. Ни высоких киверов, ни мундиров с алым лацканом, ни шассер с генеральским лампасом конечно не было. Был лишь один комплект парадной формы малого размера, поднесенный юнкерам майором Симичем, югославским кавалерийским офицером, воспитанником школы. В эту форму облачался один из маленьких юнкеров в дни училищного праздника, балов и тому подобных торжеств. Наша парадная форма состояла из алой бескозырки с двумя черными («воронными» на юнкерском языке) кантами, алых погон с «воронным» кантом и золотым юнкерским басоном, гимнастерки, зимою защитного, а летом белого цвета, синих бриджей с алым кантом, сапог со шпорами, «владимирского» черно-алого кушака и желтого тишкетного шнура через правое плечо. В строю в особо парадных случаях поверх «владимирского» кушака надевался белый пояс. Портупеи на пашках и погонные ремни на винтовках были тоже белые. В обычной, непарадной выходной, форме бескозырка заменялась защитной мягкой английской фуражкой, а «владимирский» кушак — белым поясом. Домашний наряд юнкеров для повседневных занятий в поле и классах состоял из английского защитного френча с юнкерскими погонами, таких же бриджей и солдатских ботинок — «танков» с брезентовыми крагами. Из казенных принадлежностей парадной формы имелись только алые бескозырки, «владимирские» кушаки и тишкетные шнуры, как и белые — гвардейские — пояса, портупеи и погонные ремни. Бескозырки и тишкетные шнуры были неважного качества, почему все юнкера, кто имел хоть малейшую возможность, шили их на собственный счет, так же, как и гимнастерки, синие бриджи и сапоги.

Жалованья юнкера получали 30 динаров в месяц, которых не хватало даже на табак. Очень немногие имели родственников, которые могли бы снабдить их деньгами, так как в эти первые годы почти вся русская эмиграция все еще не имела службы и жила на крохи, получаемые от югославского правительства. Поэтому приходилось поражаться, как юнкера умудрялись шить себе форму, довольно дорого стоившую. Тем не менее, когда дивизион выстраивался для парада, вся первая шеренга и три четверти второй были в синих бриджах и сапогах и лишь одиночные юнкера — в казенном обмундировании. Этому, правда, сильно помогала система «займов», широко у нас применявшаяся. Юнкера, по тем или иным причинам остававшиеся в казарме — больные, сидевшие в карцере или без отпуска или же находившиеся в наряде, охотно давали свою парадную форму уходившим в отпуск в город, в церковь или на парад.

Средства на содержание училища, как и на все русские учебные заведения, отпускались Державной комиссией — государственным учреждением, составленным из сербов и русских. Так как это были, в некоторой части, господа довольно левого уклона, то, естественно, что они не могли питать симпатий к такому гнезду монархизма, как Николаевское кавалерийское училище, где все стены были украшены портретами особ императорской фамилии, а также фотографиями и рисунками из жизни и быта Российской императорской конницы, что явно отражало настроения и дух юнкеров и их воспитателей. Поэтому Державная комиссия старалась урезать и без того скудные средства, отпускаемые на училище, елико возможно.

Довольствие оставляло желать много лучшего, а в особенности в 1922 и начале 1923 года. Хозяйственная часть, стараясь свести концы с концами, решила летом кормить нас сезонным блюдом — зеленым борщом из крапивы, заросли которой были в изобилии разбросаны в поле недалеко от училища. Для рубки крапивы назначался наряд юнкеров с пашками. Так как рубить старую толстую крапиву было легче, чем молодую, то в наш борщ попадали почти древесные стволы. Уж на что был всеядным и вечно голодным мой «дядюшка» «благородный корнет» Зенченко, но и тот, обнаружив в своем котелке особенно толстый ствол крапивы, в порыве гнева швырнул котелок со всем содержимым в окно со второго этажа.

Не лучше дело обстояло и с учебной частью. Учебников не было, и преподавателям пришлось самим составлять конспекты, которые размножались на шапирографе и переплетались в твердые переплеты. Так как бумаги отпускалось тоже недостаточно, то перед сдачей зачетов, «репетициями», выдавался один конспект на 3—4 человека.

Весной 1923 года училище переселилось на противоположный край города в большее помещение какого-то учебного заведения. Здание и все помещения были много лучше и уютнее казарменных. От улицы отделяла усадьбу высокая кирпичная стена с решетчатой калиткой. К дому вела широкая, выложенная кирпичом дорожка, проходившая метров 75 по тенистому, густо заросшему кустами и большими деревьями саду. С задней стороны дома был средней величины двор с несколькими большими деревьями и разными хозяйственными постройками, а отсюда калитка в стене вела в соседний большой двор, отделенный от улицы длинной кирпичной конюшней, переделанной для нас в четыре большие комнаты для столовой и классных занятий. В этом дворе были установлены турник, параллельные брусья и прочие гимнастические принадлежности. Здесь юнкера занимались гимнастикой, фехтованием, рубкой лозы и строевым обучением в пределах взвода. Для эскадронных и дивизионных занятий в нашем распоряжении была довольно большая площадь перед входом в сад и прежний наш пустырь перед казармами.

9/22 мая школа праздновала свой 100-летний со дня основания юбилей, к которому готовились, конечно, особенно старательно. Командир дивизиона ежедневно гонял нас в поле до седьмого пота развернутым строем эскадрона и во взводных колоннах с бесконечными захождениями то правым, то левым плечом, ответами на приветствия с места и на ходу и пашечными приемами. После занятий вместо заслуженного отдыха наши художники бросались к своим кистям и краскам рисовать над главным входом значок и девиз школы, транспаранты с вензелями императоров Николая I и Николая II и т.д.

Во втором дворе, где дивизион должен был демонстрировать гимнастику на снарядах, остальные юнкера делали возвышения из земли, вроде подиума, для главнокомандующего и гостей, строили там же арку из деревянных реек и укрепляли на ней зелень, делали гирлянды и т.п. По бокам подиума лепили из глины и покрывали позолотой училищный значок и даты: 1823—1923. Даже училищный карцер, на юнкерском языке называвшийся «Замком Бугенис» (фамилия командира дивизиона, читаемая наоборот), был украшен художественным рисунком средневекового замка, сделанным углем на белой стене. Кроме того, стены были покрыты еще раньше изображениями женских головок и ножек, роскошно сервированных столов, конских голов, бутылок шампанского и прочих недоступных предметов вожделения узников «Замка Бугенис», а также философскими изречениями вроде: «Оставь всякую надежду входящий сюда» и тому подобными.

Наконец приблизился долгожданный день праздника. Уже накануне начали прибывать гости — старые питомцы школы, которых собралось более 50 человек. Около 12 часов ночи сводный

эскадрон, в качестве почетного караула, встретил на вокзале генерала Врангеля, который немедленно отправился в училище. Помещения и сад были декорированы и освещены разноцветными фонариками. У входа стояли два юнкера в исторических формах, а у входа в помещение главнокомандующего — тщательно подобранные парные часовые. 9/22 мая, в 9 часов утра, в училищной церкви была отслужена Божественная литургия, на которой присутствовали генерал Врангель в сопровождении адъютанта, лейб-казака есаула Ляхова и личного секретаря г. Котляревского, а также большое количество генералов и штаб-офицеров, из которых могу вспомнить Донского атамана генерала Богаевского; генерала Баратова; начальника кавалерийской дивизии, в которую была еще в Галлиполи сведена вся конница, генерала Барбовича и начальника штаба дивизии Генерального штаба генерала Крейтнера; бывшего в числе наших преподавателей «бога войны» генерала Карцева; военного агента Генерального штаба полковника Базаревича; Генерального штаба полковника Подчерткова и многих других. Кроме того, присутствовали в большом количестве прибывшие старые николаевцы (был даже один, приехавший на юбилей из США) во главе с генерал-лейтенантом Здановичем, выпуска 1868 года, и югославские офицеры, воспитанники школы, возглавляемые полковником Христичем, выпуска 1876 года, а также делегации югославской военной авиации, прилетевшей на четырех аэропланах, и местного югославского гарнизона. Затем выделялись старшие классы Донского Мариинского и Харьковского институтов, Крымского кадетского корпуса, представители воинских и общественных организаций, местной русской колонии и т.д.

В 11 часов дивизион юнкеров был выстроен на учебном плацу против наших бывших казарм. Левее стали два взвода старых николаевцев под командой генерала Здановича и полковника Христича. Гости — русские и югославские офицеры, представители местного гарнизона, городской администрации, двух институтов, воинских и общественных организаций и толпа местных жителей стояли на границах площади, намеченной для парада. Цепь кадет Крымского корпуса замыкала четырехугольник. Генерал Врангель поздоровался с господами офицерами и юнкерами и поздравил с праздником. Затем обошел строй кадет и институток, поздоровался с ними и поцеловал ручки начальниц институтов Н.В. Духониной и М.А. Неклюдовой. После этого был отслужен торжественный молебен с нашим прекрасным хором певчих, по окончании которого раздалась команда:

— К церемониальному маршу! Повзводно. На двухвзводную дистанцию. Первый эскадрон...

Под музыку хора трубачей вытянулась взводная колонна. За маститым генералом Здановичем в штатском костюме и полковником Христичем шли два взвода старых николаевцев. Разноцвет-

ные формы славных полков российской конницы вперемешку с тонкими чересками и скромными штатскими костюмами составляли одно тело, один дух — выравненные, как по линейке, четыре перенги бывших питомцев «славной школы». За ними, с начальником дивизии и начальником училища на правом фланге первого взвода первого эскадрона, промаршировали, блестя клинками шашек, взятых «в плечо», щеголяя выправкой и равнением, звеня шпорами на сверкающих от глянца сапогах, все восемь взводов юнкеров. Благодарность обожаемого юнкерами главнокомандующего каждому взводу в отдельности, дружные, радостные ответы юнкеров, улыбающиеся лица генералитета, старых николаевцев и публики создавали впечатление, да так оно было и в действительности, что это праздник не только наш, николаевцев всех возрастов, а общий, всех присутствующих.

После церемониального марша генерал Врангель еще раз поздравил училище со столетним юбилеем, указав на заслуги училища перед царем и Родиной, и благословил юнкеров иконой, которой в 1920 году население Северной Таврии в г. Мелитополе благословило его на борьбу с большевиками, и провозгласил «ура» славному Николаевскому кавалерийскому училищу.

Начальник училища прочитал перед строем:

«Распоряжение генерала Врангеля от 9/22 сего мая за № 50. Сремски Карловцы. Сегодня Николаевское кавалерийское училище празднует свой столетний юбилей. Сто лет подряд питомцы «славной школы» пополняли ряды бессмертной русской конницы. Сколько славных дел, сколько ярких страниц русской истории связано с их именами... Великая Россия наша разорена и обесечена. Русская армия в изгнании. Но жив русский дух в ее рядах. Свято донесем его до родной земли. Восстанет Русь, воскреснет великая армия, непобедимая русская конница. Ее ряды, как и встарь, пополнятся питомцами «славной школы», потомками тех, кто кровью вписал имя свое в историю русской земли.

Славному Николаевскому кавалерийскому училищу «ура»!

Генерал Врангель.

Генерал-лейтенант Куонский».

В приказе по училищу № 144, от 23 мая, начальник училища, объявляя это распоряжение генерала Врангеля, добавил:

«Счастлив объявить настоящее распоряжение нашего вождя и уверен, что все чины училища безусловно оправдают доверие и надежды нашего главнокомандующего и так же высоко и непоколебимо будут стоять за честь и доброе имя своей школы, как это делали наши предки и предшественники на протяжении целого столетия».

Прочитав приказ, начальник училища провозгласил «ура» в честь главнокомандующего. Пропустив еще раз мимо себя юнкеров и поблагодарив «за блестящий парад», генерал Врангель отправился в училище, где снялся в группе со старыми николаевцами, гостями и всем составом школы. В час дня дивизион был построен во втором дворе училища. Генерал Врангель провозгласил «ура» во славу и возрождение России, после чего началось поднесение подарков и адресов депутациями, прибывшими на юбилей. Генерал-лейтенант Барбович и генерал-майор Крейтер поднесли училищу от кавалерийской дивизии серебряную братину художественной работы; генерал-лейтенант Зданович, полковник князь Андронников и майор Симич от имени Объединения бывших юнкеров НКУ благословили школу иконой Св. Георгия Победоносца; директор Крымского кадетского корпуса генерал-лейтенант Римский-Корсаков прочел адрес. Затем прочли приветствия: от Белоцерковского подотдела Союза русских офицеров генерал-майор Пожарский, от русской колонии в Белой Церкви полковник Скучевский, от Донского Мариинского института инспектор классов г. Сторошенко, от Общества бывших воспитанников императорского Александровского лицея В.Д. Евреинов и от сербских офицеров, бывших воспитанников школы, с исключительным подъемом отставной майор Р. Симич.

После этого состоялся общий обед с гостями в столовой училища. Генерал Врангель произнес первые тосты за здоровье Его Величества короля Александра и за славу и процветание училища. Затем следовал целый ряд тостов, полных редкой сердечности и теплоты по адресу «славной гвардейской школы». Особенно сильное впечатление произвел тост майора Симича, в ярких выражениях отметившего не только свою связь с родной школой, но и вечную братскую любовь между русскими и сербами и значение России и государя императора Николая Александровича в деле спасения Сербии в мировой войне. Во время обеда было прочитано множество телеграмм и приветствий, полученных училищем со всех концов света ко дню юбилея.

По окончании официальной части обеда, когда господа генералы удалились на заслуженный покой, а также во время последовавшего вечером бала в укромных уголках, недоступных постороннему взгляду, шло объединение старых николаевцев с молодыми. Раздавался звон бокалов, неслась лихая кавалерийская песня, слышались вопросы: «Молодой», какие вальтрапы в пятом эскадроне синих кирасир?, «Что такое мартингал?», «Стоянка 18-го гусарского?» и тому подобные.

Бал с концертным отделением состоялся в «Бурге», лучшем помещении города. Инспектор классов генерал-майор Линицкий сделал короткий доклад о столетней истории училища, после чего начался концерт. Хор трубачей и певчих, декламация, пение и

живая картина составили прекрасную программу, заслужившую полное одобрение публики, не скупившейся на аплодисменты. Затем танцы, гремит хор трубачей... Мазурка, вальс, падекатр, падеспань, институтские пелеринки, декольтированные балльные платья, звон шпор, томные взгляды...

На следующее утро в 9 часов во втором дворе училища генералу Врангелю и гостям были продемонстрированы всем дивизионом гимнастические упражнения — вольные движения и на снарядах, затем выступления гимнастической группы на снарядах и фехтовальщиков. Во время гимнастики на снарядах генерал Врангель обратил внимание на юнкера Стацевича Александра, особенно легко и изящно работавшего на снарядах.

Главнокомандующему было доложено, что юнкер Стацевич был представлен к производству в портупей-юнкера, но полагающееся по штату количество представляемых уже заполнено.

— Произвести сверх штата, — был ответ генерала Врангеля.

Официальное описание столетнего юбилея НКУ, выпущенное штабом главнокомандующего, заканчивается описанием гимнастического праздника следующими словами:

«Под умелым руководством опытного инструктора (одесский улан ротмистр Педь) юнкера показали прямо чудеса ловкости и смелости. Сокольская гимнастика под музыку хора трубачей и упражнения на снарядах были проделаны лихо и отчетливо. Во всем видна солидная подготовка и тренировка. Блестящий праздник векового юбилея «славной школы» останется надолго в памяти всех на нем присутствовавших. Тяжелые испытания на чужбине не сломили славного духа школы, и молодое поколение николаевцев показало на празднике, что оно достойно своих старых однокашников. Училище высоко держит свое знамя и свято хранит свои вековые традиции».

В час дня генерал Врангель под звуки хора трубачей и кадетского оркестра отбыл из Белой Церкви. Нужно отметить, что он, сдавший в свое время офицерский экзамен экстерном при НКУ, очень любил нашу школу — свое детище, а юнкера его просто обожали. В каждый приезд его вносили на руках в стены школы, причем неизменно исчезали шпоры с его сапог, и генерал Врангель потом просил дать их ему «взаймы» до отъезда, обещая вернуть захватчикам, и всегда честно держал свое слово. Уезжая, генерал Врангель приказал дать юнкерам три дня отдыха и отпуск в город до поздних часов, что и было, конечно, широко использовано.

После праздника начались будни, а для второго выпуска беготня с планшетами для топографических съемок по нашим «Кавелах-тским высотам», так как к зданию училища действительно прилегали высоты с полями, виноградниками и садами, на которых юнкера производили заданные им съемки. Кроме того, началась пора последних перед выпуском экзаменов, предварительной «по-

любовой» разборки вакансий для выхода в тот или иной полк, шитья полковой офицерской формы и т.д.

Затем официальная, окончательная разборка вакансий, традиционный «корнетский обход», «похороны капонира» с восковой фигурой инспектора классов в гробу и ее сожжение, производство «сугубства» в «корнеты школы». Наконец, день выпуска, парад, чтение приказа о производстве в настоящие корнеты, возвращение с парада в юнкерском строю, но с приказом о производстве под левым погоном и последняя команда:

— Господа офицеры. Разойтись!

После этого — спешное переодевание в полковую офицерскую форму. Торжественный обед в стенах школы. А вечером выпускной бал там же, для чего все помещения взводов были превращены в сады, подводные гроты, полутемные гостиные и прочие уютные уголки. Для этого была произведена среди знакомых местных жителей юнкерами «реквизиция» декоративной зелени. Здесь особенно отличился Пуля Авчинников, притащивший несколько подвод таких растений в кадках. Снова хор трубачей, традиционная «корнетская мазурка», которую обязаны танцевать все новоиспеченные корнеты без исключения, танцует или нет он мазурку, вальс, институтские пелеринки, звон шпор, таинственный шепот в укромных уголках, томные взгляды, звон бокалов и школьная или полковая лихая песня...

А на следующий день торжественный молебен во дворе училища. Последний строй «в стенах родимой нашей школы», которая вошла в нашу плоть и кровь на всю жизнь, но уже не в юнкерской, а в офицерской форме драгунских, уланских, гусарских и казачьих полков славной русской конницы. А потом прощание со школой, со вчерашними еще начальниками и преподавателями, с друзьями-однокашниками и разъезд.

Не такой разъезд, как в доброе старое время, когда юноше открывалась дорога в жизнь — 28-дневный отпуск к родным, а потом в новую семью, полковую, где все было ясно, понятно и определено вековым укладом. Мы же разъезжались не в полки, а в то, что осталось от полков, — то ли на пограничной страже, то ли на постройке шоссе-ных дорог. Светлое, ясное и определенное оставалось в стенах школы, а ожидало весьма неопределенное будущее.

Первый выпуск из школы состоялся 5 ноября 1922 года, второй — 12 июля 1923 года, третий — 2 сентября 1923 года, а эстандарт-юнкера были произведены в корнеты 7 марта 1924 года. 357 человек из юнкеров, вольноопределяющихся и кадет превратились в офицеров славной русской конницы, но не на Родине, а, к сожалению, в изгнании.

Много лет прошло с тех пор. Эмигрантская доля раскидала последних питомцев «славной гвардейской школы» по всему земному шару, но духовная связь, зародившаяся в стенах школы,

сохранилась до наших дней. Конечно, был и отсев — несколько человек, не больше 5—6, «ушли в быт» и потеряли связь с однокашниками. Но на их место стали бывшие воспитанники школы, ушедшие из нее по тем или иным причинам до производства, а брат одного из наших однокашников, также уехавшего в Польшу, не дождавшись производства, всегда находился среди нас, никогда не быв николаевцем. Не помню точно, но мне кажется, на 110-летие школы, в 1933 году, состоялся в Белграде съезд бывших юнкеров НКУ, «белоцерковцев». Собралось больше 50 человек. Уже тогда нам было известно, что кроме тех, кто проживал вне досягаемости Белграда, не смогут приехать корнеты Платонов, М. Трофимов, Ю. Поляков и Занфилов, погибшие в СССР в борьбе с советской властью, а братья С. еще до сих пор работают там. Во время второй мировой войны корнеты Тимченко, Карпинский и Алексеев погибли в рядах Русского корпуса, Н. Иванов и Слободчуков в русско-немецких частях, мой «племянш» Станиславский — одним из последних защитников линии Мажино; Липина убили маки; Шпиллер погиб на Восточном фронте; Брешко-Брешковского и Шугаевского расстреляли немцы; Чепурнов при подходе советских войск, будучи в немецкой форме, несколько дней скрывался от них в болоте, сидя по горло в воде, простудился и умер; корнеты П. и Ф. (фамилии не называю по понятным причинам) увезены в СССР; 5 или 6 человек пропали без вести. Смело можно сказать, что 95 процентов последних питомцев «славной гвардейской школы» во время последней войны честно исполнили свой долг русского офицера, как им подсказывали совесть и обстановка.

Много наших однокашников отошло в лучший мир в более мирной обстановке, как до, так и по окончании последней войны. В прошедшем апреле три панихиды по нашим однокашникам служились в течение одной недели. Все они были верными солдатами своей Родины и служили ей верой и правдой до последнего издыхания.

Длинен список ушедших друзей, но немало еще осталось и живых, которые после каждого ушедшего теснее смыкают свои ряды в день Николы Вешнего, помянув «тех, кто не с нами», поют старую школьную песню:

За друга друг стоял горою,
В беде друг друга выручал,
И были вечными друзьями
Солдат, корнет и генерал.

КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

В субботу 3 июня Объединение зарубежных кадет торжественно отпраздновало корпусной праздник Крымского кадетского корпу-

са, свв. царей Константина и Елены. Сначала в Синодальном храме был отслужен молебен с поминовением умерших кадет и офицеров и с торжественным выносом знамени Сумского кадетского корпуса, прежде всегда хранившегося в Крымском корпусе и являвшегося в годы его существования и его знаменем. Вынос был совершен старым сумцом П. Гениным.

После молебна в русском клубе был устроен парадный завтрак, на котором в качестве особо почетного гостя присутствовала княжна Вера Константиновна. За завтраком были прочитаны многочисленные приветствия от членов Объединения и его друзей, не могших лично присутствовать на торжестве. В нью-йоркском отделе Объединения зарубежных кадет числится 110 членов, а на празднике присутствовали 52 человека.

Крымский кадетский корпус заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько подробнее, особенно для тех, кто не знает его истории.

Основанный в 1920 году приказом генерала Врангеля в Крыму, Крымский корпус принял в себя ту массу молодежи, которая самоотверженно боролась за Россию в рядах Добровольческой армии. Это были кадеты, гимназисты, реалисты, но главным образом кадеты Петровского Полтавского и Владикавказского корпусов.

Среди кадет Крымского корпуса было 46 Георгиевских кавалеров — явление, до того времени неслыханное в кадетских корпусах! Из этих Георгиевских кавалеров один был кавалером трех степеней и трое — двух степеней!

В торжественные дни, когда на поминовение погибших в церковь шли бывшие участники белой борьбы, почти 75 процентов кадет оказывалось в строю.

Более тысячи юношей прошли через Крымский кадетский корпус, и каждый из них унес в свое сердце вложенный в него корпусом кусочек России.

Полный курс окончили всего 604 кадета. Из этого числа более 85 человек окончили Белградский, Загребский, Люблянский и другие университеты. Три кадета окончили Королевскую академию художеств в Белграде. 64 окончили Югославское военное училище и стали кадровыми офицерами. 56 окончили курсы при артиллерийском заводе в Крагуевце и стали квалифицированными оружейными мастерами. 43 окончили геодезические курсы, став землемерами, и т.д.

Во время последней войны кадеты заполнили собой ряды Русского корпуса, основанного в Белграде генералом Скородумовым. Там они показали чудеса храбрости и самоотверженности, так что некоторые из них, как, например, бывший крымский кадет Редькин за свой геройский подвиг, оплаченный смертью, упоминались в сводке Верховного командования (ОКВ).

Многие кадеты-крымцы боролись и на Восточном фронте и на Западном валу и своей кровью полили чужую землю. Вечная им память!
Однокашники — привет!

Кадет

ЮБИЛЕЙ

(1851—1920—1926)

Из «Кадетской памятки» Первого русского великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса

23 ноября (6 декабря), в день Св. Благоверного и Великого Князя Александра Невского, Русский кадетский корпус справил свой храмовой праздник и 75-летие по старшинству, воспринятому от Владимирского Киевского кадетского корпуса, вошедшего в Русский кадетский корпус вместе с Одесским в марте 1920 года после эвакуации.

Празднование началось накануне утром радостным прибытием в родной корпус 18 его бывших кадет, ныне питомцев Белградской военной академии, и 7 студентов Белградского университета.

В два часа дня состоялся юбилейный акт, на котором было прочитано три доклада: инспектором классов полковником В.А. Розановым — «Кадетские корпуса в России», председателем Общества старых киевлян генерал-майором А.А. Толмачевым — «Владимирский Киевский кадетский корпус» и директором корпуса генерал-лейтенантом Б.В. Адамовичем — «Русский кадетский корпус». Перед началом акта и в перерывах между докладами были исполнены духовым оркестром кадет — «Встреча» Виленского военного училища (на слова стихотворения К.Р. «Полк») и «Встреча» Русского кадетского корпуса подполковника Н.И. Кадьяна — автором, на рояле. По окончании доклада директором корпуса были оглашены полученные корпусом загородные поздравления, а затем читались и подносились адреса: от Сараевской русской колонии, Сараевских отделов — Общества русских офицеров, Общества инвалидов, галлиполийцев, Красного Креста, Попечительного общества старых киевлян, бывших кадет Первого корпуса, — и приветствия от питомцев Военной академии и Объединения бывших кадет Русского корпуса. Русской колонией был поднесен портрет основателя Киевского корпуса императора Николая I, Первым корпусом — вид «Меншиковского» фасада его здания 1710 года, Объединением кадет — барельеф императора Николая II и проч. Всего корпусом получено было около 150 поздравлений; среди них — от великих князей Николая Николаевича и Андрея Владимировича, великой княгини Елизаветы Мав-

рикиевны, главнокомандующего генерала барона Врангеля, митрополита Антония, первого адъютанта Его Величества короля генерала С. Хаджича, Военной и Морской академий, высших представителей зарубежной России и местного общества, обществ, заведений, учреждений и корпораций русской эмиграции, заведений и представителей военно-учебного мира, родителей и бывших кадет.

В 7 часов вечера в церкви корпуса была отслужена всенощная и по окончании ее панихида с длительным полным поминанием по синодикам пяти кадетских корпусов: Русского, Киевского, Одесского, Сибирского и Хабаровского и Киевского военного училища. Канунный день закончился «зарей с церемонией», во время которой состоялось производство в вице-фельдфебели кадета Олега Новосильцова и четырех кадет в вице-унтер-офицеры; на «зарю» были исполнены оркестровая заря, гимн «Коль славен», «Песня Дворянского полка» («Братья, все в одно моление души русские сольем») и пропеты обычные молитвы.

Самый день праздника начался в 8 часов утра служением литургии в церкви корпуса. В 11 же часов утра в большом манеже, находящемся при здании корпуса, состоялся церковный парад с выносом знамени Полоцкого кадетского корпуса; сверх того, на груди у знаменщика вице-фельдфебеля Олега Новосильцова находился медальон с двумя сохраненными кадетами частицами полотнища знамени Киевского корпуса. Правее строя кадет и оркестра выстроился под углом, лицом ко входу, взвод питомцев Военной академии. Гости, среди которых были все представители местного общества во главе с командующим армией, великим жупаном и комиссаром города, председатели Русской колонии и отдела Общества офицеров и прибывшие из Белграда — правительственный уполномоченный С.Н. Палеолог, генерал Н.Н. Баратов и полковник В.И. Базаревич, — заняли места напротив строя кадет у аналога, где собралось духовенство для соборного служения молебна. Парад принимал прибывший на праздник по высочайшему повелению «Кралеvский изасланик», начальник Босанской дивизии генерал И. Иованович, встреченный гимном королевства и восторженным «ура». По окончании молебна после окропления и отнoса знамени генерал И. Иованович передал корпусу поздравление короля Александра и произнес прекрасную речь, в которой помянул прежние заслуги перед Россией Киевского кадетского корпуса, определил значение нынешней работы Русского корпуса и выразил надежды и пожелания наличному составу как носителю залога будущей связи России и королевства. Директор корпуса отвечал здравицами Его Величеству и королевской семье, правительству и троименному народу и возгласил отдельные здравицы России, старым киевлянам, «Кралеvскому изасланику» и всем гостям. Парад закончился прохождением корпуса церемониальным маршем под звуки фанфарного марша. После парада все гости были

приглашены в корпус на чай и пирог в большом зале, едва вместившем собравшихся на праздник. В 4 часа дня был «фамильный» обед исключительно для состава корпуса и бывших кадет, прибывших из Белграда и проживающих в Сараево. Праздник закончился семейным танцевальным вечером с двумя концертными отделениями, составленными из лучших литературных и музыкальных произведений русских поэтов и композиторов, исполненных кадетскими духовым и великорусским оркестрами и хором при участии русских артистов местного театра — Л.В. Мансвевой, А.И. Сибирякова, В.В. Радомского и русской певицы Н.Д. Местергази.

Весь праздник, имевший скромный, но красивый характер, был сплошным отголоском дорогого прошлого, приветом Родине и прославлением старой, полной заслуг перед Россией школы кадетских корпусов, создавшей славный преданиями Владимирский Киевский корпус и вдохнувшей дух и силы в зарубежную деятельность Русского кадетского корпуса.

О НАС, О КАДЕТАХ...

К вам обращен мой суровый стих,
К вам, господа обыватели!
Мы тоже устали, но гнев не зatih,
На быт мы его не истратили...

Молодость наша сгорела дотла,
И мы ее, в общем, не видели,
Но вспомнят когда-нибудь наши дела
И нас, которых обидели...

Мы воевали с тринадцати лет.
Об этом рассказывать мало ли?
И в будущем с гордостью скажут: кадет —
Это из тех, что не падали!

Как расскажешь о той поре,
Когда вдалеке от города
Мы просыпались в лесах на заре
И было сердце молодо?!

С душою дело обстояло не так —
Много горьких троп ею пройдены,
Она сгорела под вой атак
За счастье любимой Родины...

Немало было убито там
Из чувств мальчугана-воина:
Мы в бой ходили по первым цветам,
И кровью рожь была вспоена...

И все же затерянным малым щенком
В углу окопной ямы
Мы ночью твердили, грустя тайком,
Имя далекой мамы...

Но мы сохранили из детских лет
Мечту, эту спутницу сказки,
Одетую в тихий задумчивый свет
Нежности, грусти и ласки...

Нас не манили кресты и чины,
Просто, в тисках неизбежности,
Мы знали, что с детства обречены
Жить без тепла и нежности...

И мы не жалеем о том, что прошло,
Что было без нежности голодно:
Нам и в могилах будет тепло,
А вам — и под солнцем холодно!

М. Надеждин,
кадет Владикавказского кадетского корпуса

Сан-Франциско

КАДЕТУ

Здравствуй, мальчик мой вихрастый, непокорный!
Долго не видались мы с тобой,
Сотни верст исколесив дороги торной
По чужой, нерусской мостовой.
Помню я тебя совсем мальчишкой, —
Утра раннего кристальную росу...
Ты шагал в суконной шинелишке
И с пятном чернильным на носу.
Годы шли обычной чередой...
Ты мужал и, полный внешних сил,
Легкий пух над верхнею губою,
Как гусарский ус, ты теребил.
Много было вас в стране далекой,
Малышей с душой богатыря;
Вас в одно вязал девиз высокий:
За Отечество, за Веру, за Царя.
Стены корпуса — в Хабаровске ль, в Полтаве,
В Петербурге ли, в Тифлисе ль, на Дону —
Говорили вам о старой русской славе
И о том, как чтить седую старину,
Как лелеять прадедов заветы,
Шелест ветхих боевых знамен,
Имя гордое «Российские кадеты»
И с сургучным вензелем погон.
А потом тебя встречал я в ночи черной,

Что страну покрыла пеленой...
Милый мальчик мой, вихрастый, непокорный!
Первым рвался ты в неравный бой.
В небе заревном пылающей Каховки
Помню твой дрожащий силуэт:
С настоящей папиной винтовкой
Ты шагал тогда в тринадцать лет.
И, скрывая свой фальдет высокий,
Ты нарочно басом говорил.
Ты тогда боялся: ненароком
Не попасть бы с фронта к маме, в тыл.
В сапожищах ноги детские шагали,
И дорожная на них ложилась пыль...
Перекоп, Ростов тебя видали,
Степи Сальской укрывал ковыль.
О семье ты ведал понаслышке
Или слабо помнил... До того ль?
И все в той же черной шинелишке
Ты шагал, тая печаль и боль.
Не твои ли слышали мы стоны,
Твой недетский леденящий крик?
Не тебе ль кокарду и погоны
Вырезал в Ростове большевик?
Ты, кто белое святое дело
Твердо нес на худеньких плечах,
Чье замерзшее и скрюченное тело
Видел я в окопах и во рвах!
И сегодня, в вечер встречи нашей,
Мне тебя хотелось помянуть
Добрым словом и заздравной чашей,
Передать, что так теснило грудь,
И сказать: мой мальчик беспокойный!
Долго не видались мы с тобой,
Сотни верст пройдя дорогой торной
По чужой, нерусской мостовой.
Помню я тебя совсем мальчишкой,
Но ведь сколько лет-то с той поры!
На тебе нет черной шинелишки,
Серебром усыпаны вихры.
Лишь глаза, как встарь, горят задором...
И коль в эти загляну глаза,
На плечах мне чудятся погоны,
Молодые слышу голоса.
Снова в прошлое мне приоткрыта дверца,
Мы с тобой опять в краю родном,
И кадетское, как раньше, бьется сердце
Под обычным штатским скюртуком.

Н.Н. Воробьев,

кадет Донского императора Александра III кадетского корпуса

Калифорния (США)

КАДЕТ

Что алей? Околош на фуражке
Или щеки в ясный день морозный?
Что яснее? Яркий блеск на пряжке
Или взгляд отважный и серьезный?

Уши будто в пламени от стужи,
Но законы — и в мороз законны,
На груди скрещен башлык верблюжий,
Проскользнув под яркие погоны...

Заглянул в зеркальную витрину —
Вид гвардейский, вид отменно бравый,
Все в порядке должном, все по чину:
Ведь недаром пишутся уставы!..

Вот навстречу три улана рядом —
Офицеры, а идут не в ногу!
Козырнул, но очень строгим взглядом
Проводил их. Даме дал дорогу,

Локтем ткнул штафирку-гимназиста,
Чтоб не смел смотреть запанибрата.
Козырнул отчетливо и чисто,
Повстречав с «Георгием» солдата.

Впереди краснеют отвороты —
Генерал! И старенький — бедняга.
Все равно — готовься к повороту,
Десять, восемь, шесть, четыре шага.

Повернулся, щелкнул каблуками,
Вскинул руку, вскинул подбородок,
Генеральский профиль ест глазами —
Знай, мол, наших! Я не первогодок.

Мне двенадцать! Третий год в погонах!
Третий год!!! А он уже мечтает
О блестящей форме, шпорных звонах
И себя корнетом представляет!

Да-с, корнет! А впрочем, осторожно,
Проглядишь кого и попадешься!
На бурбона натолкнуться можно,
И тогда досад не оберешься!

А доложишь в корпусе об этом —
Назовут «позором» и «скандалом»...
Хорошо, конечно, быть кадетом,
Но гораздо лучше генералом!

К.Н. Сумбатов

«ЧЕМ ЖИЛО И ДЫШАЛО КАДЕТСТВО»

1 сентября 1911 года, № 211

П Р И К А З

По Владимирскому кадетскому корпусу

31 августа Владимирский Киевский кадетский корпус удостоился счастья отметить на страницах своей истории великое и радостное событие — посещение его государем императором Николаем Александровичем.

В 3 часа 30 минут дня прибыли в корпус их императорские высочества великие князья Андрей Владимирович и Сергей Михайлович, а в 3 часа 45 минут дня изволил прибыть Его Императорское Величество государь император с болгарским княжичем Борисом. У парадного подъезда государь император был встречен мною, а в вестибюле Его Величество принял рапорт от очередного ротного командира полковника Зенченко.

Его Величество по пути следования в церковь изволил обратить внимание на развешенные по стенам изречения, сжато и образно определяющие отношения русского человека к Богу, царю, Родине, к своим обязанностям и товариществу; выслушав мой доклад по этому поводу, государь император изволил сказать: «Это очень хорошо».

В корпусной церкви государь император был встречен протоиереем Шепченко с крестом и святою водою. Прослушав краткое молитвословие, Его Величество осмотрел историческую святыню корпуса — икону, полученную корпусом в 1852 году в благословение от императора Александра II, бывшего в то время еще наследником цесаревичем и Главным начальником военно-учебных заведений. В церкви корпуса государь император обратил внимание на находящиеся на стенах храма мраморные доски, на которых золотыми буквами написаны имена бывших питомцев корпуса, убитых на войне и павших от руки убийц в мирное время при исполнении служебного долга.

Из церкви Его Императорское Величество проследовал в сборный зал, где были выстроены все кадеты, рота с ружьями и со знаменем при собственном оркестре. На левом фланге были выстроены преподаватели и административные чины корпуса. При входе государя императора в зал раздалась соответствующая команда, музыка заиграла «Встречу». Парадом командовал полковник Троицкий. Его Величество, приняв рапорт, поздоровался с кадетами. В ответ на приветствие обожаемого монарха грянуло

громогласное восторженное «ура», сменившееся могучими звуками «Боже, царя храни»; вместе с оркестром гимн пел весь корпус.

Государь император приказал перестроить кадет к церемониальному маршу. Кадеты проходили повзводно. Когда они стали в первоначальный строй, государь император, выйдя перед серединой строя, изволил сказать: «Спасибо, кадеты! Прошли молодцами. Сегодня вы мне представились в блестящем виде. Надеюсь, что и в будущем вы поддержите честь и славу родного заведения».

Затем я имел счастье представить государю императору программу литературно-музыкального отделения, нарисованную кадетом шестого класса Образковым. Его Величество, избрав несколько пьес, прослушал стихотворение «Державному вождю — кадеты Владимирского Киевского кадетского корпуса», составленное и прочитанное кадетом седьмого класса Прудкевичем:

Настал давно желанный час!
Сбылися наши упованья:
Державный вождь Руси средь нас!
Живой восторг очарованья
И счастья трепет нас объял;
Любовь к царю, любовь к Отчизне —
Вот наш заветный идеал,
Вот цель кипучей нашей жизни!
Мы юны сердцем и душой,
И не окрепли наши силы,
Но за царя и край родной
Сражаться будем до могилы.
Пройдет немного школьных лет —
И скоро в жизнь мы вступим смело,
Неся с собой один завет:
«Смерть за царя — святое дело!»
Пусть многие из нас падут
За Родину в борьбе кровавой,
Века их имя вознесут
И озарят бессмертной славой.
Самодержавный русский царь!
Тебе мы, юные кадеты,
Восторг, любовию согретый,
Несем, как наши деды встарь!

Государь изволил благодарить автора и удостоил его милостивой беседы. Прослушав в исполнении хора кадет «Боже, люби царя» (музыка Глинки), государь император удостоил учителя пения г. Папаафанасопуло милостивой беседы, сказавши, что кадеты поют великолепно, и соизволил приказать пропеть еще «Киевскую былинку», по исполнении которой Его Величество изволил похва-

лить кадет словами: «Отлично поете, кадеты». Государь император в милостивой беседе со мной изволил интересоваться составом хора и несколько раз выражал свое удовольствие по поводу отличного исполнения хором музыкальных пьес. Прослушав «Фанфарный марш», исполненный духовым оркестром кадет, государь император изволил сказать мне, что кадеты играют отлично, соблюдая тонкие оттенки.

По приказанию Его Величества из строя были вызваны и представлены его высочеству княжичу болгарскому воспитывавшиеся в корпусе болгары, в числе 12 человек; наследник болгарского престола удостоил их милостивого разговора.

В это время Его Величество, узнав от меня, что в числе кадет находится сын героя последней войны генерала Кондратенко, приказал вызвать кадета Кондратенко и, удостоив его милостивой беседы, пожелал ему быть утешением своей матери и достойным сыном своего отца. Потом, обратившись к кадетам, Его Величество изволил сказать: «Прощайте, кадеты! Еще раз спасибо за молодцеватую выправку».

Затем государь император изволил проследовать в лазарет, при входе в который были выстроены служители корпуса, прослужившие в нем не менее 25 лет. Его Величество изволил обратить свое высокое внимание на ламповщика Масальского, прослужившего в корпусе 47 лет.

В лазарете государя императора встретил с рапортом старший врач корпуса. Его Величество обходил больных кадет, милостиво с ними беседуя. В лазарете государю императору благоугодно было удостоить продолжительной беседой прослужившую 40 лет сестру милосердия г-жу Тышкевич. По возвращении из лазарета в зал Его Величество по моей всеподданнейшей просьбе увековечил память о своем высоком посещении, расписавшись в исторической книге корпуса; в ней же расписался болгарский княжич Борис. Здесь же Его Величеству от кадет был поднесен для наследника цесаревича классный стол усовершенствованной системы Иванова с учебными книгами, классными принадлежностями и Евангелием, выдаваемым каждому вновь поступающему кадету как благословение от корпуса; часть деревянных работ стола и вся полировка выполнены кадетами под руководством офицера-воспитателя подполковника Волотовского.

После этого Его Величество проследовал на главный подъезд, где соизволил сняться вместе с начальствующими лицами и старшими кадетами, причем изволил выразить желание иметь у себя несколько снимков.

Отъезжая, государь император соизволил сказать мне, подавая руку: «Очень вам благодарен за отличное состояние корпуса». При отъезде державного гостя кадеты были выстроены вдоль шоссе и провожали своего обожаемого монарха восторженными криками «ура» под звуки народного гимна.

В знак своей царской милости Его Величество приказал распустить кадет на три дня.

Государь император пробыл в корпусе около часу.

Объявляя об этом радостном историческом событии, я вместе со всеми безмерно счастлив, что наша общая работа удостоилась чрезвычайно лестной похвалы Его Императорского Величества. От души благодарю своих сотрудников и кадет, приложивших все силы и усердие, чтобы порадовать державного вождя. Милостивые слова государя императора, являясь лучшей наградой, усугубят нашу ревность и дадут новые силы для службы на пользу и славу царя и Отечества.

Директор корпуса
генерал-лейтенант Семашкевич

БОЙ ПОД КАНДЕЛЕМ 25 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА

ПРИКАЗ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В РУМЫНИИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ НА ЮГЕ РОССИИ

2/15 апреля 1920 года. Бухарест

§ 1

25 января произошла эвакуация Одессы. Часть войск Добровольческой армии, масса беженцев с женщинами и детьми отходила под натиском большевистских частей и банд к границам Румынии. В составе отступавших находилось около 400 кадет Киевского и Одесского корпусов, многие младших классов в возрасте 12—14 лет.

Отход от Одессы под угрозой нападения со всех сторон при ничтожных для противодействия большевикам силах, отсутствии боевых и жизненных припасов, перегруженности отряда обозом, в коем следовали женщины и дети, и недружелюбном отношении запуганных большевиками жителей требовал сверхъестественных усилий для преодоления лишений и сохранения бодрости.

31 января части под общим командованием полковника Стесселя вступили в бой с большевиками, превосходными силами около дивизии наступавшими со стороны с. Выгоды, и бригадой Котовского — со стороны с. Зельц. Отряд полковника Стесселя, не превышавший 600 человек бойцов, вынужден был принять бой для спасения беженцев, женщин и детей. Левый фланг был поручен кадетскому корпусу под начальством капитана Ремерта.

Сплоченные узами товарищества, крепкие духом, кадеты явились лучшей организованной частью, о которую разбились все атаки противника. На левый фланг большевиками были направлены наибольшие силы и проявлено наибольшее упорство для овладения селением Кандель. Жестокий артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь не мог поколебать мужественных кадет. После соответственной подготовки большевики бросили на левый фланг бывшие у них кавалерийские части. Неудача грозила гибелью всему нашему отряду. В эту решительную минуту юноши и дети кадеты, понимая всю важность обороняемой позиции, не смутились натиском противника. Дружные залпы встретили несущуюся кавалерию. Твердой стеной стояли кадетские штыки. Не ожидавшие такой выдержки и мужества большевики обратились в бегство. Успех на левом фланге отразился на действиях всего отряда, перешедшего после этого в контрнаступление и продвинувшегося на пять верст к с. Выгода, после чего он возвратился в исходное положение.

В тот же день отряду пришлось выдержать второй бой с полным для нас успехом. Бой длился с 9 часов утра до 6 часов вечера с перерывами.

В последующие дни части кадет удалось переправиться в Румынию. Мужество и доблесть кадет в этих боях, понесших в бою и впоследствии огромные потери, ставит их в ряды испытанных воинов.

От имени главнокомандующего вооруженными силами на юге России благодарю доблестных героев-кадет за полное самоотвержение и мужество, проявленные в боях под Канделем и Зельцем. От имени главнокомандующего благодарю воспитателей корпуса, положивших зерна безграничной любви к Родине в сердца их воспитанников. Верю, что, проявив столько доблести в юношеском возрасте за дело страдающей Родины, кадеты впишут свои имена золотыми буквами в историю возрождения России.

Генерал-лейтенант ГЕРУА

КАДЕТСКАЯ ЛАМПАДА

Основание Неугасимой лампы в память всех умерших и в боях погибших кадет российских тесно связано с именем ее устроителя — Митрофана Митрофановича Колтовского, как, впрочем, с его именем связан и сам Свято-Троицкий храм в г. Касабланке, главным строителем которого был покойный. Напомним вкратце жизнь этого необыкновенного человека, блестящего офицера и смиреннейшего христианина, принявшего одинаково покорно и гонения во имя Христа в России, и телесные муки последних лет своей жизни в эмиграции.

Митрофан Митрофанович Колтовский происходил из старинной боярской семьи, большинство членов которой служило в Российском флоте. Сам Митрофан Митрофанович, проучившись последовательно в Киевском, Одесском и Первом корпусах, по окончании Николаевского кавалерийского училища в 1908 году вышел в Крымский конный полк. Дальнейшая его служба протекала в авиации и автоброневых частях. После революции он ипподиакон св. патриарха Тихона и одновременно начальник отряда добровольцев охраны патриарха.

Пришлось Колтовскому изведать тюрьмы и советские ссылки. Вторая война дала ему возможность вырваться за границу. Годы беженской жизни в лагерях Центральной Европы и, наконец, Бурназель, под Касабланкой, где ему было суждено окончить свое земное странствие. Здесь все помыслы, все труды его — создание храма. В нем почти все создано его собственными руками и руками его верной подруги жизни — Марии Петровны.

Наконец, приходит в Париж его письмо: «...зажигаем на панихидном столике в нашей церкви Неугасимую лампаду в память всех усопших братьев-кадет наших... Пусть каждый пришлет мне имена умерших кадет его корпуса, а я их внесу в Задушную книгу...»

В тяжелых муках, без ноги, с почти непрерывными припадками астмы, Колтовский ведет деятельную переписку с кадетами и пополняет свой печальный синодик. В 2 часа дня 18 января 1954 года его мучения и верная служба кончаются. Припадок грудной жабы уносит его из этой жизни. Кадетская лампада переходит в ведение Марии Петровны Колтовской, его вдовы и нашего друга, прошедшей с ним все ссылки и лагеря и закрывшей ему глаза. Теперь она уезжает в Америку и передает хранение лампы Общекадетскому объединению.

Кадеты всех корпусов ставятя в известность, что Неугасимая лампада в память всех убитых и скончавшихся кадет российских

корпусов с благословения настоятеля храма устанавливается на поминальном столике в церкви Знамени Божией Матери (87, бульвар Эксельманс, Париж, 16). У настоятеля храма хранится синодик умерших кадет. В положенные дни имена наших братьев будут поминаться за литургией, а по всем вновь скончавшимся кадетам будут у лампы служить панихиды.

Пожертвования и взносы на сооружение и поддержание лампы направлять казначею Общекадетского объединения.

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА

Год основания

Морской Е.И.В. наследника цесаревича (С.-Петербург)	1701
2-й кадетский императора Петра Великого (С.-Петербург)	1712
Первый кадетский (С.-Петербург)	1732
1-й Московский императрицы Екатерины II (Москва)	1778
Пажеский Его Императорского Величества (С.-Петербург)	1802
1-й Сибирский императора Александра I (Омск)	1813
Оренбургский Неплюевский (Оренбург)	1825
Нижегородский графа Аракчеева (Нижний Новгород)	1834
Полоцкий (Полоцк)	1835
Петровский Полтавский (Полтава)	1840
Орловский Бахтина (Орел)	1843
Воронежский великого князя Михаила Павловича (Воронеж)	1845
2-й Московский императора Николая I (Москва)	1849
Владимирский Киевский (Киев)	1851
3-й Московский императора Александра II (Москва)	1858
Вольский (Вольск)	1858
Ярославский (Ярославль)	1858
2-й Оренбургский (Оренбург)	1858
Псковский (Псков)	1858
Тифлисский великого князя Михаила Николаевича (Тифлис)	1862
Николаевский (С.-Петербург)	1869
Александровский (С.-Петербург)	1873
Симбирский (Симбирск)	1873
Донской императора Александра III (Новочеркасск)	1883
Суворовский (Варшава)	1899
Одесский великого князя Константина Константиновича (Одесса)	1899
Сумский (Сумы)	1900
Хабаровский графа Муравьева-Амурского (Хабаровск)	1900
Владикавказский (Владикавказ)	1900
Ташкентский наследника цесаревича Алексея Николаевича	1904
Иркутский (Иркутск)	1913
Первый русский великого князя Константина Константиновича, ведущий свое старшинство преемственно от Владимирского Киевского	1851
Крымский	1920
Русский корпус-лицей имени императора Николая II (Франция)	1922
Приготовительная школа императора Александра III	1860

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Год основания

Пехотные:

Павловское военное училище. Шеф: Его Величество (С.-Петербург)	1863
Александровское военное училище. Шеф: Его Величество (Москва)	1863
Алексеевское военное училище. Шеф: наследник цесаревич (Москва)	1864
Киевское великого князя Константина Константиновича военное училище (Киев)	1865
Владимирское военное училище (С.-Петербург)	1869
Виленское военное училище (Вильно)	1864
Одесское военное училище (Одесса)	1865
Тифлиское великого князя Михаила Николаевича военное училище (Тифлис)	1866
Казанское военное училище (Казань)	1866
Чугуевское военное училище (Чугуев)	1865
Иркутское военное училище (Иркутск)	1872
Ташкентское военное училище (Ташкент)	1914
Николаевское (2-е Киевское) военное училище (Киев)	1914

Кавалерийские:

Николаевское кавалерийское училище (эскадрон и сотня) (С.-Петербург)	1823
Елисаветградское кавалерийское училище (Елисаветград)	1865
Тверское кавалерийское училище (Тверь)	1865
Оренбургское казачье училище (Оренбург)	1867
Новочеркасское казачье училище (Новочеркасск)	1869

Артиллерийские:

Михайловское артиллерийское училище (С.-Петербург)	1820
Константиновское артиллерийское училище (С.-Петербург)	1807
Сергиевское артиллерийское училище (Одесса)	1912
Николаевское артиллерийское училище (Киев)	1914

Инженерные:

Николаевское инженерное училище (С.-Петербург)	1802
Алексеевское инженерное училище (Киев)	1915
Морское инженерное училище императора Николая I	

В. НИКИТИН

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ

Очерки быта кантонистов



ПРЕДИСЛОВИЕ

Так как кантонистов 14 лет уже не существует, то мы полагаем небесполезным предпослать нашим дополненным очеркам кратчайшую историю учреждения, развития и упразднения заведений военных кантонистов.

Начнем с того, что слово «кантонист» — французское и во Франции, Пруссии и России означало одно и то же — мальчики, воспитывавшиеся для поступления в военную службу. В Пруссии, например, каждый полк для своего комплектования имеет приписанный к нему кантон, или округ, и люди, обязанные оттуда к поступлению в военную службу, называются кантонистами. В России название это было присвоено солдатским сыновьям, подлежавшим по самому своему происхождению военной или и другого рода, но обязательной службе. Кантонистами первоначально у нас считались сыновья нижних чинов, прижитые или во время нахождения их в службе военной, или и в отставке, но до водворения их в казенных селениях; все незаконно рожденные женами солдат и рекрут сыновья при жизни мужей; солдатскими вдовами, а также подкидыши мужеского пола к нижним воинским чинам.

В 1721 году император Петр Великий, предвидя пользу, какую могла бы получить армия от обучения хотя бы части поступавших в полки солдатских детей грамоте и мастерствам, повелел учредить при каждом пехотном, гарнизонном полку школу на 50 человек, а для содержания их, без особых на то издержек, оставлять незамещенными в каждом полку такое же число солдатских вакансий; что в 49 полках и одном батальоне составляло 2475 человек, в числе коих значились дети армейских и гарнизонных нижних чинов. Школы эти, названные гарнизонными, открылись в том же, 1721 году. Затем, продолжая развиваться в течение всего царствования Петра Великого, эти школы окончательно организовались при императрице Анне Иоанновне: указом 21 сентября 1732 года «для пользы и облегчения государства в рекрутах» было постановлено: в дополнение к прежним 50 иметь в каждом полку еще по 14 вакансий, по восьми в роте, и из сберегавшейся от того суммы содержать в остзейских полках по 82, а во внутренних — по 80 человек. В эти школы поступали дети от 7 до 15 лет. Первоначально они были обучаемы российскому чтению, письму и арифметике; по оказании же удовлетворительных успе-

хов — обучались, смотря по способностям: 10 человек — артиллерии и фортификации; 20 — пению и музыке; 10 — слесарному мастерству и 10 — письмоводству; успевшие в сих предметах по достижении пятнадцатилетнего возраста поступали в армейские и гарнизонные полки, где уже начальство заботилось об их повышении; неуспевшие отсылались в рядовые матросы и денщики, а оказавшие особенные способности для бóльшего усовершенствования оставлялись в школе до 18-летнего возраста; наконец, неспособные с малолетства к изучению даже одной грамоты обучались столярному, токарному, плотничному, кузнечному, портняжному и сапожному ремеслам, чем их занимали также до 15 лет. Школы состояли в ведении особо определенных к ним офицеров и поручались особенному попечению комендантов, вице-губернаторов и самих генерал-губернаторов.

Далее, в царствование императрицы Елисаветы Петровны, число учеников школ возросло до 6002 человек; а так как по числу армейских и гарнизонных полков это число воспитанников правительству представлялось недостаточным, то сенатским указом 1758 года все солдатские сыновья причислены были исключительно к военному ведомству, причем установился порядок распределения их по школам. Потом вследствие реформирования всех гарнизонов 19 апреля 1764 года положено было иметь в каждом батальоне 36 вакансий, по шести в роте, для содержания школы на 54 человека, с оставлением в своей силе прежних главных их оснований с некоторыми, впрочем, улучшениями; а 7 июля 1765 года подобные же школы были заведены в сибирских крепостях: в Омской — на 150, а в Петровской, Ямышевской и Бийской — на 100, всего на 450 человек, и как в новых, так в старых школах с особого разрешения Военной коллегии воспитывались дети не только нижних чинов, но и некоторых штаб- и обер-офицеров; во всех же школах, включая и учрежденные в последующие годы царствования императрицы Екатерины II, в 1796 году число мальчиков простиралось до 120 000 человек.

В царствование императора Павла I 23 декабря 1798 года при учреждении Императорского военно-сиротского дома (бывшего впоследствии сперва — Павловского кадетского корпуса, а наконец — Павловского военного училища) все состоявшие при гарнизонах школы были переименованы в отделения сего дома под названием «военно-сиротских отделений», куда воспитанники принимались не старше восьми, а выпускались не моложе 18 лет от роду, и с тем вместе самые школы получили новое, лучшее устройство. Всех отделений было учреждено 66, а число воспитанников в С.-Петербурге и Москве — по 1500, Кронштадте, Риге и Николаеве — по 1000, Архангельске — 700, Киеве — 600, Казани — 500, крепости Св. Димитрия — 450, в 16 меньших отделе-

ниях — от 200 до 400 и еще в 51 — от 50 до 150, а всего составилось 16 400 человек.

При императоре Александре I число отделений постепенно уменьшалось, и в 1805 году солдатским детям присвоено название кантонистов. 4 апреля 1817 года издано положение о приготовлении кантонистов в аудиторы и о порядке определения и производства их, для чего велено было выбрать из военно-сиротских отделений 100 кантонистов не моложе 16 лет, способных и знающих хорошо писать, для определения их на 6 лет аудиторскими писарями в Аудиториатский департамент и ордонанс-гаузы с производством их потом в аудиторы, в полки. 11 января 1824 года все военно-сиротские отделения поступили под непосредственное начальство главного над военными поселениями начальника графа Аракчеева, который для уменьшения числа больных кантонистов в отделениях испросил Высочайшее разрешение вместо семилетнего возраста посылать солдатских детей в отделения с десяти лет, в том уважении, что моложе сего возраста они требуют еще женского присмотра, причем определено было воспитателям за содержание у себя кантонистов в течение не менее пяти лет выдавать от казны, в награду, по 10 рублей за каждого в год.

В царствование императора Николая Павловича сформированы из кантонистов вдобавок к существовавшему одному еще три учебных карабинерных полка для приготовления унтер-офицеров в армейские полки; кроме того, 3 декабря 1826 года военно-сиротские отделения переименованы в роты (по 250 человек в каждой), полубатальоны (из двух рот) и батальоны (из четырех рот) военных кантонистов, составивши, таким образом, ученые бригады кантонистов, кроме отделений Оренбургского и Сибирского края, которые также переименованы 27 апреля и 18 августа 1827 года. Образование кантонистов в преобразованных заведениях тогда распределено было на учение в классах, учение фронтовое и обучение мастерствам. Независимо от того учреждены: 8 сентября 1827 года в С.-Петербургском батальоне кантонистов — учительские классы для приготовления учителей во все батальоны; в 1830 году — школы при полках гвардейского корпуса для образования кантонистов; 11 апреля 1831 года — при кадетских корпусах особые школы для воспитания детей инвалидов, находившихся при корпусах; 26 марта 1832 года при С.-Петербургском же батальоне — Аудиторская школа; 8 августа 1836 года из кантонистов созданы эскадроны по 120 и батареи по 136 человек от 14 лет и выше в округах Украинского и Новороссийского военных поселений для доставления более способных к комплектованию унтер-офицерами и фейерверкерами поселенных полков 1-го и 2-го резервного кавалерийского корпусов и 5-й легкой кавалерийской дивизии; 8 ноября 1836 года воронежские батальоны кантонистов припоровлены для комплектования полков и батарей 3-го резер-

вного кавалерийского корпуса; 9 марта 1840 года повелено было сформировать в округах Киевского и Подольского поселений эскадроны кантонистов для комплектования 1-й кавалерийской дивизии, по одному эскадрону для каждого полка этой дивизии; такие же, наконец, школы введены были в артиллерийском и инженерном ведомствах.

В существовавших в 1854 году заведениях для образования военных кантонистов воспитывалось следующее число их.

Под главным начальством бывшего департамента военных поселений

В заведовании инспектора батальонов военных кантонистов

В пяти учебных бригадах, состоявших из 13 батальонов, девяти полубатальонов и трех отдельных рот, было с лишком 19 200 человек.

В особых частях, состоявших при батальонах:

В С.-Петербургском:

в неранжированной роте с музыкантскою командою — 250 человек;

в писарских классах — до 100 человек;

в школе телеграфических сигналистов — 100 человек;

в Аудиторской школе — 100 человек;

в малолетнем дворянском отделении при Аракчеевском кадетском корпусе в селе Грузине, Новгородской губернии, — 200 человек.

В заведовании инспектора всех кантонистских эскадронов резервной кавалерии

В ведении инспектора резервной кавалерии, но при управлении учебною частью инспектором батальонов военных кантонистов:

при двух батальонах в Воронеже, принадлежавших ко 2-му резервному кавалерийскому корпусу, — 2800 человек;

в двух артиллерийских батареях без орудий — 272 человека;

в неранжированной роте — 250 человек;

в 40 кавалерийских эскадронах и пяти артиллерийских батареях без орудий, в округах военного поселения 1-го и 2-го резервных кавалерийских корпусов — 5480 человек;

в военных поселениях Киевской и Подольской губерний — 480 человек.

В заведовании инспектора учебных карабинерных полков

Неранжированные батальоны всех четырех полков — 2850 человек.

В заведовании инспектора Балаклавского греческого пехотного батальона

Одна рота — 250 человек.

В заведениях, учрежденных для образования кантонистов, не зачислявшихся в батальоны, и состоявших в заведовании:

а) командира отдельного гвардейского корпуса под инспекцией инспектора батальонов военных кантонистов: в школах кантонистов гвардейского корпуса при 12 пехотных полках — по 60 и более; девяти кавалерийских — по 30, трех артиллерийских бригадах и саперном батальоне — по 20 и при штабе первых шести гвардейских инвалидных рот по 50; всего до 2000 человек;

б) под ведением главного начальника военно-учебных заведений: в школах кантонистов кадетских корпусов — неопределенное число;

в) в ведении инспектора местных арсеналов: в технической артиллерийской школе — 100 человек и в коновальной артиллерийской школе — 70 человек;

г) в ведении инспектора пороховых заводов: в школе для образования мастеров и подмастерьев порохового, селитренного и серного дела при Охтенском пороховом заводе — 36 человек; в школах при пороховых заводах — 75 человек;

д) в ведении инспектора оружейных заводов: в школах при оружейных заводах для детей оружейников — до 800 человек;

е) в главном заведовании директора военно-топографического депо: в школе топографов — 120 человек;

ж) в ведении Медицинского департамента Военного министерства в фельдшерских школах при госпиталях и в ведении императорских военно-конских заведений, в Императорской С.-Петербургской медико-хирургической академии для приготовления ветеринарные помощники — неопределенное число.

Так что независимо от обучавшихся в школах, при самых войсках учрежденных, а равно тех, числительность коих не представлена выше, всех воспитывавшихся в названных заведениях мальчиков состояло налицо: в 1824 году — до 120 818 человек, в 1842 году — 35 450 человек, а живших при родителях и родственниках — 185 640 человек, при войсках — 71 900 человек, а всего — около 293 000 человек. Засим в продолжение 18 лет постепенно приводилась в известность числительность всех солдатских детей, по происхождению своему принадлежавших военному ведомству; их оказалось 172 000 человек.

Этот громадный контингент мальчиков вызвал со стороны правительства распоряжение 26 января 1835 года: чтобы брать в батальоны, полубатальоны и роты тех только 14-летних кантонистов, отцы коих служили в войсках, да круглых сирот, родствен-

ники которых по бедности не в состоянии были содержать их; достигавших же 20-летнего возраста определяли прямо на службу.

Из кантонистов, принадлежавших военному ведомству, увольнялись:

1) все сыновья лиц, дослужившихся по военной или гражданской службе до штаб-офицерского чина или получивших какой-либо орден, и прижитые ими законно в солдатском звании — по случаю сообщения помянутым чином потомственного дворянства;

2) один из сыновей нижних чинов, достигших обер-офицерского чина по строевой службе, по их выбору, если они не имели других сыновей, прижитых ими в обер-офицерском звании, — тоже для причисления к дворянству;

3) один из сыновей отставных нижних чинов, получивших на войне такое увечье, которое мешало заниматься хозяйственными трудами, а также и вдов, мужа коих были убиты в сражениях и умерли на службе или в бессрочном отпуску, — для успокоения их старости.

Право помещения мальчиков в эти заведения имели и офицеры, и дворяне, и даже духовенство; законные же и незаконные сыновья солдат *обязывались* непременно туда поступать с 10- до 14-летнего возраста, и учиться в каких бы то ни было гражданских училищах им раз навсегда положительно *воспрещалось*. Далее, на основании нескольких особых, постепенно издававшихся узаконений, в те же заведения направлялись сыновья: бедных жителей Финляндии и цыган, там кочевавших, польских мятежников и солдат, шляхтичей, не доказавших свое дворянство, раскольников да малолетние: рекруты-евреи, бродяги, преступники и бесприютные. Затем по достижении мальчиками в заведениях 18—20-летнего возраста и по окончании учения они назначались в писаря, фельдшера, вахтеры, цейхдинеры, цейхшрейберы и т.п. нестроевые должности военного и морского ведомств, частью во фронт, а некоторые учителями в те же самые заведения, из которых вышли. Прослужить должны были: дворяне — 3 года, обер-офицерские дети — 6, духовных, например дьяконов, — 8 лет, а остальные — общий тогдашний солдатский срок — 25 лет, если ранее не производились в чиновники: за отличие — за 12, а за обыкновенную выслугу — за 20 лет. Солдатские сыновья, в какой-то губернии родился — к тому местному заведению его и приписывали, и до 10—14 лет он оставался при отце или матери, которые получали на него в год рубля по три на воспитание, а потом его брали в заведение на казенное содержание; евреев же и поляков для того, чтобы ими приумножить православных, всегда пересылали далеко от родины: киевских, например, в Пермь, и отнюдь не ближе Нижнего Новгорода. Воспитывались во всех заведениях ежегодно от 245 000 до 270 000 человек (дворяне и им подобные привилегированные мальчики составляли в заведениях самый ничтожный

процент), а стоили казне все заведения от 2 450 000 до 2 700 000 рублей в год. В таком однообразном, ни в чем не измененном положении застал заведения 1857 год.

25 декабря 1856 года обнаружен был знаменательный указ Сената о прекращении обязательного приема в кантонисты солдатских сыновей, а в рекруты маленьких евреев и всех прочих вышеперечисленных мальчиков. Мало того: тот же указ разрешал родителям, родственникам, опекунам и даже знакомым находившихся в заведениях кантонистов без различия происхождения взять назад к себе и воспитывать кому как вздумается; тех же, которых никто не примет, повелевалось оставить в заведениях, причем с выходом впоследствии на службу, им предоставлялись права вольноопределяющихся, то есть покинуть службу во всякое (кроме военного) время, когда они того пожелают. Результатом этого указа на практике получилось то, что менее чем через год численность кантонистов не превышала третьей части штатного их комплекта. Эта малочисленность вызвала новую реформу: в 1858 году батальоны, полубатальоны, эскадроны, дивизионы и роты кантонистов были упразднены, а вместо них открыты 20—25 училищ военного ведомства, в которые перевели кантонистов, оставшихся неразобранными в закрытых заведениях. В училища установлено было принимать вновь исключительно желающих из всех без различия сословий; программа наук в них поднялась до курса уездных училищ, фронтные учения были окончательно похерены, мальчики названы «воспитанниками», а назначение их определялось в писаря, кондукторы и топографы военного же ведомства; прослужить в этих званиях, за воспитание, им надлежало 6 лет. Тем и канули в вечность кантонистские заведения, а самое слово «кантонист» перестало означать отдельную касту людей, готовящихся в солдаты.

Вот краткая история кантонистов, о воспитании которых в литературе ничего не говорится. Между тем, сложив численность находившихся в заведениях в продолжение хоть только 31 года (с 1826 по 1857 год включительно) кантонистов и стоимость их за этот период, выходит, беря хоть среднюю лишь цифру, что их прошло через заведения 7 905 000 человек, а на их содержание истрачено 20 150 000 рублей — сумма громадная. Отсюда рождается естественный вопрос: стоила ли по крайней мере хоть игра свеч? На вопрос этот и отвечают отрицательно предлагаемые вниманию читателей «Очерки быта кантонистов»; ответ этот неопровержим, потому что, сколько нам известно, воспитание кантонистов было во всех заведениях совершенно одинаковое; эти же «Очерки» пополняют, кроме того, доселе остающийся в литературе пробел о том, что творилось с кантонистами в довольно близком к нам прошлом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Свежо предание, а верится с трудом.

А. Грибоедов

I

ПЕРВЫЙ ПУТЬ

По отлогому берегу судоходной реки одной из приволжских губерний тянулись когда-то в один ряд, между мелким кустарником и молодыми березками, двадцать—тридцать плохоньких крестьянских избушек. Деревня эта принадлежала старому помещику-домоседу, а в ней в числе прочих жил молодой крестьянин Гаврило Прохоров. Едва он женился на красивой девушке Варваре, как сдали его, по прихоти помещика, в солдаты. Варвара, оставшись без мужа, сперва сильно роптала на судьбу, но потом мало-помалу утешилась и прижила с одним из солдат, стоявших в деревне на зимних квартирах, сына Василия.

Василий жил вместе с матерью в доме вдового отца Гаврилы Антона Дормидонтовича. Жизнь его ничем не отличалась от житья всех прочих крестьянских ребятишек: он бегал по улице в одной рубашонке, полоскался в лужах, выгонял коров, а время между тем все шло да шло вперед. И не успело миновать каких-нибудь десяти лет, как вдруг в одно сентябрьское утро неожиданно-негаданно возвращается домой исхудалый, состарившийся и на деревянной ноге Гаврило Антоныч: по милости ядра, оторвавшего ему ногу, дали ему отставку с надписью на ней: «Бороду брить, по миру не ходить».

Варвара, увидав безногого Гаврилу, вздрогнула за себя, за Васю, не могла впопыхах сообразить, что сказать про него, но Вася влетел в избу с криком «мама» и сразу разрешил все недоумения. Уязвленный Гаврило вспылил, кинулся было на Варвару, но, урезониваемый своим отцом, он помолчал несколько дней, взглядывая исподлобья то на жену, то на ее сына, и затем, качнув головой, решил, что надо простить жене по той весьма простой причине, что, бродивши много лет сряду по белу свету, он и сам, как признался отцу, делывал то же, что сделал ему его собрат.

Вася, в свою очередь, тоже как-то сумел понравиться Гавриле; тот на досуге стал забавляться им, учил его быть солдатом, а потом и в самом деле настал черед и Васиной службы: его потребовали в кантонисты. Это событие сильно опечалило всю семью, чувствовавшую горячую привязанность к ребенку.

Начались приготовления. Мать принялась шить сыну белье, вязать обувь, варила, пекла. Антон побывал на базаре в торговом селе, продал там мешок ржи, купил Васе теплую верхнюю одежду и обувь; а Гаврило остриг мальчика по-солдатски, преподал ему несколько уроков воинской субординации и, когда наступил наконец день разлуки и две котомки Васи были уже наполнены: одна — деревенским и солдатским имуществом (в ней были сапожные щетки, гребенка, игольник, шило и нитки), а другая — съестными припасами, Гаврило Антоныч, тяжело вздохнул, взял мальчика обеими руками за голову и сказал ему:

— Ну, Вася, ты теперь идешь на службу царскую: учись тамотка, особенно грамоте, да почитай начальство, не груби. Пуще всего помни: не груби — и все будет ладно. Может, еще и в офицеры превзойдешь. И это бывает. Проси дедушку, пусть благословит на дорогу.

Он повернул его к своему отцу. Антон молча перекрестил Васю, надел ему на шею купленный на базаре за 2 копейки образок и, крепко поцеловав его, одной рукой передал его матери, а другой вытер глаза.

Варвара заголосила.

— Полно, Варя, надрываться-то попусту, — заговорил Гаврило, — его, чай, не убивают, ну и реветь нечего. Ехать пора.

— Из ейной, чай, малец утробы-то, — вмешался Антон, — ну и не трожь: пусть плачет.

Варвара завывала пуще прежнего. Вася, глядя на нее, тоже хныкал.

Когда же все трое, Вася, Гаврило и Антон, сели в сани, Гаврило ожесточенно хлыстнул лошадь, и они выехали со двора. Варвара так и осталась с разинутым ртом на крыльце, следя помутившимся взором за отнятым детищем.

К утру наши путники приехали в уездный город, представились в канцелярию инвалидного начальника, узнали там, что отправка будет через день, и остались ее ждать. Это последнее дорогое время прошло для Васи незаметно: его ублажали пряниками, орехами, водили гулять по улицам.

Ранним утром 26 октября 1846 года Антон, положив семь рублей ассигнациями в кожаный кошелек, надел его Васе на шею, спрятал его ему под рубашку, строго наказал никому не хвастаться, что у него есть деньги, внушил беречь их про черный день, дал ему в карман на расходы еще копеек 50 и затем привел его на сборный пункт — городскую площадь, перед острогом. Там уже

стоял ряд подвод с наваленными на них котомками. Тут же толпилось человек 20 арестантов, а позади их два мальчика-кантониста, к которым унтер тотчас же присоединил и Васю.

«Смирно!» — скомандовал унтер, когда из ворот острожного дома показался инвалидный начальник, седой прапорщик.

Все встрепенулись. Унтер вынул из-за обшлага шинели список и, идя по линии, стал перекликать партию. Сзади его важную поступью шел прапорщик.

— Отзываться громче, школа семиглазая, — крикнул он, — розгами высеку.

При таком приветствии мальчики переглянулись и визгливо стали откликаться.

По окончании переклички Антон и Гаврило, крадучись, отдали последний поцелуй Васе, а гривенник — конвойному, чтоб поберег их малого до губернии. Мальчиков посадили на подводу. Партия повернулась направо и тронулась в дорогу. Тут только Вася понял, что он уже не деревенский, а казенный человек, и ему стало жутко. Взглянув издали на родных, он заплакал навзрыд.

А Антон с Гаврилою, проводив глазами удалявшуюся партию, стояли среди улицы, повздыхали, молча вернулись на постоянный двор, запрягли лошадку и отправились домой, понурив головы.

Партия вышла за околицу. Мальчики, сидя в широких деревенских розвальнях, стали между собой понемногу знакомиться.

— Тпру-ру... Стой! — приказывал унтер.

Следом за унтером шел человек средних лет, бритый в полголовы, с торчавшею ключьями бородою, тощий, бледный как смерть, в серой арестантской одежде и в кандалах.

— Эй, вы, бесенята, сдвиньтесь-ка ближе и дайте вот ему место где сесть! — сказал унтер.

Мальчики сдвинулись и испуганно глядели на арестанта. Но, отъехав полстанции, они перестали бояться его, а он, забавляя их рассказами, сумел к концу станции так расположить их к себе, что выманил даже у них по семитке (2 копейки).

На станции партию развели ночевать: арестантов — в этапный дом, а мальчиков — в крестьянскую избу. С рассветом, после новой переклички, партия снова потянулась вчерашним порядком. Арестант в продолжение всей дороги всячески втирался к мальчикам в дружбу и довольствовался их домашними харчами. Но скоро запасы истощились; они принялись тратить деньги, а потом и самим им пришлось оставаться на одной пище жалостливых хозяев во время ночлегов. Иногда, впрочем, хозяева ничего не давали из варева, и тогда мальчики ели казенный хлеб с водой; спутник же их, арестант, не мирился с таким положением и не задумывался находить новые источники есть получше.

Раз остановилась партия на привале. Арестанты пешие обступили торговку, а арестант, сидевший с мальчиками на подводе, говорит одному из своих собеседников:

— Пойди, Миколаша, стащи потихоньку у бабы вон этот ситцевый платок.

— Ишь ты, ловкач какой, — отвечал научаемый Николай Филиппов, — увидит — вихор-то так надерет, што ахти.

— Небось не увидит, вишь заегозила со своими пирогами, теперь хоть косу у ней отрежь — не спохватится. Я бы сам стянул, да, вишь ты, звенят, — указал он на цепи. — Да встать-то мне не велят. Иди же, будь молодец. Ежели же заметит — улепетывай скорей сюда, в обиду не дадим.

— Нет, што-то боязно, право, боязно: ундер увидит, — отговаривался мальчик.

— Полно артачиться-то, глупый ты этакий! Гляди, как сойдет-то. Только беги, не зевай. Стянешь, продадим на станции за двугривенный, да и яичницу сделаем. Ей-ей так.

Яичница победила колебания Филиппова. Он отправился к торговке, вытянул, подкравшись на цыпочках, платок из-под корзинки и уж пустился было бежать, но торговка заметила, опрометью бросилась в погоню, схватила его и притащила за ухо обратно к завалинке, где торговала.

— На вот тебе вора, служба, на! — сердито затарантила она, толкнув Филиппова к сидевшему там унтеру. — Как тутотка торговать-то, коль таких мошейников ведешь? А еще похвалялся: у меня, говорит, народ смирный, ничего не тронет. Ты, служба, либо гривну, что дала, назад подай, либо хорошую таску задай этому шалыгану.

Филиппов стоял ни жив ни мертв.

— Как ты смел воровать? — грозно спросил унтер. — А?..

— Я... я... меня подучил... арест... видит Бог, не сам. Прости, дяденька, — взмолился Филиппов.

— Да разве ты должен других слушать? — вскипел унтер. — А?!. Вот тебе, вот тебе, поганец этакий, — продолжал он, переваливая Филиппова с руки на руку. — Пешком до станции! — заключил он.

И Филиппов прошел верст 12. У него в ушах звенели затрепичины, голова горела, ноги еле двигались, стужа пронимала насквозь; слезы так и лились от горя и стыда.

Путешествие тянулось целых десять дней; наконец партия очутилась на большой дороге. Тут была одна из тех станций, на которых партии сходились из нескольких уездов. По пересортировке партий в нашей остались три мальчика, четыре арестанта и пять переселенцев. На всех их дали одну подводу, которую высоко нагромодили поклажею; на поклажу усадили мальчиков, и партия отправилась дальше. Во избежание хлопот — разводить

и собирать мальчиков по деревне — их стали помещать на ночлег вместе с арестантами в этапных острогах. Холодные, грязные конуры, выбитые стекла, заткнутые тряпицами форточки, вонь, звяканье цепей, обломанные дощатые нары — такова была ночная обстановка измученных дорогою детей. Мальчики не могли глаз сомкнуть целые ночи напролет, и все это навевало на них какой-то ужас и страх.

После одного из таких ночлегов мальчик Иван Степанов жаловался унтеру на покражу рубашки и полотенца.

— Вещи, пожалуйста, вели отдать, — молил ребенок, — мне скоро надеть нечего будет.

— Да я-то тебе караульщик, что ли? — закричал унтер. — С вами только хлопочи, школа проклятая! Береги, бесенок, береги вещи-то, — продолжал он, щелкая мальчика двумя пальцами по носу.

— Чем же я виноват-то, коль украли? — оправдывался, увертываясь от щелчков, сквозь слезы Степанов.

— Гляди в оба, и все цело будет. А то только воров плодишь, каналья этакая!

Наутро унтер предложил сделать, по гривне с брата, складчину на подводу, не то грозил тащить пешком с котомками на плечах. Партия повиновалась. Увидев возможность добывать таким легким способом деньги, унтер поставил себе это ежедневным правилом. Потом, узнав, что у Васи на шее есть деньги, он начал у него понемногу выманивать и их.

— Дай-ка мне четвертак, — говорил он, усевшись возле Васи на нарах в остроге. — Потому мне очень нужно.

— Будет с тебя, ты, дяденька, и то уж много выклянчил. Не дам.

— Не дашь?

— Нет, не дам. Ишь повадился: дай да дай...

— Так ты еще, мозгляк, грубить начальству?

И Вася после нескольких угроз снова вынимал четвертак и думал о том, когда бы только скорей окончилась дорога.

Конец уже был близок. На последней станции унтер нашел нужным дать совет мальчикам, как вести себя перед будущим их начальством.

— Ежели начальство вас спросит, отвечать громко: «Всем довольны», — вразумлял он. — Получали, мол, тоже сполна все. Слышите? Потому, Боже сохрани!

У заставы унтер припарадился, перекрестился и повел партию фронтом в острог. Сдав там арестантов, он переночевал с мальчиками в пересыльной казарме и рано утром привел их в казармы заведения кантонистов, сдал их благополучно по принадлежности и отправился восвояси.

ПОНЕДЕЛЬНИК.
ПЕРВАЯ РОТА НА ФРОНТОВОМ УЧЕНИИ

Был шестой час утра. К одной из кроватей задней линии подошел кантонист-часовой и разбудил нашего героя Василия Иванова. Он сел на кровать, протер глаза, порывисто вздохнул, потянулся было, зевнул, но сейчас же встал. Надо было чистить сапоги. Достав из кроватного ящика ваксу, он развел ее в черепке и принялся за работу. Работа шла довольно успешно. Вдруг кто-то отчаянно закричал во сне: «Помилуйте, ваше благородие, никогда не буду, помилосердствуйте». Крик раздался так неожиданно, голос был такой раздирающий, что Иванов вздрогнул и выронил из рук щетку; та упала на черепок с ваксой, и вакса разлилась по полу промеж кроватей. Он испугался этого события и заплакал. На беду проснулся его дядька и, узнав, в чем дело, встал и велел ему нагнуть шею. Тот не понял.

— Нагни, тебе говорят, шею, ну... уткни голову вниз, — спокойно наставлял дядька своего племянша.

Иванов повиновался, недоумевая, однако, для чего это.

— Стой, — добавил дядька и, попридержав голову племянша левой рукою, правую раскачал в воздухе и ударил ею с размаху Иванова по шее. Тот взвизгнул на всю комнату. Но это было так обыденно, что никого не встревожило и не разбудило. Иванов рванулся было от дядьки, но напрасно: тот крепко вцепился в него.

— Ты не кричи, — приговаривал дядька, — не кричи, когда дело делаешь, осторожен будь и рта не разевай, а напакастивши — не хнычь. Вот что! — такими словами сопровождал свои удары первый и самый ближайший начальник новичка.

Кроме дядьки начальства в заведении было пропасть. Заведение состояло из четырех рот. Рота, заключавшая в себе более 300 кантонистов, делилась на четыре отделения (капральства), капральство — на четыре десятка. В роте начальствовали: ротный командир, фельдфебель, четверо капральных: унтер-офицеры и ефрейторы (на кантонистском наречии первые — правящие, а последние — капралы). Кроме того, тут было 20 десяточных ефрейторов, столько же виц-ефрейторов да до 100 дядек. Должностные отличались по значкам на погонах. Фельдфебелями и правящими были учителя-унтер-офицеры и просто унтер-офицеры; в капралы же — десяточные ефрейторы и виц-ефрейторы — выбирались из среды самих кантонистов такие, которые отличались ловкостью и, главное, красотою.

— Вставать, вставать! — раздалось по комнатам на разные голоса.

Кантонисты мигом встали и принялись: кто застилать кровать, кто расправлять брюки, обчищать куртки; шли умываться. Спустя четверть часа всех согнали одеваться на заднюю линию, а на переднюю выступили дневальные, начали сбрызгивать водой из рта пол, подметать его, стирать поднявшуюся густым столбом пыль. Далее одетые в куртки мальчики подвергались осмотру: новички — со стороны дядек, дядьки — виц-ефрейторов, виц-ефрейторы со всеми вместе были осматриваемы ефрейторами. Всякий высший начальник старался находить неопрятность, неисправность в одежде низшего, ему подведомого начальника и тут же щипал его за волосы, рвал за уши, бил кулаком; а наказуемый, лишь только освобождался от наказующего, немедленно придирался к своему подчиненному и на нем вымещал свою боль. Таким образом, побои передавались до новичков включительно; им бить уже некого было.

— Второе капральство, на молитву! — раздался голос правящего, и человек 70—80 столпились в угол, к образу. Правящий задал тон, и кантонисты запели. Но правящий недоволен.

— Если завтра так же плохо споете, как сегодня, — говорит он, — всех без обеда оставлю. Теперь по местам — иду койки осматривать.

Кантонисты мигом очутились возле своих кроватей и принялись взбивать мочальные подушки, обтягивать простыни, одеяла. А правящий с капралом, вооруженным пучком розог, пошел осматривать кровати. Отворачивал где одеяло, где тюфяк; приказывал выдвигать кроватный ящик, вынимать из него вещи, заставлял при себе же опять складывать их по установленной форме и прятать обратно в ящик, но прятать так, чтобы посередине ящика непременно лежали: полотенце, гребенка, ложка и зеркальце, если оно имеется. Видно, того требовал порядок.

— Капралы! За хлебом! — раздался по комнате новый крик по окончании осмотра кроватей.

Капралы отправляются на зов к фельдфебельской каморке, возле которой расположен стол; на нем поставлены чернильница, песочница, счеты, какие-то бумаги и в жестяном подсвечнике горит сальная свеча. У стола сидит заспанный кантонист лет 17. Это ротный писарь и его канцелярия. Подойдя к столу, четыре капрала, люди с писарем близкие, сели: кто на табурет, кто на окно, кто и на стол, а на приличном от них расстоянии стали навтыжку человек десять простых кантонистов, пришедших за хлебом для капральств. На ближайшей к столу кровати стояли две огромной величины корзины с нарезанными ломтями.

— В первое капральство отпусти 63 ломтя, — приказывает писарь дежурному ефрейтору, заведующему хлебом.

— Ну уж и 63! — возражает капрал Бирков, стройный 18-летний юноша. — Прибавь, Петя, ломтей десять на мое рыло; я, чай, знаешь, люблю поестъ.

— Прибавь ему десять ломтей, — велит писарь дежурному. Потом, обращаясь к Биркову, прибавляет: — Чур, помнись: у Рудина в классе урок не спрашивай, а то учитель испортит оплеухами всю его «маску» (красоту), тогда всем нам житья не будет от фельдфебеля.

— Во второе капральство 65 ломтей, в третье — 80, — продолжал Бобров.

— Ты, Петя, в уме али нет? — заговорил капрал Андреев. — А на прибывших? Их ведь шесть человек.

Бобров хватает рапортничку, счеты и щелкает костями.

— Твои прибывшие пропущены, — решает он. — Ну да они, я думаю, еще деревенских кокурок (сдобные сухие лепешки) не доели. Завтра вытребую, а сегодня пусть так останутся.

— Как же без завтрака!

— Да очень просто: на нет и суда нет.

— Что же ты делаешь? Одним по 15 ломтей лишних, а других голодными оставляешь, — вмешивается капрал четвертого капральства Калинин.

— Тебе-то что надо? — прерывает Бобров. — Думаешь, и тебе прибавлю? Как же, держи карман.

— Прибавить не прибавишь, а и недодать не смеешь.

— Наушничать, что ли, пойдешь?

— И этого не сделаю, а при всех же фельдфебелю пожалуюсь: пусть он нас рассудит.

— Без году неделю и капралом-то, а уж туда же рот разевает! На отца надеешься, вот тебе и черт не брат.

— Надеюсь ли я на кого, либо нет — это дело постороннее, а уж за свое капральство постою.

— За свое капральство? Да стоишь ли ты быть капралом-то? Попал в капралы из-за «маски» да тятеньки и туда же, храбрится! Настоящее-то твое место ведь в слабых (новичках), а не в ординарцах да в знаменщиках.

— В дележ хлеба все это не подходит. Я ни во что не напрашивался!

— Молодец, Митя, ловко огрызаешься, — перебивает Бирков. — Ах вы мои кралечки этакые.

— А сам-то, сам-то разве не «маска»? — возражают Рудин и Андреев.

— Напрасный труд: я сам того и гляжу...

— Вот, братцы, что значит надеяться-то! — молвит Андреев. — Тебе, Митя, спола-горя смеяться над другими, коли знаешь, что тебя побоятся трогать.

— Не будь-ка у тебя отца, тоже бы...

— Полно вам, дьяволы, такие разговоры-то здесь вести: услышат, а не то из вас же кто-нибудь перескажет, тогда мне, того и гляди, придется в чужом пиру похмеляться. Додай, Панкратьев, в третье и четвертое капральства по шесть ломтей лишних против наличного числа, и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Тут надо рапорт сочинять, а с вами только с толку собьешься.

Получив хлеб, капралы отправились восвояси, там созвали к себе десяточных ефрейторов, роздали им завтраки на их десятки, так же по числу людей; те перенесли хлеб на свои кровати и делили его десяткам через дядек и вице-ефрейторов. И ломоть черствого хлеба в четверть фунта весом кантонисты с жадностью съедают, воруя и отнимая друг у друга; те же, кого начальство за беспорядок лишило этого лакомства, с завистью поглядывают на счастливых.

После завтрака по команде капрала все выстроились. Капрал пожелал произвести смотр своих кантонистов.

— Иванов, отчего без пуговицы? — строго спросил он.

— Все, кажись, есть, — ответил спрошенный. — Право, все.

— Еще уверяешь — все, а это что? — Он подошел к нему и указал на незастегнутую пуговицу. — Это что?

— Да их так много, что и не пересчитаешь, — оправдывался виновный. — Эх ее угородило отстегнуться. — Он живо ее застегнул. Пуговиц было на борту куртки счетом 6.

— Кто дядька?

— Эвон стоит — через двух отселева.

— Семенов, осматривал ты своего племяша?

— Да-с, осматривал.

— И не видал, что он становится во фронт расстегнутый?

— Он был застегнут; надо быть, после как-нибудь...

— По-вашему, вы оба правы, а по-моему, виноваты, да и виноваты не вы, а ваши глаза, руки. По глазам нельзя бить. Ну-ка, Семенов, левую руку ладонью вверх!

Семенов побагровел, но повиновался. Капрал ударил распущенными прутьями розги прямо по пальцам дядьки. Тот позеленел, затрясся, но не пикнул, мгновенно поднес руку ко рту и стал дуть на пальцы.

— Постой, постой дуть-то. Правую вперед!

Семенов исполнил. Капрал хлестнул и по ней розгой. У Семенова показались слезы.

— На место! Ну-ка ты, подай сюда руку, — продолжал капрал, обращаясь к Иванову.

— Ни за что не дам. За что ж это так драться-то? — визгливо заговорил Иванов. — Хоть убей, не дам.

— Не дашь?

Рассерженный капрал схватил его за голову и стал стегать по спине. Иванов кричал изо всей мочи, барахтался.

Пронзительный крик его привлек внимание правящего, который и подошел к фронту.

— Молчать! — крикнул он на Иванова, и тот реветь перестал, но все еще всхлипывал. — Сергеев! С правой ноги сапог долой, — приказал правящий. — Покажи портянку.

Сергеев показал. Она была черновата.

— Розог! — крикнул правящий. — Моих сил не хватает смотреть за вами. За всех в ответе один я. Так я ж вас выучу, канальи!

— Становиться в роту! — прокричал дежурный унтер, проходя по комнатам.

Выстроилась и рота в самой большой комнате. Издали показаться фельдфебель в сопровождении своей свиты, унтеров и капралов. Важно, горделивою поступью пошел фельдфебель по фронту и одного, неровно стоявшего, нарядил на часы, другому посулил розог; вообще не поскупился на распоряжения в подобном роде.

— Классные в класс, а остальные по десяткам, и начать одиночное учение, — заключил фельдфебель и отправился пить чай восвояси.

Рота разделилась по комнатам на отряды, человек по 15—20; десяточные ефрейторы выступили вперед.

— Смир-р-рно! — скомандовал своему десятку ефрейтор Пахов.

Кантонисты вытянулись в струнку.

— Равняйся!

Все выравнились. Ефрейтор зашел с правого фланга, взглянул — хорошо; с левого — тоже.

— Глаза напра-во!

Мигом голов двадцать повернулись.

— Пря-мо!

Глаза опустились прямо.

— Глаза нале-во!

Один опоздал.

— Это что! Что ты о деревне, что ли, думаешь во фронте? — говорит ефрейтор и начинает драть провинившегося за волосы. Кантонист искривляет физиономию, пищит, ежится, а ефрейтор приговаривает: — Что? Верно, против шерсти? Против шерсти, а? Помни, что стоишь во фронте, а не за сохой, помни. Пол-оборота напра-во!

Кантонисты повернулись на пятках.

— Во фронт!

Кантонисты исполнили и это.

— Пол-оборота нале-во! Во фронт! Шеренга напра-во! На руку дистанция.

Кантонисты отодвигаются и, накладывая руки на правые плечи впередстоящих кантонистов, вскоре же опускают их по швам.

— Тихим учебным шагом в три приема, ра-а-а-аз!

Кантонисты медленно и осторожно выдвигают вперед левую ногу, держась на одной правой и стараясь не шаркнуть об пол.

— Хорошенько вытянуть носок! Корпус держать прямо, грудь вперед; Хохлов, подбери брюхо, чай, не мужик.

Ефрейтор обходит шеренгу, внимательно оглядывает каждого, все ли в нем исправно, потом возвращается на середину, шага на четыре от шеренги.

— От-ставь.

Ноги мгновенно убираются на свое место.

— Ра-а-аз...

Ноги вновь выдвигаются.

— Дв-ва-а...

Ноги плавно поднимаются вверх до тех пор, пока сравняются с животом.

— На ноги не дрожать, корпусом не шевелить, руками не болтать.

Ефрейтор опять обходит шеренгу, но у кого-то нога от долгого держания на весу затряслась сильнее и сильнее, а потом опустилась на пол.

— Ты, р-р-разбойник, не хочешь стоять? Стоять не хочешь? Я тебе задам.

Мгновенная расправа.

— Дв-ва-а...

«Разбойник» поднял голову.

— Три!

Шеренга живо опустилась на левую ногу.

— Ра-а-аз! Два-а-а! Ра-а-аз! Два-а-а!

И попеременно поднимаются на воздух то правые, то левые ноги.

— Тихим учебным шагом в два приема, ра-а-аз!

Левые ноги прямо поднялись вверх.

— Два-а-а!

Ноги опустились.

— Не шевелиться!

— Тихим учебным шагом в один прием, ра-а-аз!

Все мгновенно подняли ноги и протяжно сделали шаг вперед.

— Ротный командир! — раздалось издалека.

— Во фронт! — скомандовал ефрейтор. — Хорошенько откашляться, подтянуться, выравниваться.

Фельдфебель выскочил из своей коморки, подбежал к ротной канцелярии, схватил какую-то бумажку и поспешно направился было навстречу ротному.

— Гаврило Ефимыч! — остановил его ротный писарь Бобров. — Рапортчика-то ведь не подписана...

— Сто раз, кажется, я тебе, шмара проклятая, приказывал подписывать за меня самому, а ты? Не умничай лучше да не

толкуй о том, что до меня не касается. Уж я когда-нибудь спущу тебе шкуру, непременно спущу. Подпиши!

И фельдфебель бегом пустился к ротному.

В комнату роты вошел средних лет толстый рыжий офицер; лицо его было без всякого выражения, дряблое, отвислое, только быстрые серые глаза его как-то дико светились. Это был капитан Живодеров. Происходил он из дворян, воспитывался в кадетском корпусе, служил в заведении лет 15—20 с прапорщичьего чина и между офицерами считался старшим и даже пользовался почетом.

— Здравствуй, — процедил сквозь зубы Живодеров фельдфебелю, когда тот отрапортовал ему о благополучии.

— Желаю здоровья, ваше благородие.

— Здорово, ребята! — обратился Живодеров к кантонистам.

— Здоровия желаем, ваше б-родье! — гаркнули кантонисты во весь голос.

Приветствие «Здравствуй», а не «Здорово» означало хорошие интимные отношения между здоровоющими. С такою фамильярностью ротные обыкновенно обращались только к фельдфебелям.

— Продолжать ученье, — произнес Живодеров, направляясь дальше.

— Не угодно ли вашему благородию трубочки покурить? — вкрадчиво предложил фельдфебель.

— Пожалуй, — согласился Живодеров и пошел в фельдфебельскую комнату, где выпил из знакомого ему глиняного кувшина изрядный стаканчик-другой, и, сделавшись значительно веселее, вышел к учившимся.

— Шеренга, напра-во! — командовал ефрейтор.

— На пять шагов дистанция, скорым шагом мар-р-рш!

Все двигалось в стройном порядке, а ефрейтор громко держал такт, считая: раз-два, раз-два.

— Носок, носок вытягивать, — крикнул наконец Живодеров. — Я здесь!

Это «я здесь» коротко было знакомо кантонистам по своим тяжелым последствиям.

— Нале-во кру-гом! — поворачивал ефрейтор.

Кто-то споткнулся.

— Стой, — рывкнул Живодеров. — Розги здесь?

— Иванов, принеси розог! — передал фельдфебель ефрейтору.

— Отчего здесь нет? — спросил, побагровев, Живодеров. — Я сколько раз приказывал, чтобы во всех комнатах были розги? Ждать теперь? Смотри! — погрозил он фельдфебелю.

— Сегодня, ваше благородие, полковник изволили обещаться зайти, — оправдывался фельдфебель. — Потому я распорядился убрать для чистоты...

— Тут что хочешь может быть лишнее, но не розги. Это и полковник знает. Без розог нечего здесь и делать. Понимаешь ты... а?... Понимаешь или нет?

— Точно так-с, ваше благородие.

— Эй ты, Фокин, вперед.

Помертвевший мальчик вышел из перенги.

— Ну, как теперь его драть? — громко спросил Живодеров. — Как бы так, чтоб и ловчей и больней было? Не выдумал ли ты какого-нибудь нового метода? — отнесся он к фельдфебелю.

— Ежели угодно, прикажите ему, ваше благородие, взяться, не раздеваясь, за носки руками. Эдакого манера они шибко трусят...

— А?... А?... Возьмись-ка, любезный, за носки, — заговорил Живодеров.

— Простите, ваше благородие, никогда больше не заметите! — взмолился Фокин.

— Не будешь — твое счастье, сечь не буду. Ну, а теперь нагнись-ка. Ефрейтор, валяй!

Фокин повиновался, но после первого же удара выпрямился. Живодеров повторил приказание:

— За носки.

Фокин, получив удар, страшно завыл и опять выпрямился.

— Счастливая мысль, благая мысль. А, та-та-та! Брюки долой! Разденься — и за носки!..

Фокин плакал, медлил.

— Исполнить! — крикнул Живодеров другим кантонистам. Фокина хлестнули распушенными прутьями, но на этот раз он уже не только выпрямился, а грохнулся навзничь об пол.

— По животу теперь его, по животу: встанет. А, та-та-та! Хорошо, хорошо! А, та-та-та! Напал, напал-таки наконец на мысль! — неистовствовал Живодеров. — Проба хороша, отличная проба. За носки, за носки и взад и вперед, взад и вперед, брюхо тоже не жалеть. За носки!..

— Полковник идет! — доложил кто-то.

— Довольно, пока довольно! — произнес Живодеров и отправился навстречу начальнику заведения. Описанный способ наказания ему между тем так понравился, что он ввел его в частое употребление к невыразимому ужасу и отчаянию кантонистов.

— Открыть ящик вот этой кровати! — приказал начальник после обычного здоровья. Он был маленького роста, круглый, белокурый, с серыми навывкате глазами, по фамилии Курятников.

В ящике обстояло все благополучно.

— Позвольте, капитан, узнать, отчего вон под тою кроватью пыль? — продолжал начальник, указывая пальцами вдаль.

— Не вижу, господин полковник, право, не вижу-с, — отозвался Живодеров. — Глазами, надо полагать, плох стал. Извините.

— Если вы не видите пыли, так я слышу от вас запах водки, понимаете, водки? Вы на учении, на службе — что же это?

— Виноват-с, господин полковник, виноват... для подкрепления... нездоровится что-то.

— Так надо, по-вашему, пить? Нет-с! Хотите служить — будьте исправны, не хотите — марш в отставку. Я других найду; да, найду других, да таких, которые будут прилежны, которые с женами драться не станут. У меня здесь не богадельня и не кабак-с. Последний раз делаю вам выговор, а дальше я с вами и говорить не стану.

Полковник ушел. Живодеров потребовал виновных. Виновным (под чьей кроватью была пыль) оказался новичок, но так как он новичок, то и его дядька.

— Мне делают выговор, меня распекают, а я буду на вас любоваться? Нет, ребята, шалите. Раздеваться!

Минут пятнадцать спустя оба были выдраны вновь изобретенным манером.

Часов в одиннадцать учение кончилось. Кантонисты разбежались. Живодеров, совершенно довольный, ушел домой. Живодеров не мог жить без драки. Он был не в духе, когда ему не удавалось выдрать кого-нибудь в роте, и тогда совершал побоище дома. Вследствие этого лишь только наступит, бывало, 12-й час — время возвращения его из роты — семья его уж зорко глядит в окна, в каком виде идет хозяин: если верх его шапки нахлобучен на кокарду — все бегут, прячутся кто куда может. Но прихода, часто случалось, не устерегали. И вот он, войдя в комнату и бросив шапку на пол, напустился на сына.

— Ты что, урок не учишь?

— Я, папенька, уж выучил. Учитель поставил 6 баллов, — вкрадчиво и с подбострастием отвечает старший его сын, мальчик лет 16, а сам так и норовит тягу дать.

— Ну, а ты зачем в зубах ковыряешь, разве у тебя нет другого дела, а? — обращается он к младшему сыну.

— У меня, папенька, зубы болят, — объясняет сын, дрожа от страха.

— Тем хуже, значит, бегаешь по двору, простуживаешься. Я вот тебе полечу зубы. Я тебе дам шалить. Эй, Афонька, розог!

И начинается секуция.

Участь дочери — девушки уже на возрасте — была не лучше. Отец, будучи не в духе, бывало, подойдет к ней, остановится и упорно глядит то ей в лицо, то на ее работу. Дочь крепится, крепится; не станет ей втерпеж, уткнет голову вниз да заплачет. А этого только Живодеров и ждет.

— Так вот ты какова, змея подколодная! На отца и глядеть не хочешь, он тебе противен, он вас не стоит? А кто же загубил мой век — не ваша разве мать с вами, щенятами? А кто вас кормит, кто станет готовить вам приданое, кто будет искать жениха? Так вот за все это отец — зверь, отец вам ненавистен, про отца сплетни распускаете?.. Нет! Я заставлю встречать себя весело, а не со слезами... Афонька, розог сюда!

Несчастливая девушка, подобно братьям, подвергается истязаниям. Истерический вопль ее еще более раздражает Живодерова.

— Так ты еще орать? — воскликнул он с пеною у рта. — Так ты еще с норовом, тебе, верно, мало? Целая рота по первому моему знаку замирает, а тут дрянная девчонка от рук отбивается, слушаться не хочет... Нет! Я из тебя выбью этот норов, выбью! — И он впадает в азарт, хватается за розгу и самолично чинит расправу...

Неистовый шум и дикие стоны долетают до слуха матери, которая прибегает освобождать дочь и вступает в ратоборство с мужем.

— Ванька, Афонька, сюда, сюда скорей! — кричит Живодеров в пылу неистовства после некоторой борьбы с женою из-за жертвы — дочери. — Растяните-ка это чертово отродье, растяните да впересушку ее, эту корову, впересыпку!

И жена, так же, как дети, как кантонисты, подвергается наказанию. Нередко, впрочем, Живодерову удавалось запираить жену под замок в спальню на время, пока он истязает дочь. Дом Живодерова после каждой повальной экзекуции переворачивался вверх дном на несколько дней, но потом все входило в обычную колею до следующего погрома. Как у жены, так и у дочери синяки и царапины почти не сходили. Жена постоянно жаловалась на мужа и начальнику, и знакомым, но толку от этого было мало: начальник выговаривал только ему, журил его слегка, а знакомые интересовались рассказами несчастной матери только потому, что видели в них материал для городской сплетни.

Двенадцать часов. По ротам заведения прошел горнист, трубя в рожок сигнал, призывающий к обеду. За ним слышалось приказание: «Прислуга в столовую», — и шло туда мальчиков 15—20 из роты. Прислуживали за столом поочередно под наблюдением ефрейторов все простые, то есть нечиновные кантонисты. По приходе в столовую, разделявшуюся на две громадной величины половины, прислуга надевала фартуки, шла за хлебом, раскладывала его по местам, получала в больших деревянных чашках щи, причем в них опускалось счетом на каждого человека по два

* Он женился в первой молодости по любви на мещанке и вследствие этого считал век свой загубленным.

кусочка говядины, мелко накрошенной. Окончив эти приготовления, прислуга становилась возле стола и ожидала прихода рот.

Рассадка по местам производилась по команде, причем начальство пользовалось привилегией — кушать отдельно от прочих.

Дети позволяли себе, стоя в комнатах фронтом до отправки в столовую, некоторые развлечения.

— Давай, Ершов, ложками биться, — предлагает мальчик Пименов.

— А ежели разобьешь, при чем же я-то останусь?

— Может, ты мою разобьешь! Это ведь на счастье. Давай, что ли! Была не была — попробуем!

Ершов колеблется.

— Трус, трус, — подстрекают его одни.

— Не бейся, Ерш: без обеда останешься, — предвещают его другие, — у него ложка дубовая, и он ею не токма твою березовую, а какую угодно ужокошит.

— Что ж, бьемся али нет?

— Бьемся! — решает Ершов. И, выставив вперед наружную сторону дна ложки, он держит ее за черенок.

— Держись! — напоминает Пименов, размахивает в воздухе рукой, ударяет своею ложкою по ложке Ершова, и та разлетается на части.

— Молодец, Пименов, право, молодец, — одобряют одни.

— Ну что, храбрец? — дразнят Ершова другие. — Беги скорей за ложкой, не то за второй стол останешься.

У Ершова наворачиваются на глазах слезы.

— Иди же, тебе говорят, ложку добывай скорей, пока не повели в столовую, — подхватывает и Пименов. — А вы, ребята, никто, помни, не дерись со мной на ложках, — предупреждает он близких товарищей. — Захочу — всех оставлю без обеда.

— Дайте, братцы, ложку — сходить пообедать, — жалобно просит Ершов, выйдя на заднюю линию к оставшимся за второй стол. — Дай, Меринов, будь друг!

— Я сам за стол пойду, — сердито отвечает Меринов.

— Дай, Вася, ложку — сходить пообедать, — просит Ершов у другого.

— Ложку? Гм... — отвечает, гримасничая, Панков. — Да ты из каких?

— Ведь за второй стол пойдешь, чего ж жалеть-то...

— А для чего бы тебе не идти за второй, а бесприменно мне?

— Да у меня и место занято, и ложка была...

— Была да сплыла. Уступи-ка ты лучше свое место мне, а я совсем подарю тебе за это ложку. Ложка, правда, старенькая, с

* Казенных ложек никому никогда не давали.

отгрызенным краем, ну а хлебать ничего, все-таки можно; кашу тоже изрядно поддевает. Согласен, что ли?

Но Ершов уж обращается к третьему.

— Полно канючить-то по-пустому: будь уверен, никто не даст, ведь это народ — все сквалыги, — вразумляет Панков Ершова.

— Фельдфебель идет! — раздается по комнате.

— Уступи же, Ершов, место-то, право, подарю ложку: не то смотри: фельдфебель узнает про ложку и задаст тебе перцу-азра...

— Ну займи уж, — горестно соглашается Ершов, — только ложка-то уж моя.

— Не сумлевайся, обмануть — не обману. — И Панков очутился на месте Ершова.

— Что, Ерш, без обеда? — насмешливо крикнул ему Пименов, высунув язык.

— Подожди, смутьян ты проклятый, — погрозил ему Ершов издали. — Я тебе уж на ученье-то выквитаю...

— Обтянуть шинели, пуговицы... крючки... волосы пригладить! — говорил между тем фельдфебель, обходя фронт. — Идти в ногу, начальнику смотреть в глаза — весело! Есть тихо, не шуметь, вставать разом, после сигнала, и хлеба не красть. Попадется кто — с шеи до пят всю шкуру спущу! Марш!

Рота отправилась обедать «вольным шагом и в ногу».

Заняв в столовой свои места, кантонисты стали лицом к образу. В средней двери появился певческий регент, унтер, и задал тон.

Кантонисты запели.

— Отставить! — крикнул вошедший полковник. — Снова!

— Отче всех, на тя, на тя, Гос-спо-ди...

— Черт вас подери! — крикнул полковник. — Разве так надо? Короче, короче, — говорил он, стуча ногами и как бы показывая движением их, как надо. — Отставить.

Пение прерывается.

— Начинай еще...

— Отче всех, на тя, Господи, уповают...

— Стой! Ну уж я вам дам «уповают». Перепорю вот чрез девять десятого, так вы у меня будете «уповать». Разве «Отче всех», — передразнивает полковник, — а? «Очи», а не «Отче»... Ну еще?.. Начинай...

— Очи всех на тя, Господи, уповают, — поют кантонисты, а полковник притопывает ногами. — «И отверзаеши щедрую руку твою...»

— Скверно! Я вас передеру, непременно передеру! Продолжай: «Щедрую-ю ру-ку мою».

— Щедрую руку твою и исполняеши всякое животное благо-воление.

— Вот тебе «благоволение», вот тебе «благоволение», — приговаривал полковник, отсчитывая улыбнувшемуся правящему удар за ударом по лицу.

— Садись! — скомандовал дежурный офицер.

Кантонисты сели и с какою-то дикою, волчьей жадностью начали есть. Полковник пошел мимо обедающих.

— Отчего за этой миской не шесть человек, а только пять человек? — спрашивает он, останавливаясь около одного стола.

Ответа нет.

— Почему тут нет шестого, спрашиваю я?

Дежурные переминаются, кантонисты бледнеют и краснеют.

— В нехорошей пинели был и вернулся назад: испугался, что ваше скородье тут! — решил ответить один из пятерых.

— А где ломоть хлеба, который положен был для этого шестого? Молчание.

— Ну... где... а? — грозно тараща глаза, спрашивает полковник.

— Съели-с... — вполголоса отвечают двое, среди которых не оказалось шестого.

— Врете, черти, спрятали? Кто спрятал, скажись, а не то до смерти заporю.

— Мы съели-с пополам-с... — жалобно заговорили двое. — Простите, ваше скородье!

— А зачем съели? Разве вам не было положено по ломтю?

— Крошечные уж очень попали-с, помилосердствуйте ваше...

— Ах вы, обжоры проклятые, вам все мало. От земли не видать, а уж в три горла, черт вас поberi, жрете-то.

— Никогда не будем; в первый и последний раз.

— Нарядить на часы этих двух обжор на полночь (вторую смену), а остальных — на первую и третью смену.

Первые чашки щей везде уж выхлебали. И прислуга забегала во всю свою детскую прыть опять за щами, хлебом и квасом. Второй хлеб был уж не целые ломти, а кусочки, корки и обглодыши. Вторые щи гораздо жиже первых и уж без говядины, а второй квас разведен водою. Но и это все естся и пьется с чудесным аппетитом в ожидании каши, которой давалось полчашки на шесть человек. Подали кашу. Все с азартом начали ее расхватывать, обжигали рты, давились и спешили зачерпнуть возможно больше. На одном из концов стола вылетела на середину комнаты ложка без черенка, и там же раздался смех.

— Чья ложка? Что за смех? — крикнул начальник и живо очутился на месте происшествия. Кантонистов, около которых он остановился, покорило. — Чья ложка? — повторил он.

— Моя-с... — тоскливо произнес худенький белокурый мальчик.

— Как она очутилась на середине, сломанною?

— Виноват, ваше скороде: я нечаянно опустил ее в чашку и хотел вынуть, а вот он, Плюев, ударил меня по руке, а Другов ударил по самой ложке, сломал ее и швырнул на пол. Простите, ваше скороде.

— Ты, Плюев, как смел бить его по руке?

— Он полез, ваше скороде, голой рукой в чашку, — оправдывается Плюев. — Кашу едим, а он в нее руку сует; может, он где допрежь ее держал...

— А ты, Другов, зачем сломал ложку и выкинул?

— Я хотел вытащить ее. Я припер ее ко дну, чтобы вынуть, да ткнул чересчур шибко, она и вылетела...

— А вы чего захохотали?

— Виноваты-с... Смешно стало, ваше скороде, как Григорьев вытащил из чашки руку всю в каше, да прямо ее в рот, и облизывает кашу-то.

— Ты ж зачем сунул руку в рот?

— Да больно-с, ваше скороде.

— Так вы шалить? Дать им всем ужо по пятнадцати.

Кантонисты повесили головы и замолчали, зная, что значит пятнадцать.

Горнист сыграл — вставать. Обедавшие вскочили. Многие не доели еще кашу и глядели на нее с жадностью. Спели послеобеденную молитву, опять вперемежку с ругательствами начальника.

— Выводить роты! — крикнул он. — Да обыскать хорошенько.

Роты, одна за другой, пошли человек от человека на три шага расстояния; в дверях два солдата ощупывали и обшаривали каждого с головы до ног и нашли куски хлеба: у одного в рукаве шинели, у другого под мышкою, у третьего привязанным за шнурок шинели сзади между сборками, у четвертого под брюками, у пятого за голенищами сапог и т.д. Всех их вывели, одного за другим, на середину. Начальник потребовал розог, и их принесли пучков сто; воров было до пятидесяти человек.

— Раздеться и ложиться всем рядом! — приказал он. — Считать верно, драть хорошенько; в противном случае и дерущих разложу. Всем по полсотне.

Воры растянулись, розги засвистали. Поднялся неимоверный крик, вой и стон на всевозможные голоса.

— Довольно! — крикнул начальник, отсчитав определенную цифру.

Всклипывая, бросились наказанные из столовой, застегиваясь и оправляясь на бегу.

— Что ты, Ваня, так долго замешкался? — спрашивает Ершов в дверях роты только что вернувшегося Панкова. — Уж не попало ли?

— Пошел к черту! — злостно отвечает Панков.

— Как же это ты вздумал при нем хлеб уводить? — с участием допытывает Ершов.

— Ведь всего-то пол-ломтя и захватил! — говорит, плача, Панков.

— Сам, брат, напросился. Дай же ложку!

— Сам напросился? А вот не дам ложки, да и все тут. Отстань от меня.

— Чай, сам сказал: «Дам», — где же честное-то слово? И туда же еще, земляк прозываешься.

— Уведешь два ломтя хлеба — дам ложку, не уведешь — нет тебе ложки.

— Ежели его не будет в столовой — попытаюсь: без него легче. Дай же ложечки, а то опоздаю.

— Ну хоть ломоть да уведи беспреренно. На ложку.

— Можно будет, известно, не прозеваю.

За вторым столом пища была еще хуже; зато начальник уходил иногда домой, молитвой уже не донимали, и кража хлеба производилась несравненно удачнее. Поэтому опытные воры, жертвуя кусочком говядины первого стола, ходили постоянно за второй и выгадывали на хлебе. Укравши несколько кусков, кантонист торжествовал, потому что за кусок хлеба покупались лист бумаги, иголка, две-три костяшки, от двух до пяти ниток, нанимались воду носить, пол подметать, стояли на часах по три часа ночью и прочее и прочее.

Вернулся от обеда и Ершов.

— Ну что, увел? — поспешно спросил Панков.

— Не кричи: опасно! — таинственно отвечает Ершов. — Нешто не видишь, фельдфебель ходит и глаза пучит на всех.

— Полно пустяки городить! Хлеб есть?

— Известно, есть. Два ломтя увел: тебе один и себе один. Идем в умывальню, там отдам.

— Экий ты, Ерш, счастливец какой!

— Есть чему завидовать, нечего сказать! Ломоть хлеба достал, а ложку погубил.

— А я-то разве не ложку дал?

— Обгрызенную-то?

— Все же лучше, чем вовсе без ложки.

Оба торопливо вышли в дверь.

— Иванов, Абрамов, Гашкин и Панков! К фельдфебельской! — крикнул капрал.

У фельдфебельской каморки выстроились человек десять кантонистов.

— И ты, Патрахин, попался, — начал фельдфебель. — Хорошо, что я мигнул служителю и он тебя выпустил, а то ведь больно постегали бы. Зачем ты крал хлеб?

— Да после учения всегда есть хочется, — смело отвечал спрошенный. — Купить что-нибудь поесть — не на что: все деньги

истратил, со двора идти за ними еще надо ждать воскресенья, а до тех пор хоть умирай с голода; ну я, Гаврило Ефимыч, и украл. Я и начальнику так бы прямо сказал. Что ж, в самом деле, голодом нас морят?

— Когда есть захочешь, приходи к моему камчадалу (лакею) и от моего имени спроси у него хлеба.

— Покорно благодарю-с...

— А часто бывает капитан у твоего папаша (он был незаконнорожденный сын одного значительного в городе барина, который официально покровительствовал ему и вел знакомство не только с ротным, но и с самим начальником заведения)?

— Очень часто: редкий праздник я их там не вижу-с. В карты играет, вино пьет, ну и разговаривают.

— А обо мне поминает?

— Как же-с, поминает, часто поминает.

— Что ж, ругает али хвалит?

— Хвалит-с, всегда хвалит. Говорит: «Вся рота на вас держится».

— А папаша спрашивает тебя когда про меня?

— Точно так-с.

— Ну и ты меня хвалишь?

— Да-с, хвалю. Он наемни сказал: «Поблагодарю, говорит, полковника за него (то есть за вас), как увижусь с ним, да и посчитаюсь с ним кстати за то, что детей худо кормит».

— Всегда, смотри, хвали меня. Ты ведь молодец. Желаете быть ефрейтором?

— Никак нет-с, не желаю.

— Отчего?

— Да тяжело: ефрейтору за весь десяток приходится отдуваться, а простому-то кантонисту одному только за себя.

— Десятком другой будет править, а ты станешь значки носить и по роте дежурить. Хочешь?

— Так, пожалуй, согласен.

— Эй, Калинин! Храмова утвердить ефрейтором нельзя: он корявый. Так пусть он правит десятком, а Патрахиноу нашить значки.

— Нешто это справедливо? — замечает Калинин.

— Ну, молчать! Что велят, то и делай.

— Я вам докладываю, что Храмову это обидно, потому за что же и стараться-то, коли старания пропадают даром?

— Замолчи же, а то уши оборву.

— Что ж, рвите: я за правду стою, а вот погляжу, погляжу да и, право, пожалуюсь... Про все до полковника дойдет от казначея...

— Ну черт с тобой! Оставайся со своим Храмовым. Ты, Патрахин, все равно будешь ефрейтором на этой же неделе в другом капральстве. Ну, а вы, сволочь, перестанете хлеб воровать? —

продолжал фельдфебель, относясь к шеренге. — Молите Бога, что Патрахина простил, вперед не попадаться. По местам!

— Слава Богу, что с нами Патрахин попался! — вздохнули попавшиеся в воровстве хлеба, разбегаясь по комнатам.

— А что?

— Да то, что кабы не его «маска» — всех бы перепороли.

Час отдыха. В это время кантонисты починаяют платья, чистятся к новому учению, учат уроки, пунктики, артикулы, а кому решительно нечего делать (таких, впрочем, не бывало), те могут, сидя на кроватях задней линии, шепотом разговаривать, дабы не разбудить спящих: правящего и капрала, которые одни только имели право спать после обеда.

В половине второго снова начинается учение, сопровождаемое обычными уборкою, подметаниями, смотрами, щипками, затрепинами и розгами. Тем только и легче, что на это учение редко является начальство, так что истязания оказываются менее жестокими.

В пять часов — новая мука: учение, так сказать, духовное. Молча, с замиранием сердца, усаживаются кантонисты на кроватях задней линии по десяткам. Племяши помещаются возле дядек — с одной стороны, не племяши и не дядьки — с другой, а посередине — виц-ефрейтор и ефрейтор. Кантонисты держат в руках тетрадки, книжки, а кто просто лоскуток бумаги.

— Иванов! — начинает ефрейтор. — Играй сигнал направо.

— Та-та-тра-ди-та-ти! — выигрывает Иванов языком нараспев и бледнеет.

— Про-ва-а-л тебя возь-ми-и! — так же нараспев отвечает ефрейтор. — Разве так? Играй снова!

— Та-та-то, та-та-то!

— Врешь! Долго ли мне с тобой мучиться-то, а? Высунь язык да побольше.

Иванов исполняет, ефрейтор ударяет кулаком ему в подбородок, он прикусывает язык, весь вздрагивает, но не только не кричит, а еще рад, что так дешево отделался; усевшись на свое место и взглянув на соседа, Иванов нервически улыбнулся. Ефрейтор заметил:

— Ты что, уж смеешься? — крикнул он. — Сейчас же на колени и сундук в руки!

Иванов становится в промежутке кровати на коленях, выдвигает из-под кровати сундук с ефрейторскими вещами фунтов в двадцать весу, берет его на руки, поднимает на уровень с головою и держит; но руки дрожат, сам он краснеет, пыхтит от тяжести наказания, а опустить сундук не смеет.

— Федулов! — продолжал между тем ефрейтор. — Кто у тебя бригадный командир?

— Генерал-майор и кавалер Иван Федорович Драконов.

— Молодец.
— Рад стараться, Иван Егорыч.
— Арбузов! Как солдат должен стоять?
— Солдат должен стоять столь плотно, сколь можно, держась всем корпусом вперед, и...

— Зачастил да и думаешь, не пойму? Нет, шалишь. На колени... на кирпич...

— Простите, Иван Егорыч, я, ей-богу, запомятовал.

— Без отговорок!

Вынули из кроватного ящика набитый крупной солью кирпич в тряпке и рассыпали его по полу.

— Засучи штаны.

Арбузов засучил штаны выше колен и стал.

— Теперь я тебе напому, как солдат должен стоять, — заговорил снова ефрейтор, — солдат должен стоять прямо и непринужденно, имея каблуки вместе столь плотно, сколь можно, и держась корпусом вперед. Слышишь?

— Выучу-с, ей-богу, выучу, Иван Егорыч, только сжальтесь, пожалуйста, страх больно.

— Простите, — подхватил Иванов с сундуком в руках.

— Я уж это слышал «выучу». Постойте-ка, авось тверже запомните. Фельдман! Кто у нас капральный ефрейтор?

— Кантонист Евгений Васильевич Бирков.

— А военный министр?

— Генерал-адъютант, генерал от кавалерии князь Александр Иванович Чернышев.

— Степанов! Вызови знаменщиков вперед.

— Та-ти-ти, та-ти-ти, ти!

— Врешь.

— Нет, не вру.

— Как? Ты еще грубить? На горох на колени!

Подобно кирпичу, рассыпался сухой горох, сохранявшийся специально для наказаний. И Степанов со спокойным, бесстрастным лицом стал на горох, засучив так же штаны, как и Арбузов. Его колени были уж привычны ко всему.

— Петров! Сыграй застрельщикам рассыпаться.

— Та-та-тра-да-та-дам! Та-та, — выпевал Петров.

— Бежать.

— Ти!

— А какой припев к этому сигналу?

— Рассыпьтесь, стрельцы, за камни, за кусты, по два в ряд.

— Фельдфебель идет! — кричат кантонисты.

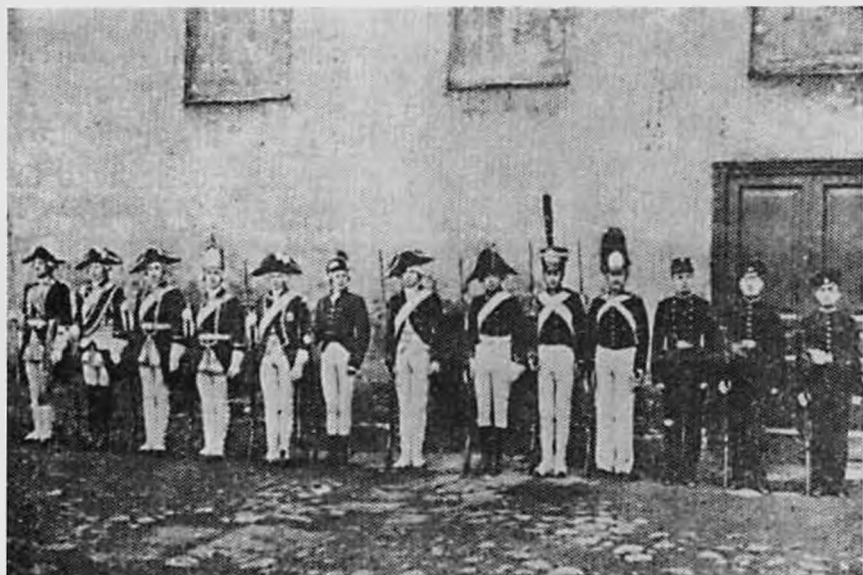
— Простите, Иван Егорыч, — заголосили стоявшие на коленях, — больше не будем...



Великий князь Константин Константинович

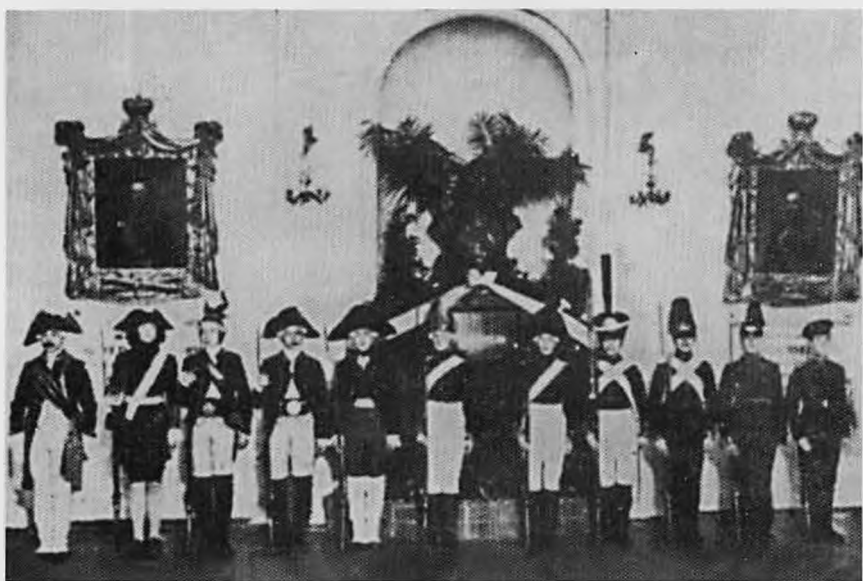


Анатолий Марков, юнкер эскадрона Николаевского кавалерийского училища.
1914 год



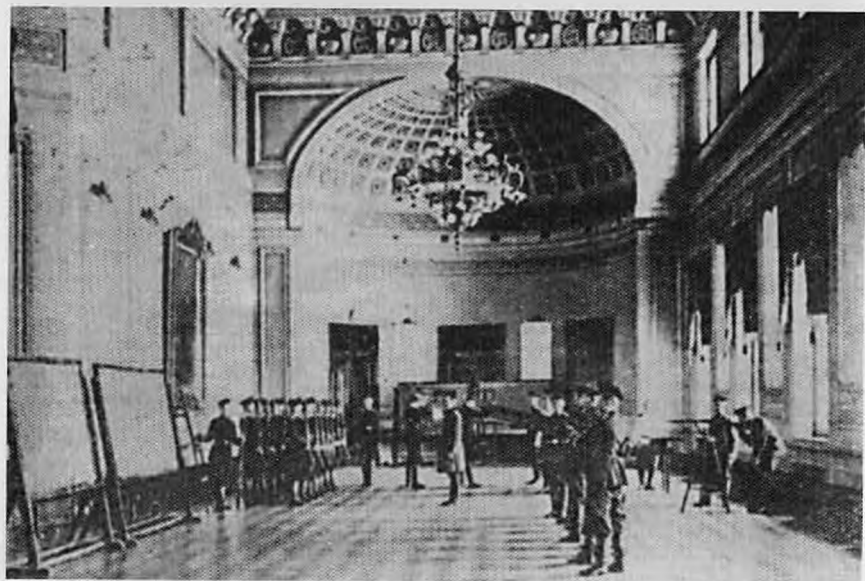
Кадеты в исторических формах:

Первый кадетский корпус — ко дню 175-летнего юбилея (1732—1907 годы); 2-й кадетский императора Петра Великого корпус — ко дню 200-летнего юбилея (1712—1912 годы)





Юнкер Виленского пехотного
военного училища в парадной
форме



Николаевское инженерное
училище. Строевые занятия

Гардемарин Морского
кадетского корпуса



Морской кадетский корпус





Юнкер эскадрона Николаевского кавалерийского училища в парадной форме



Юнкер Тверского кавалерийского училища в парадной форме

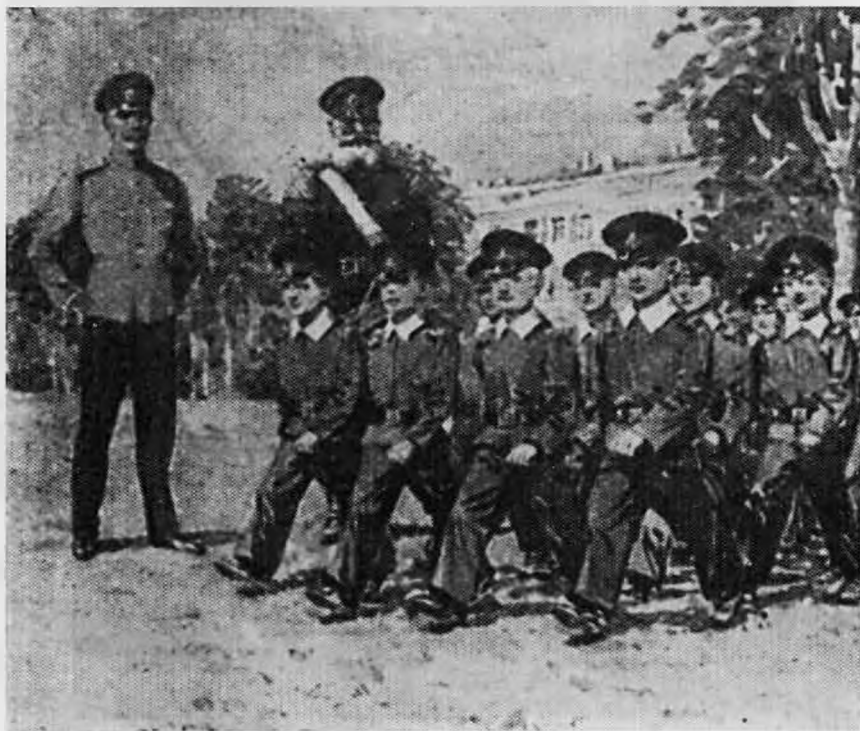
Рождество в Первом русском кадетском корпусе

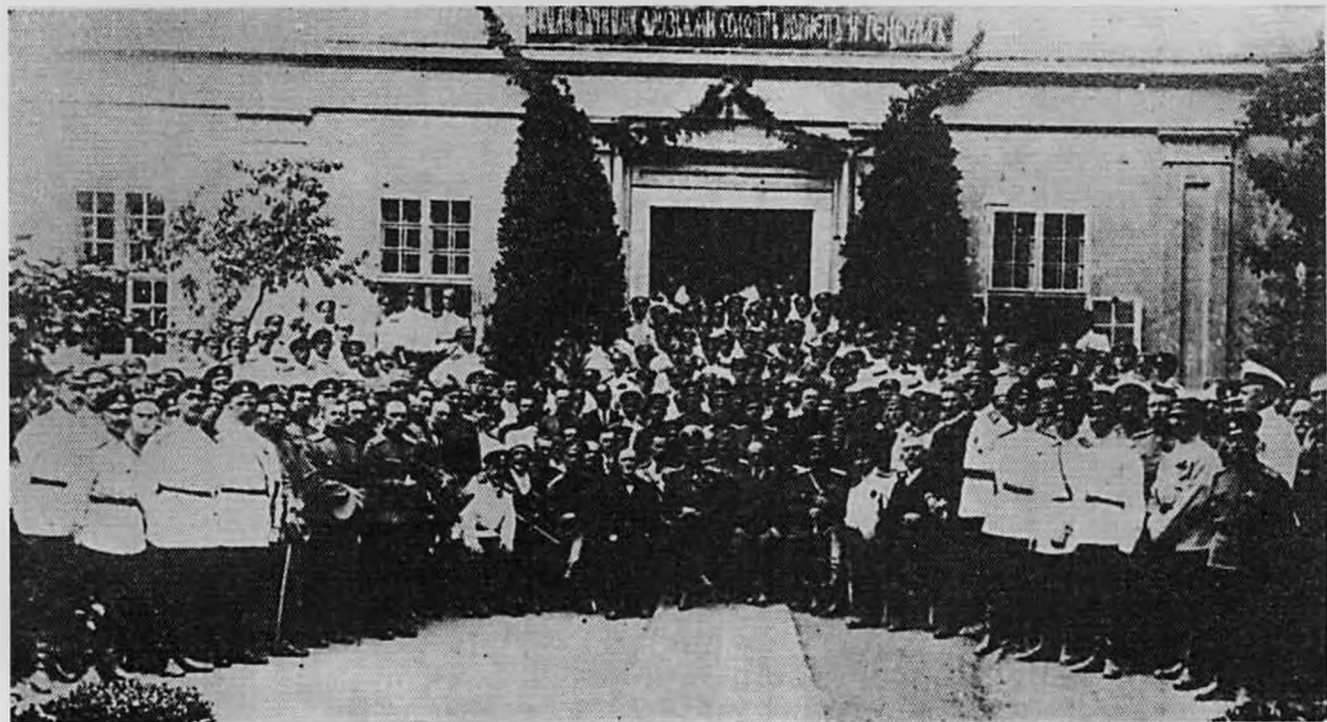


Всё — в будущем



Приготовительная школа императора Александра II. Урок строя (С картины художника С.В. Соловьева)





Николаевское кавалерийское училище в Югославии. Группа из старых николаевцев, гостей и юнкеров в день 100-летнего юбилея 9 мая 1923 года (в центре сидит главнокомандующий генерал П.Н. Врангель)

— Ну встаньте, да смотри у меня — выучить, а не грубить; а то завтра нарочно продержу на коленях до фельдфебеля, пусть вас отпорет.

Виновные вскочили, убрали все, расправили окоченевшие от боли члены и уселись по своим местам.

— Кто у нас фельдмаршал? — спрашивает фельдфебель, оставившись у одного из десятичных заседаний.

— Генерал-фельдмаршал князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский, — звонко отвечает вопрошаемый, лучший из вице-ефрейторов роты.

— А как его имя?

— Генерал-фельдмаршал князь Варшавский...

— Фамилия?

Молчание.

— Лепекин, как фамилия фельдмаршала? — спрашивает он другого ефрейтора.

— Князь Варшавский.

— Врешь! Все ефрейторы сюда.

Подбегают пять десятичных ефрейторов и капрал.

— Фельдмаршала как фамилия?

— Граф Паскевич-Эриванский, — отвечают одни.

— Не так.

— Иван Федорович, — продолжают другие.

— Ты, Рудин, как скажешь?

— Запомню. Подтверживать, сами знаете, некогда: 70 человек на руках.

— Капрального унтер-офицера сюда.

Явился учитель-унтер-офицер.

— Генерал-фельдмаршала как фамилия?

— Эриванский.

— И вы также не знаете? Какой же вы после этого учитель, когда этого не знаете? Ведь это стыдно вам, судары!

— Позвольте просить вас хоть при мальчиках меня не конфузить. Я такой же, как вы, унтер-офицер.

— Такой же, как я? Вот оно что! Руки по швам! Ничего не знаешь, а туда же еще с амбицией. Я вот завтра доложу капитану, так он форс-то с тебя сшибет. Впрочем, что я? Завтра же дежурить, а ежели не станешь, тогда я с тобой через капитана поговорю. Позвать сюда ефрейтора Орлова!

Прибегает белокурый бледный юноша лет 17.

— Ты, Орлов, говорят, лучший грамотей изо всей роты; выручи, брат, этих скотов из беды: кто у нас фельдмаршал, скажи им.

— Генерал-фельдмаршал князь Варшавский, граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский.

— А как настоящая его фамилия?

— Паскевич.

— Неужто?

— Да-с, Паскевич — это верно.

— Молодец, брат, молодец. Спасибо. Дай же теперь по две оплеухи всем вот этим ефрейторам.

Орлов исполнил приказание.

— А ну-ка растолкуй теперь хорошенько им да вот этому учителю, балбесу, весь титул. Растолкуй все как следует.

— Извольте-с, — заговорил Орлов. — Генерал-фельдмаршал — это самый старший чин из всех генералов, после государя он везде первый. Титул князя Варшавского ему царь пожаловал за покорение города Варшавы, графа Эриванского ему дали тоже за завоевание Эривани; это страна такая есть; Иван — его имя, Федорович он зовется по отчеству, а Паскевич его фамилия и есть. Вот и вышло — генерал-фельдмаршал князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский.

— Ну, слышали, ослы? Ежели кто из вас этого не заучит, тогда я с вами иначе поговорю... А ты, Орлов, спиши несколько таких штук на бумаге, раздай им, шмарам этим, да и мне принеси. За это я позволю тебе ходить со двора без спросу в свободное, разумеется, время. Разойтись из десятков!

— Разойтись, разойтись, — подхватывают голоса из комнаты в комнату.

Сидение в десятках повторялось ежевечерне целую зиму. Экзамены были строги и многочисленны: их производило все начальство, начиная от ефрейтора и кончая начальником заведения. За всякое незнание наказывали кирпичом, сундуком, горохом и зуботычинами; секли редко — в исключительных только случаях.

Ужин полагался в 8 часов вечера. Во время ужина сам начальник лишь изредка заходил в столовую, и то только для ловли воров хлеба. По окончании ужина совершалась следующая церемония: кантонистов выстраивали, правящий перекликал всех по списку, осматривал каждого с ног до головы, убеждаясь, опрятно ли они одеты, вычищены ли пуговицы, сапоги, шинели, хорошо ли причесаны.

Сзади его шел капрал и наряжал на завтра в прислуги, в дневальные, на часы на ночь и на работу в умывальню.

— После проверки живо убраться и ложиться спать, — приказывал правящий. — Да чтобы у меня спать, не разевая рта, не сгибаясь в три погибели, а лежать на правом боку, вытянувшись, как во фронте. Денные наволочки, простыни снять, аккуратно сложить и спрятать в кроватные ящики. Брюки сбрызнуть водой и положить на ночь под тюфяк, чтобы завтра сидели гладко, ровно. Часовым ночью не дремать, а ходить взад и вперед да смотреть в оба, чтобы все было цело, чинно, чисто. Поняли? Ну, пошли спать!

Полчаса спустя кантонисты лежали на кроватях, и из них беспечные — спокойно спали, а заботливые — размышляли еще о грозящей им утром ответственности, если не лично за себя, то за своих собратьев-нерях и т.д. В дверях каждой комнаты зажженный ночник тускло и уныло освещал собою комнаты, а взад и вперед их мерно, точно маятник, двигались кантонисты-часовые.

Тяжело рассказывать о мучениях несчастных детей, страдавших известною детскою болезнью. После усиленной гонки в течение дня им и ночью даже не удавалось отдохнуть, тем более что клали их на голые доски. Забывшись сном, ребенок и не замечал, что он в постели. А часовой уж будит его, толкая ногою в бок.

— Ты что же это, рожа поганая, делаешь? Не можешь выйти куда нужно...

— За что ж ты дерешься-то? — пищит бедняга.

— А нешто мне охота отдуваться за тебя? Вставай, пойдем к дежурному: пусть он видит твое безобразие.

И снова толчок в бок.

— Ох, не дерись! Я и то весь исколочен, — сквозь слезы говорит мальчик. — Я ей-ей нечаянно... Мне спросонья причудилось...

— А вот увидим, что тебе под розгами причудится. Идем!

— Оставь меня, пожалуйста, будь друг. Я сам не рад...

— Толкуй, толкуй! А вытирать до дежурного не позволю.

— Миша! Голубчик, родненький, сжался: не выдавай, пожалуйста, вчера только выдрали, сегодня опять... — Мальчик глухо завыл. — Век не забуду, промолчи только ради Бога, ради матери пожалей, — отчаянно молил он часового.

— А что дашь?

— Да что ж мне тебе дать-то, коли у самого ничего нет? Богу на колених за тебя помолюсь...

— Ну, брат, врешь. Это я и сам могу. А ты отстой вот остатний час на часах за меня.

— Я и то редкую ночь на часах не стою, редкую ночь меня тридцать раз не разбудят... Я николи не высыпаюсь, позавчера вон... — Слезы градом покатались из глаз несчастного, и он не мог договорить начатой фразы.

— Хнычь не хнычь, а так не отстану! Либо поронцу, либо час отстоять, выбирай любое. Тебе же добра желаю, дурак...

Делать было нечего. Хомутов оделся, взял в руку какую-то тетрадку, вышел на середину, озлобленно плюнул и остановился.

— Экая жизнь-то проклятая! Хоть бы сгинуть, что ли, поскорей; околеть бы, право, а то ведь и погибели никакой Бог не дает. Господи! Пошли мне смерть.

Между тем бывший часовой раздевается и ложится спать, весьма довольный своею бдительностью.

В другом капральстве среди ночи часовой соскучился. Да и как не соскучиться? Все спят, а он ходит тут как дурак. Хочется на

ком-нибудь зло сорвать. Подходит он к одному из спящих мальчиков и без нужды будит его:

— Антонов, а Антонов? Это ты грош-то дал, чтоб тебя не будить?

— Я, ну я, — отвечает спрошенный, не открывая глаз. — Не шали, пожалуйста, дай заснуть.

— Спать-то ты себе спи на доброе здоровье. А щук не наловишь?

— Да нет же, нет, отстань ради Христа.

— То-то же, смотри, не обмани, не то обоим попадет.

Часовой отходит на середину.

— Антонов, а Антонов, — снова пристает он к нему несколько минут спустя. — Я ведь грош-то не даром с тебя взял, а чтоб будить, так вставай же, брат, вставай да иди...

— Да отстань ты от меня, не то я, право, закричу.

— Спи себе, спи, любезный, я ведь пошутил.

Часовой отправляется на свое место, Антонов засыпает. Немного погодя часовой снова возле него.

— А не слышал ли ты, друг, кто из нашего капральства третьего дня калач украл за магазинами?

— А! Чтобы тебя черти побрали да и с калачом-то вместе!

— Ты, брат, не ругайся, потому я ведь только спросил.

— Да уйдешь ли ты, дьявол ты этакий!

— Уйду, сию минуту уйду, только вот что: грош-то ты ведь дал, чтобы тебя не будить. Карасей, смотри, не лови, не то худо будет, право, худо.

И так продолжается до утра...

III

ВТОРНИК. ВТОРОЙ РОТЕ ОЧЕРЕДЬ В КЛАСС

В четвертом часу утра в одну из комнат роты явился высокий сухопарый офицер, лет 50 на вид. Это был ротный командир капитан Тараканов, накануне дежурный по заведению. По крику его «Вставать!» кантонисты повскакали, оделись; началась суета, беготня.

— По ротному расчету, в три шеренги стройся! — командует Тараканов. — Головы не вешать, груди вперед. Стойка! На-право.

Рота поворачивается.

— На три шага дистанция, тихим учебным шагом в три приема, ра-а-аз, ра-а-аз! Не вертеться: заморю на ногу. Дв-в-ва... тр-р-ри. Тихим шагом мар-рш!

Ряды маршируют, а Тараканов дает такт, хлопая в ладоши и приговаривая:

— Раз-два-три, раз-два-три! Рота моя, слушай меня, раз-два-три. Налево кругом марш! Раз-два-три, рота моя, слушай меня. Стой!.. Во фронт!

Рота выполняет.

— А кто у тебя, Сидоров, ротный командир?
— Господин капитан и кавалер Макар Мироныч Тараканов, ваше благородье.
— Врешь, болван, не Макар, а Макарий, так и в святцах напечатано.

— Виноват, ваше благородье.
— Виноват не виноват, а морду все равно расквашу на память. Титул мой не забывать, — говорит он, отпуская Сидорову оплеуху. — В службе к ответу всегда быть готовым: днем ли, ночью ли что спрошу — одно и то же; служба — дело великое, слышите — великое!

— Слушаем, ваше благородье.
— На-ле-во... Скорым шагом марш!
Рота пошла.
— В но-гу, в ногу, держи такт. Перемени но-гу.
Трое сбились. Произошло смятение, раздался смех.
— Стой, стой, стой!.. Кто смеялся? Шаг вперед.
Никто не трогался с места.
— Четвертый и седьмой ряды второго полувзвода, шаг вперед!
Шесть человек выдвинулись.

— Кто из вас смеялся?
— Никто, ваше благородье.
— Врете: я сам слышал.
— Да теперь, ваше благородье, еще темно: нельзя и разглядеть, кто смеялся, — отвечает рослый кантонист. — Может, кто и во сне, — говорит он, — другие вон еще спят маршируя...

— Ну ты, значит, и смеялся, коли оправдываешься. Разве не знаешь, что такое фронт? Убью! Молите Бога, — продолжает он, обращаясь ко всей роте, — что я зарок дал не драть: сейчас бы всю роту вздул...

— Фролов! Выдь на середину и расскажи про мой зарок, да так, как я тебя учил. Понимаешь?

— Их благородье в былые времена любили драть, и драть беспощадно, — внятно и отчетливо говорил молодой унтер-офицер. — Лет пять тому назад их благородье изволили заметить на учении у одного кантониста нечищенные сапоги, рассердились и сказали: «Эхма! И у тебя, Фролов, сапоги нечищены — драть!» Фролов просил помиловать его...

— Не дремать, — прервал Тараканов рассказчика. — Ноги!
— Фролов просил помилования, — продолжал рассказчик. «Нет, не в моем духе помиловать, поблажку давать», — изволили ответить их благородье. Фельдфебель тоже стал просить за Фролова. Это вдосталь рассердило их благородье, и они изволили закричать: «Я простить, я простить? В жизни никому не прощу». И тут же, отодравши Фролова...

— Не кашлять, не шевелиться, — перебил Тараканов, — слушать, что говорят. Дальше.

— Отодравши Фролова, их благородье ушли домой, дорогой же их схватило, они захворали так, ажно чуть не умерли, и, лежа на смертном одре, их благородье изволили дать себе зарок никогда больше не драть никого, имя Божье всуе не поминать, отслужили на том месте молебен, выздоровели и с тех пор точно не дерут...

Унтер-офицер был тот самый, которого Тараканов выдрал последним. И, чтобы иметь возможность чаще раскаиваться, Тараканов исколотал Фролову производство в унтер-офицеры и оставил его у себя же в роте живым, так сказать, памятником измененного им характера.

— Вот что значит Бог-то! — восторженно произнес Тараканов по окончании речи Фролова. — Не шевелись! Новички! Все это запомнить и благодарить Бога, что он наставил меня... не то... Гаврилов! Бедро влево. Ужо пойдете в класс, а потому я теперь произвел учение; без учения нельзя: все построения забудете. Разойтись и ложиться спать до семи часов, потом в класс без осмотра, — заклинул Тараканов и ушел в дежурную комнату.

Страсть Тараканова производить учения доходила до сумасшествия. Он не мог прожить дня без учения. Оттого, когда рота шла один очередной день в неделю в класс, он непременно учил ее: или до класса — рано утром, или после ужина — вечером. В будни все это было в порядке вещей, но в праздники никаких учений не допускалось ни под каким предлогом. Это побудило его изобрести преоригинальный способ производить учение дома. Настает, например, воскресенье. Он ждет не дождется, скоро ли жена уйдет к обедне (детей у него не было), а кухарка уберется в комнатах. Лишь только то и другое исполнится, он живо оденется в сюртук, застегнется, выдвинет на середину комнаты все стулья, установит их в три ряда, зайдет с какого-нибудь конца, сначала тихо, потом громче и громче начинает им командовать: «Третий с левого фланга, полшага назад! Пятый, глаза напра-во. Смотреть веселей; ешь начальника глазами. Седьмой ряд, не шевелись: всю морду расколочу. А-а? Вам хаханьки, хаханьки, вот же тебе, мерзавец эдакий, вот тебе, скотина ты эдакая». И, подбежав к одному из стульев, он начинает колотить по нему кулаком, но, ощутив боль, озлобленно бросает стул об пол, ставит на его место другой и снова начинает: «Шеренга, глаза напра-во. Слушать команду, не то заморю на стойке, непременно заморю! Скорым шагом мар-р-ш»... И со стулом в руках пускается маршировать по комнате, делая различные построения...

— Што это вы, барин, дебоширничаете? — спрашивает, бывало, Тараканова его кухарка, остановясь у дверей. — Давно ли стулья-то чинили, а вы опять уж ломаете? Барин, а барин, шли бы вы лучше в церковь Божью, чем изъясняться-то понапрасну.

Но Тараканов продолжал свое учение.

— Погляди-ка в окно-то: сколько на улице народу столпилось глазеть на ваше кудесничанье? — И кухарка решается дернуть его за руку.

— Смир-р-но! Руки по швам! — вскрикивает Тараканов, топая ногами на кухарку. — Фронт — место священное; хоть околей, а не шевелись. — И хлысть ее по щеке со всего размаху.

— Господи Иисусе, — взвизгивает кухарка, бросившись опрометью к двери, где сталкивается с женою Тараканова, которая возвращается от обедни.

— Да ты, Макарь Мироныч, совсем уж, кажется, сумасшедший, — сердито замечает жена, глядя на валяющуюся на полу грудку разбитых стульев. — Ведь это черт знает на что похоже.

— Какое, матушка, «кажись, рехнулся», как есть рехнулся, — вмешивается кухарка. — За доброе-то вон слово чуть зубы не вышиб. Эко житье-то наше рабское... хоть бы дохтура сюда!

— Третий взвод, дирекция нале-во, вольным шагом мар-р-рш! — кричит между тем Тараканов и, подойдя к женщинам, начинает дергать их за плечи, толкать и кричать: — В ногу, в ногу! Дивизион, нале-во, кругом мар-р-рш!

— Поди ты к черту со своим дивизионом-то вместе! — вскрикивает жена. — Кой тебя леший носит тут целое утро?

И обе женщины кидаются на Тараканова, схватывают его за руки и общими силами приводят в сознание.

Учение кончается. Столяр к вечеру получает работу: починку стульев.

Удивительно, как такой крупный военный талант мог остаться незамеченным!

Но обратимся к кантонистам. Во время приготовлений к классу не редкость было наткнуться на такую сцену:

— Ваня, а Ваня! — говорит красивый мальчик другому, бледному и худому. — Слышь, Ваня...

— Ну?

— Я урок-то ведь не знаю... Да нельзя ли тово... Отметь, что знаю.

— Вишь чего захотел!

— Ей-богу, отметь!.. Я те грош дам.

— Грош! Что мне твой грош!

— В воскресенье со двора пойду, еще гостинцев тебе принесу. Уж, ей-богу, тово... пожалуйста...

— Ну ладно. Давай грош-то.

И с передачею гроша дело улаживается. Проситель, совершенно довольный, отходит на свое место.

Подобное грошевое взяточничество было в сильнейшем ходу в заведении. Классные старшие (они же и палачи) брали с товарищей за снисхождение что попало: и лист бумаги, и грифель, и ломоть хлеба, и осколок смазной щетки, и иголку — словом, ничем не брезгали. Но, давши раз слово, кантонист, чего б это ни стоило, не изменял уже ему.

В семь часов кантонисты обыкновенно сидели уже в классе. Чумазы, корявые помещались всегда впереди, а красивые — на задних скамейках; первые отличались грамотностью, а последние — фронтом.

Унтер-офицер Лазарев преподавал в верхнем, выпускном, классе, между прочим, рисование и любил хвастнуть своим умением. Гордо ходил он по классу, с презрительною усмешкою поглядывая на учеников.

— А ну-ка, — говорил он, пощелкивая пальцами, — несите мне рисунки. Поглядим, на сколько-то вы подвинулись вперед в течение недели.

Тетрадки сунуты ему под нос, десятки глаз упорно следят за каждым его движением.

— Тебе, Петров, задан был баран? — спрашивает учитель.

— Точно так-с, баран, — отвечал высокий стройный юноша, вытянувшись во весь рост.

— А нарисовал ты что? Черта?

— Не могу знать-с...

— Ведь ты же рисовал?

— Я-с...

— Так почему же ты не знаешь, что именно нарисовал?

— Потому, Григорий Иванович, что отродясь не видывал черта — каков он такой выглядит?

Раздается взрыв смеха.

— Ты, подлец этакий, еще спорить? На колени!

Петров повинуется.

— Рисовать, ребята, надо так, чтобы каждый штрих имел свою линию, понимаете? Это не то что паклю щипать или там воду носить. А главное дело — круглота, и круглота во всем, это самое важное. Слышите?

— Слушаем-с, Григорий Иванович, — громогласно отзывается класс.

— Парашин! Чего по сторонам глазеешь, когда приказание отдают, а?

— Я-с, ничего-с... не шевельнулся-с.

— Отпираться? Да еще и отвечаешь сидя? Ах ты, мерзавец этакий, вот же тебе!

И аспидная доска летит над головами пригнувшихся учеников через весь класс. Парашин едва успел заслонить руками лицо, как доска ударила ему в плечи, упала на пол и разбилась. Он крикнул,

обхватив руками плечо, и, покачиваясь из стороны в сторону, глухо завыл.

— Парфенов! — продолжал между тем учитель, не обращая даже внимания на несчастного Парашина. — Откуда начинается Волга?

— Волга... Волга-с... — Парфенов остановился.

— Да ну же!

— От Дзвери-с, — молвил ученик, уроженец Рязанской губернии, произнося согласно местному говору.

— Откуда?

— От Дзвери.

— От какой двери?

— От Дзвери-с.

— Иванов, откуда берется Волга?

— От Твери.

— Дай, Иванов, Парфенову два раза по шее, да смотри — покрепче, не то самому попадет.

Приказание исполнено.

— Потапов! Что такое Тверь?

— Остров, — ляпнул Потапов.

— Панкратьев, что называется Тверью?

— Сарай, — гаркнул сосед Потапова.

— Бирюков! Тверь что такое?

— Губернский город.

— Правда. Дерите, скоты, друг друга за уши, да хорошенько, или я вас растяну; а ты, Бирюков, дай им всем, кроме того, еще по три оплеухи.

Все схватывают друг друга за уши и треплют, а четвертый обходит их, отпускает каждому назначенные ему оплеухи и садится на свое место. Водворяется тишина. Все уткнули носы в тетрадки и не шевелятся. Вдруг из самого заднего угла кто-то зевнул во все горло.

— Фомин! Что ты зеваешь, а? Забился, лодырь проклятый, к стенке да еще бесчинствуешь? Урок грамматики выучил?

— Нет, не выучил-с... — беззаботно отвечает Фомин, огромного роста, плечистый кантонист, лет 20, с заспанными глазами.

— А отчего ж ты не выучил?

— В башку не лезет эта мудреная наука-с, да и проку-то мне от нее, признаться, ждать нечего: я ведь во фронт пойду; а выделять ружьем различные штуки можно и без нее. Ну ее!..

— Молчать, скотина!

— Это могу-с.

— А пройденное не забыл еще?

— Быть может... а впрочем, кажется, тово-с...

— Табурет какого падежа?

— Именительного-с, — отвечает Фомин, ковыряя в носу.

— Почему?

— Потому, ежели его толкнуть, он упадет.

— А если я тебе за такой ответ всю морду расколочу, так это какого будет падежа?

— Да мне уж тогда не до падежей будет, — невозмутимо продолжает Фомин, — тогда кровь пойдет и надо будет бежать на черный двор отмываться-с.

— Так вот же тебе, мерзавец!.. — И толстая переплетенная книга полетела в Фомина.

Он не успел еще и глазом моргнуть, как книга ударилась об его лицо и у него из носа действительно хлынула кровь. Но с прежним спокойствием Фомин вылез из-за скамейки, проговорил вполголоса: «Прощайте, ребята», — медленно отправился вон из класса и уж больше не возвращался.

В то же время и в писарском классе шло учение.

— Павлов, Спиридонов, Арефьев и Кудровский, ко мне! — вызывает учитель Лясковский. Вызванные выходят на середину и становятся лицом к ученикам.

— Павлов, разбери стол.

Павлов оглядывает стол, ощупывает его кругом, пошатывает и отходит.

— Ну? — понукает учитель.

— Стол, Григорий Иванович, не разбирается-с.

— Это почему?

— Да очень крепко склеен и сколочен гвоздями.

— А какого он роду?

— Деревянного.

— Отчего деревянного?

— Да оттого и деревянного, что дерево, из которого он сделан, росло в лесу.

— А лес какого роду?

— А лес разный бывает: и густой, и редкий, и крупный, и мелкий, и осиновый, и сосновый и... да мало ли еще какой бывает лес. Всех деревьев не перечтешь. Другой лес такой частый, что и нос расцарапаешь о сучья, так и нос считать, что ли?

— Спиридонов! Нос какого роду?

— Не могу знать-с... запоматывал-с...

— Так припомни, припомни и припомни, — приговаривает учитель, отчитывая Спиридонову по носу щелчок за щелчком.

— Эй ты, Арефьев! Свинья какого роду? — спрашивает учитель, случайно увидев в окно это начальническое животное.

— Мужеского, — брякнул Арефьев.

— Врешь, болван. Кудровский, какого рода свинья?

— Женского.

— Спасибо. Поверни за это Арефьева кругом и до самого его места провожай пинками... да приговаривай: «Ты свинья, ты свинья, ты свинья».

Приказание исполняется. Класс хохочет.

— Гаврилов, гляди сюда! Болван — имя существительное или нарицательное?

— Наричательное.

— Лжешь. Ты сам болван, хуже еще чем болван.

— Болван так болван, по мне все единственно! Вольно́ вам ругаться-то понапрасну.

— На колени!

Следующий, нижний, класс по многолюдству своему делился на два участка. В первом участке шла арифметика.

— Сколько, Ситочкин, в арифметике знаков? — спрашивает учитель Ослов.

— Десять, — громко отзывается Ситочкин.

— Какие именно?

— Один, два, три, четыре, пять...

— Стой, что засчитал? Разве не знаешь, что в промежутке между двумя цифрами должен успеть в уме сосчитать три? Неужто мне тысячу раз повторять одно и то же? Считай снова да отчетливо.

— Раз, два, три, — затащил Ситочкин нараспев, — четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять.

— Я тебе дам десять. Пойди сюда.

Ситочкин подходит.

— После восьми какая цифра?

— Девять.

— А дальше?

— Десять.

— Неправда, лентяй ты эдакий! — И, завернув клапаны рукавов мундира вниз, в ладонь, он начинает бить пуговицами по щекам Ситочкина, приговаривая: — Ноль, ноль и ноль. Помни же: ноль, а не десять. Пошел на место.

— Лепешкин! На седьмом месте какая цифра стоит?

— Миллион.

— А в миллионе, Сорокин, сколько единиц?

— Четыре.

— Как — четыре?

— Точно так-с... четыре, — настаивает Сорокин, рассчитывая взять смелостью.

— Вот тебе четыре. — И для лучшего удара Ослов держит, для вескости, в сжатом кулаке перочинный ножик.

— Лукьянов! К доске.

Тот выходит.

— Разделивши 3 пуда, 33 фунта, 16 золотников на 30 человек, по сколько достанется каждому?

Лукьянов берет мел и начинает делать задачу на доске, громко рассказывая основания своего деления.

— Да эдак-то и пятилетний ребенок сделает. Ты мне высчитай в уме, а не выводи цифрацию-то, — вдруг прерывает учитель, замечая, что его кулакам тут поживы не будет.

Лукьянов начинает высчитывать умственно.

— Да скоро ли, да дождусь ли я тебя?

— По 12 фунтов и... и...

— Вот тебе «и». На место!.. Куплено два, заплачено три, что, Дратвин, сто́ит четыре?

— Шесть, — звонко отвечает Дратвин, не зная твердо не только дробей, но и простых чисел.

— Зная эту задачу, — начинает учитель, обращаясь ко всем ученикам своего участка, — вы можете достигнуть бог весть каких вычислений. Задача эта всякому человеку и на всяком месте принесет пользу. Арифметика для вас важнее всяких наук. Плох тот солдат, который не надеется быть генералом. И вот тебя, например, Фукс, вдруг сделали фельдфебелем или каптенармусом в полку, и ты, не зная арифметики, пропал. А о писарях и говорить нечего: они без арифметики и людьми-то даже считаться не могут. Все вы, выйдя на службу, станете об одном только жалеть, что я вас мало колотил за арифметику. Все эти грамматики, географии, истории, рисование — это все вздор пред этою наукою, а я долблю вам, скотам, о ней изо дня в день. А от вас какая благодарность? Ведь как выйдете моими стараниями на службу, так никто из вас, мерзавцев, и письмишка-то не пришлет учителю, тому учителю, который все свои кулаки обил об ваши пустые головы!..

Учитель опустил голову, вздохнул на всю комнату, сел на стул и замолчал. Ученики его участка не шелохнутся.

На задаче: куплено два, заплачено три, что сто́ит четыре? — Ослов просто, кажется, помешался. Где бы и когда он ни встретил кантониста — везде непременно ее спрашивал; а чтобы не быть за незнание колоченным, всякий кантонист твердо ее заучил.

Прошло несколько минут молчания. Ученики соседнего участка начинают хихикать. Учитель очнулся и вскочил на ноги.

— Уймите, Андрей Андреич, ваших сорванцов, — вскрикивает он, обращаясь к учителю второго участка, — не то я им морды расколочу: они мне мешают заниматься.

— Уймитесь, детушки, уймитесь, пока целы — прибьет, шибко прибьет, и за дело: не шуми, не мешай! — и упрасивает, и страшит свой участок учитель, чиновник Андрей Андреевич Андреев, человек лет сорока с лишком.

Все утихает. Ослов доволен и опять задумывается на некоторое время, а потом продолжает неистовствовать по-прежнему.

— Петруша Скворцов, — начинает Андреев, — сделай-ка мне вслух такую задачу: если из семидесяти трех вычесть двадцать семь, сколько останется?

— Семь в трех не содержится, — громко начинает Скворцов, написав цифру под цифрой на доске, — занимаю единицу у следующей цифры — два; семь из тринадцати — в остатке шесть, а два из шести — четыре.

— Спасибо, голубчик, спасибо. Садись на место.

— Ваня Семенов?

— Чего изволите, ваше благородие.

— Семью семь сколько?

— Тридцать девять.

— Нет, брат, неправда. Кто знает: сколько семью семь — встань и скажи.

— Сорок девять, сорок девять, сорок девять, сорок девять! — вскрикнули несколько голосов один за другим.

— Каково, Семенов? Ведь все, кроме тебя, знают. Что, брат, стыдно, а?

— Да и я, ваше благородье, знаю, — оправдывается Семенов.

— Зачем же соврал?

— Да заторопился, право, заторопился, ваше благородье.

— Сам виноват: надо помнить. Иванов вон первый сказал верно, и я ему за это уже принесу лепешку. Он станет есть, а ты на него глядеть да слюнки глотать.

— Да я, ваше благородье, всего-то на волосок позднее Иванова вскричал: «Сорок девять», — говорит, вставая, другой ученик, — так уж и мне не пожалуете ли лепешки?

— Дам, Миша, и тебе лепешки. Ты тоже стоишь.

— А я, ваше благородье, только чуточку опоздал супротив Миши, лепешки-то и мне бы хотелось, — заявляет третий. — Ваши лепешки, точно пряники, не обидьте.

— Получишь и ты, садись!

— А я-то нешто не крикнул? — раздался еще голос. — Уж и меня не забудьте, я тоже...

— Вскричать ты, положим, и вскричал, да уж очень поздно; повторил, значит, слышанное от других. Впрочем, постой, спросим всех: как рассудят, так и сделаем. Как вы, ребята, думаете, следует ему дать лепешки или нет?

— Нет, нет, нет, — раздалось по классу.

— Слышал? Ну и не пеняй на меня. А вы, дети, приготовьте пока тетрадки, поучитесь правильно писать с дикту.

Все закопошились.

— Помните же мое наставление: не торопиться, а писать хорошенько и со вниманием. Начальные буквы имен и фамилий писать прописными, а прочие слова — строчными буквами. Кто вернее

и красивее всех напишет, того в воскресенье возьму к себе обедать. Начинайте же: «Иван Семенов».

Ученики, заглядывая один другому в тетрадки, напрягают все усилия, чтобы выиграть приз — обед.

— Написали?

— Написали.

— «Не, особо, знал, особо, урок из, особо, арифметики тоже».

Все пишут.

— Готово?

— Готово.

— «За, отдельно, что, отдельно, отмечен: Лень».

Перья скрипят, руки потеют, и вообще у всех усердие чрезвычайное.

— Да я, ваше благородье, всю таблицу вдоль и поперек выучу к завтраму, только не отмечайте ленивым, — чуть не плача, просит Семенов, понявший, в чем дело.

— Не беспокойся, Семенов, не отмечу; я писать только диктую, на память, чтобы не ленились.

— Да они, ваше благородье, мне проходу не дадут, все станут надсмехаться. Будьте отец родной, не велите так писать.

— Поздно, брат, хватился. Впрочем, даешь слово хорошо учиться, так и быть: велю замарать эти слова, как только пересмотрю тетрадки.

— Даю, ей-ей даю, не срамите, пожалуйста!

— Верю. У кого готово, подай на просмотр.

Ученики повскакали со своих мест и, толкая один другого, силились подать прежде; потом вернулись на свои места и нетерпеливо ждали, кто выиграет обед.

— Послушайте-ка, ребятунки, что я вам скажу, — начал Андреев, пересмотрев тетрадки. — Красивее всех написал Иголкин, но он сделал большую ошибку: в последнем слове «лень» написал вместо «ять» «е», а через это стал не «лень», а «лён». Лень — значит ленился, ленивый, и под этим словом подразумевается человек, а лён — растение. Поняли теперь, какая разница между словами лён и лень?

— Поняли, поняли, — единодушно отзываются ученики.

— Андреев, — продолжает учитель, — хоть и все верно написал, зато некрасиво. Из всех же и красивее, и вернее написали трое: Знаменский, Карпов и Ведрин. Знаменский ходит со двора к родным, ему, стало быть, мой обед не нужен. Карпов и Ведрин — оба безродные, и писанье обоих мне одинаково нравится, да и они сами ребята хорошие. Скажите сами по совести: кого из них мне взять к себе обедать?

— Карпова! — отзываются одни.

— Ведрина! — перебивают другие.

— Так, ребяташки, я не пойму вас. Сделаемте-ка лучше вот что: кто за Карпова — подними правую руку.

Подняли. Учитель сосчитал.

— Теперь, кто за Ведрина, — подними левую руку.

Подняли. Сосчитал.

— Карпова сторона сильней: за него сорок рук, а за Ведрина тридцать три руки, значит, Карпов идет ко мне обедать. Вот это безобидно. Вырастите большие, будьте честны, никого не обманывайте, не обижайте, и Бог за это не оставит вас без милости, без радости. А ты, Карпов, напомни мне ужо дать тебе записку к фельдфебелю, чтобы он тебя уволил ко мне в воскресенье.

— Слушаю-с, ваше благородье.

— Теперь, детушки, отдохните немного, — заключает учитель, — а там займемся еще чем-нибудь. Ну хоть чтением, что ли.

Ученики начинают откашливаться, сморкаться и разговаривать. Учитель прохаживается по классу.

Андреев никогда никого из учеников своих пальцем не трогал. Учил всегда ласкою да гостинцами. Учились у него отлично, а переходили от него в высшие классы с горестью, и то лишь тогда, когда у него набиралось столько учеников, что сидеть негде было. Прочие учителя его терпеть не могли за доброту, которая казалась им несовместимой с учительством. Он зачастую приносил в класс домашнего печения лепешек, крендельков, булок, пирожков и делил между учениками, которые все это тут же съедали. В масленицу он всякий день приносил по четыре блина на каждого ученика. По воскресеньям брал к себе обедать по одному ученику, в годовые праздники — по двое, а на Пасху и Рождество — по три человека на все трое суток. Жил он на крошечное жалованье, рублей в двести ассигнациями.

— Не сердитесь, ребяташки, что не всем даю гостинцев, — говаривал он своим ученикам, — рад бы накормить всех вас, да не могу: сам беден и потому, чем богат, тем и рад. На бедность свою я, впрочем, не жалуюсь. Роптать — грех, и вы, смотрите, не ропщите: Бог наградит вас за терпение.

— Мы ничего-с, — отвечали ученики хором. — Благодарим покорно за вашу ласку. Вы и то нам отец родной.

И Андреев весь просияет, бывало, при этом от радости.

В методическом классе собственно преподавать было нечего: усядутся ученики по местам и твердят буки, аз — ба, выводят штрихи, буквы на аспидных досках, а затруднения разрешает им учительский помощник, кантонист. Скука. Учитель посидит, посидит в углу, встанет, выйдет на середину, поглядит на свой участок, скажет в раздумье:

— Орлов, посмотри-ка тут за порядком, — и уйдет из класса.

Проходит полкласса.

— Вот жисть-то! Вот каторга-то! — вдруг доносится к ним знакомый голос. — Тьфу ты, пропасть этакая, право, ну...

Учитель входит, садится на место.

— Аз, буки, аз-ба, что такое значит? — медленно спрашивает он, немного помолчав. — Ну-ка, скажи, Панфилов!

— Изба, Федор Иванович, изба, — насмешливо отвечает Панфилов.

— Полно, так ли? Врешь ведь?

— И то вру. Вру, Федор Иванович, вру-с.

— Спасибо, хоть сознаешься. Садись, осел. Ну, а ты, Ягодкин, как скажешь?

— Осел, Федор Иванович, осел.

— Пускай себе осел ослом и останется, а аз, буки, аз-ба — что?

— Азбука, Федор Иванович.

— Ну да, азбука; вот это так, я это давно знаю, давно, еще в ту пору знал, когда вас, мерзавцев, и на свете-то не было. Азбука, ребята, слышите, азбука!

— Слушаем, Федор Иванович.

— А слышите, так запомните. Да заучивать, затверживать, затверживать, заучивать. Повторяй за мной!

— Заучивать, затверживать, затверживать, заучивать, — нараспев повторяют до семидесяти голосов.

— Ты, Грибков, не хочешь, верно, учиться, что не повторяешь слов моих? Лентяя тотчас видно: ему не то что учиться, и рот-то разинуть лень. Архипов! Харкни Грибкову в рожу, харкни хорошенько, пусть помнит, что я не на ветер говорю.

Архипов плюет Грибкову в лицо. Класс хохочет.

— Возись тут с вами, — продолжает Иванов, — учи вас, крапивное семя, убивайся, а за все это тебе же харю расквасят, с тебя же шкуру сдерут. И диво бы за дело, а то ведь за портянки, за ногти, за волоса. И это дело учителя? Эх, подлость, подлость! Не здесь бы мне место — и я бы был не тот. А то ведь век-то мой заели, загрызли и... и поневоле возьмешь да и выпьешь. Кабы не водка, давно бы уж лежал я вверх тормашками на кладбище, удавился бы от этой пакостной жизни; ей-ей удавился бы, потому одно спасение. — Тут Иванов склоняет голову на руки, облокачивается на столик и вскоре засыпает.

Класс только этого и ждал.

Несколько учеников подходят к нему на цыпочках, и один надевает ему бумажный колпак на голову, двое сшивают ему нитками рукава вместе, остальные привязывают его за ноги к ножкам табурета и возвращаются на свои места.

По окончании урока ученики выходят к дверям и разом кто пускает в учителя комки жеваной бумаги, кто вскрикивает: «Федор

Иванович, домой пора, домой пора, Федор Иванович!» — и опрометью бегут вон из класса.

Разбуженный Иванов продирает глаза, разрывает и развязывает свои путы, ругается на чем свет стоит и, освободившись, отправляется опохмелиться. Впрочем, к следующему, послеобеденному, совершенно тождественному классу он совершенно забывает о злостной шутке, сыгранной над ним учениками.

IV

СРЕДА. ТРЕТЬЯ РОТА В РАСХОДЕ

По совершении обычной утренней уборки выстроили роту кантонистов, за исключением новичков, капралов, постоянных классных и некоторых из простых кантонистов, пользовавшихся протекцией начальства. Затем всех распределили по ремеслам: в портную и сапожную отправили по 50, в эполетную, галунную, басонную и пр. по 15—20 человек.

Расходный день был для кантонистов своего рода праздником. Научившись положить латку на сапог, заплатку на рубашку, кантонисты втирались в знакомство к мастеровым солдатам, которым их отдавали в качестве подручных, и, придя в мастерскую, шли прямо к ним и садились за работу. За это солдаты делились с усердными помощниками своим харчем; иные платили им еще копейки по 2—3 за дневной труд. Не умевшие еще работать варили мастеровым на кухне клей, крахмал, строгали гвозди, сучили дратву, разматывали нитки и проч. и проч. Между мастеровыми солдатами встречались чрезвычайно добрые люди, искренно жалевшие кантонистов.

— И в роте измучили, — говаривали они, едва им подведут подручных, — так нам-то пожалеть уж надо. На вот тебе, мальчуга, десятишник (3 копейки), беги за магазины, купи калачик, молочка, крошки в чашечку да, похлебавши, приходи сюда посидеть до вечера, чтоб в роте не увидали, а то ведь и мне с тобою, пожалуй, несдобровать.

И рад-радешенек бедняга кантонист: возьмет деньги, шапку и мигом очутится за магазинами.

В тылу трех фасадных казарм помещались в длинном строении провиантские магазины, а сзади них, в углу, солдатские вдовы и жены торговали зимой и летом различными съестными припасами.

* Новички, пока не выучивались фронту, ходили на учение ежедневно утром и вечером; капралы их учили фронту в расходные дни; протежируемые гуляли в эти дни; в класс ходили ежедневно, кроме пятницы после обеда и субботы утром, человек 10—15 из роты, учившихся в выпускном, верхнем, классе и готовившихся прямо в учителя и писаря.

Кантонист прибегает за магазины, жадно глядит на все и не знает, чего бы ему такого поесть. Надо, чтобы было и посытней, и повкусней, да и подешевле.

А торговки, завидя мальчика, взапуски начинают зазывать его к себе.

— Ко мне, голубчик, ко мне, касатик! — кричит одна. — У меня самая вкусная печенка, селезенка, потроха, требуха; хлеба даром дам!

— Не верь, Петенька, не верь, Ваничка, все хвастается, — перебивает другая.

— У меня калачи горячи, сейчас из печи, — вопит третья. — Молочко топленое, только утром доенное, садись, голубчик, досыта накормлю и всего-то семишник возьму; наживаться от вас грех, великий грех.

— Кантонистик золотой, картофель рассыпной, полную шапку накладу и всего один пятачок с тебя возьму, — подхватывает еще одна баба.

Сбитый с толку кантонист не знает, какое лакомство предпочесть; наконец, по зрелом обсуждении, решается:

— Давай, тетушка, калач с молоком.

— Садись, родименький, садись, голубчик, на мое тепленькое местечко да и кушай себе с Христом, — говорит торговка, подавая ему калач и чашечку молока. — А есть у тебя отец аль мать?

— Нету. Мать померши, а отца я и не знал, какой он такой, — отвечает спрошенный, с алчностью уплетая за обе щеки.

— Выходит, сиротинушка, сердешный? Постой же, я уж тебе еще молочка подолью, да на вот хлеба подкроши и ешь на здоровье... Не надо, голубчик, мне твоих денег, не надо, — говорит она, увидев, что мальчик все уже съел и сует ей деньги в руку.

— Спасибо, тетушка! — И, спрятав деньги за обшлаг шинели, кантонист, довольный и счастливый, вприпрыжку побежал в швальню.

— Дайте мне, дяденька, вакцины с собой, — униженно просит кантонист у одного из сапожников. — Сапоги нечем чистить, а в роте спрашивают, бьют... дерут... Будь добр, не откажи.

— Ваксу я, брат, сам покупаю на деньги, — отвечает солдат, — и ты купи. Про вас не напасешься.

— Рад бы, дяденька, купить, да не на что: родных нет, денег взять негде.

— Ну ладно, дам вакцины; только за это — волосянку. Идет?

— Да ведь это больно... у меня и то уж голова болит... вся в струпьях...

— Зато вакцина будет. Даром ничего, брат, не дается.

— Ну дери, только вакцины-то, дяденька, побольше.

Солдат придвигается к просителю, вцепляется пальцами обеих рук ему в волосы на затылке и дергает их вверх сразу так сильно,

что мальчик вскрикивает что есть мочи. В окружности раздается смех и брань.

— Я еще не успел путем дотронуться, а ты уж орешь, — укоряет его солдат. — Стой смирно: сейчас порешим. — Солдат снова дерет просителя за волосы, тот снова вскрикивает шибче прежнего. — Вишь, разрюмился, неженка эдакая, — укоряет солдат, недовольный кантонистским плачем. — На вот ваксы да еще с банкой вместе, только не хнычь.

Такие сцены повторялись повсюду, куда кантонистов только ни посылали в расход.

В роте между тем идет выправка новичков. Вдруг учение прерывается неожиданным образом.

— Разойтись! — сердито командует внезапно появившийся молодой красивый офицер, командир роты Добреев.

Кантонисты, услышав знакомый голос, живо разбегаются. Фельдфебель спешит к своему начальнику.

— Я так и знал, что ты не можешь без учения, — с укоризной заговорил Добреев. Он судорожно пожал плечами и продолжал с досадою: — Признаюсь, решительно не понимаю, как это ты пристрастился мучить детей этой шагистикой?

— Я ничего-с, не виноват-с, так начальству угодно; приказание исполняю-с! — отвечает фельдфебель. — Сам Господь терпел и нам велел-с...

— Так ведь и я начальство составляю и тоже десятки раз предлагал тебе давать детям отдых в те дни недели, когда они в роздыхе или в бане. Ты, значит, не считаешь меня начальником?

— Полковник старше-с... изволит приказывать. Мне не раз в зубы попадало от них...

Пока Добреев толковал с фельдфебелем, кантонисты его роты возвратились в казарму. Увидев их, он поздоровался с ними и весело крикнул:

— Ребята! Я дежурный; скоро ужинать, берите смело хлеба, обысков не будет.

— Рады стараться, ваше благородье, — откликнулись дети.

По уходе Добреева кантонисты начали вытаскивать из рукавов своих шинелей, из-под мышки лоскутки холста, кожи, сукна, нитки, дратву, комки ваксы и прятали все в кроватные ящики. А из-за стола в этот вечер унесли хлеба кто сколько мог — в общей сложности несколько пудов.

Кантонисты любили Добреева за его снисходительность и доброту. В его роте и наказывали, и муштровали наполовину меньше, чем в прочих ротах; совершенно же вывести истязания он не мог: начальник заведения, отступившись собственно от него, усиленное обыкновенного придирался к фельдфебелю, к правящим его роты и побуждал их наказывать кантонистов; мало того, сам наказывал

во время отсутствия Добреева, который, пренебрегая службою, ходил в роту раза три-четыре в неделю. Сбыть его совсем из заведения было довольно трудно: он был человек относительно образованный, богатый; был молод, холост, вел знакомство со всею городской аристократией, имел, кроме того, и связи, протекцию.

Кантонисты все-таки лишились его вследствие одной чрезвычайной его выходки. Вот как дело было. Он был охотник, уходил летом постоянно в лес, забрав с собою человек по 40—60 кантонистов своей роты, и часто не попадал на учения. Однажды начальнику вздумалось произвести вечером учение всему заведению, и так как Добреева не оказалось налицо со множеством кантонистов его роты, то начальник послал за ним в лес.

Забравшись в чащу леса, Добреев уселся среди своей команды на маленькой поляне, из мешков повынули харчи — телятину, колбасы, огурцов, печенья, и охотники закусывали с волчьим аппетитом. Вдруг пред ними вырастают гонцы. Добреев рассердился, поднял свой отряд и отправился в город, а услышав у заставы барабанный бой, означавший, что учение еще продолжается, он остановил отряд, дал отдохнуть и сказал:

— Ребята! Не в службу, а в дружбу! Когда дойдем до плаца, я затрублю в рожок; у кого рожки — подхвати, у кого трещотки, хлопушки — трещи, хлопай как можно сильнее, и когда собаки побегут, бросайтесь вперед, кричите: «Ату его, ату», науськивайте их на офицеров вообще, а на начальника особливо, кидайте в них чем попало.

Кантонисты с восторгом приняли это предложение: напакостить начальству им всегда было по сердцу. Остальную часть пути кантонисты не шли, а чуть ли не летели: так понравилась им оригинальная затея их любимого начальника.

Тихо, крадучись, подошел отряд к плацу и за углом казарм приостановился.

Смеркалось. Заведение стояло вольно, то есть говорило, кашляло и оправлялось.

Воспользовавшись этой удобнейшей для нападения минутою, Добреев вдруг затрубил в рог, отряд подхватил, затрещал, захлопал, собаки залаяли, бросились вперед, отряд за ними с криком: «Ату его, ату его».

Заведение смешалось, в рядах его поднялся шум, визг, началась давка, беготня, драка и суматоха невыразимые. Большинство кантонистов заведения, сообразив, в чем дело, мгновенно передались в неприятельский лагерь и вместе с нападающими начали ципать, колотить свое начальство. А Добреев, помахивая в воздухе белым платком, все сильней и сильней напирал с удесытерившимся отрядом на офицерство заведения.

Около получаса продолжалась битва и кончилась тем, что неприятель разбежался и на плацу остались трофеи: кантонистские

и офицерские шапки, ключья разорванных собаками мундиров, штанин, обломки шпаженок и проч.

Осмотревшись, победители сами перепугались своего подвига и вопросительно переглядывались.

— Спасибо, ребята, — сказал Добреев, — сто раз спасибо вам. Ежели вас станут допрашивать, говорите, я приказал.

Наутро оказалось, что сверх множества затрепанных, которые получили начальственные лица, еще и собаки покусали некоторых. Затем официально участвовавшим в нападении кантонистам третьей роты задали, дня через два, общественную поронцу, то есть драли человек 50 сразу, и, хоть им жутко было лежать под розгами, зато они приобрели громадную славу, о которой знало и с благоговением рассказывало отдаленнейшее потомство кантонистов. Долго думали, что сделать с Добреевым, наконец в уважение разных обстоятельств, компрометировавших само начальство, сочли его поступок шалостью, с тем чтобы он оставил заведение.

V

ЧЕТВЕРГ. ЧЕТВЕРТАЯ РОТА В БАНЕ И НА СПЕВКЕ

Одно из наиболее тягостных событий казарменной жизни составляли телесные осмотры, проводившиеся по четвергам. Ожидание таких осмотров повергало многих кантонистов в уныние.

— Огляди меня, пожалуйста, Федоров, а потом я тебя, — говорит раздетый донага кантонист одному из своих товарищей.

— Ты, брат, чист, чесотки нигде нет, — утешает тот, внимательно осмотрев его, — вот только и есть на левой ляжке царапина. Подойдешь к правящему, так ноги-то, знаешь, сдвинь поплотней, он при огне ее и не заметит. Ну, а у меня ничего нету?

— Ничего, кроме рубцов от розог. А рубцы-то, брат, синие-пресиние...

— Уж, брат, и порют! Ведь сегодня неделя, как отодрали, а синяки еще не сходят. Ну да, по мне, пушай хоть век не сходят: это не чесотка, а сечение, стало быть, и отвечать не за что.

В другой паре осматривающих друг друга кантонистов идет такой разговор:

— Ах, сердешный! Выдерут бесприменно: вишь, обчесался как!

— О, чтоб их! Нешто я виноват? Намазали прошедший раз в бане какой-то поганой мазью, и болячки вместо того, чтоб зажить, еще пуще разгноились... Ежели опять отдерет, расковыряю чем ни на есть больное бедро, уйду в лазарет, а оттуда в неспособные: авось вырвусь из этого омута. Ведь уж пора: 20-й год пошел.

Явился правящий.

— Эй, вы! — кричит он, обводя взглядом толпу раздетых донага кантонистов, — подходи по ранжиру!..

Выкликнутый подходит. Капрал тщательно освещает его тело с ног до головы, а унтер везде рассматривает.

— Сорокин, где Сорокин?

Все оглядываются. Отклику нет.

— Где же Сорокин? — повторяет правящий. — Подайте мне сюда Сорокина.

— Здесь! — отзывается Сорокин, мальчик лет 15, «маска».

— Где ты пропадаешь?

— Нигде-с... я недослышал-с...

— А чем это от тебя пахнет? Никак крепкой водкой?

— Не могу знать-с... я ничего... право, ничего-с... Вам, может, почудилось...

— Разве я не слышу дух? Меня не обманешь. Ну-ка нагнись головой вниз с ногами наравне.

Сорокин стоит неподвижно.

— Ну?

— Да чего вам от меня нужно? Не стану я нагибаться!

— Повалите-ка его ребята на кровать да хорошенько, чтоб разглядеть...

Приказание мигом исполнилось, и Сорокин осмотрен.

— Ге-ге-ге! Так вот ты отчего прячешься! Понимаю, понимаю!

— Оставьте лучше меня в покое, не то я жаловаться стану.

— Я тебе погрожу. Розог!

— Только троньте, ей-ей беду вам наделаю.

— Отчего ты болен?

— Отчего? Гм... Да от вас, слышите, от вас. Довольны или нет?

— Молчать! В клочки разорву. Пошел прочь, гадина этакая, да моли Бога, что мне недосуг с тобой расправиться теперь же, ну да я уже тебе припомню.

— Не страшайте, не боюсь, — молвил Сорокин, оделся, добрел до своей кровати и глухо зарыдал: и боль, и стыд доняли его.

— Егор Антонов, подходи ближе! — Унтер осматривает. — И ты начинаешь чесаться? Отпусти-ка ему десяток горячих, чтоб не чесался.

Не успел Антонов и рта разинуть, как его уж стегали.

В заведении вообще полагали, что розги — лучшее лекарство от всяких, особенно кожных, болезней. И потому в целях искоренения недугов в дни осмотра начальство бывало особенно щедро на розги. Совершенно невредимыми выходили из телесного осмотра очень немногие. Зато все по окончании этой тягостной процедуры отправлялись в баню, где чесоточных ожидали новые мучения.

Баня была на казарменном же дворе и состояла из предбанника и самой бани; каждая комната, будучи не особенно тесно набита народом, могла вмещать в себя человек 30—40. Но с кантонистами

не церемонились: их вгоняли туда человек по 100. В предбаннике ни скамеек, ни лавок не полагалось. Когда кантонисты разделись, их, чтобы не выстудить баню, вогнали туда всех разом и заперли на задвижку снаружи. В самой бане, у одной из стен, стояли два ушата громадной величины, наполненные теплою и холодною водою, которую служитель раздавал по одной только шайке на два человека. При этом были приняты меры, чтобы никто не мог два раза являться за водою. Кантонисты располагались для мытья на ступеньках полка, на самом полке, на лавках, тянувшихся вдоль стен, под лавками, посреди бани и на полу. Кто опаздывал захватить место, тому приходилось мыться стоя, держа шайку с водою в воздухе. Мыло выдавалось десятичным ефрейтором в самом скудном количестве, а именно по кусочку золотников в 10 весом на целый десяток. Кантонисты, намочив голову полученною теплою водою, подходили поочередно к ефрейтору, тот намыливал им одну лишь голову, отнюдь не дотрагиваясь ни до какой другой части тела. Веники отпускались тоже по одному на десяток, но и их при выходе из теплой бани отбирали в сдачу, для следующих парильщиков.

Теснота в бане, давка, ругань из-за места, где сесть, драка из-за веника, плач из-за расплесканной воды, украденной портянки, которая была захвачена с собою для стирки; густой, удушливый пар, обнаженные тела, гладко стриженные головы, истомленные, бледные лица и чад — все это представляло такую картину, которая поразила бы и самого хладнокровного зрителя.

Через час по команде унтер-офицера кантонисты бросились в предбанник одеваться. Все ли вымылись, хорошо ли вымылись — до этого никому не было дела; вся забота начальства заключалась именно в том, чтобы приказание свести роту в баню было в точности исполнено, очередь была бы отведена. Оттого, ежели кто после команды «Выходить» хоть на минуту запаздывал, неминуемо отведывал комля веника. Минут через десять по выходе в предбанник, дверь из которого вела прямо на улицу, кантонистов фронтом вели уже обратно в казармы.

Часу во втором пополудни доходила и до чесоточных очередь идти в баню. Их водили всегда отдельно от чистых. Загнав их в баню, также сразу человек 80, им раздавали вышеописанным порядком мыло, воду и веники и заставляли мыться. Потом, когда они размывали болячки на телах, их выгоняли в предбанник, подводили поочередно по два человека к служителям, которые намазывали каждого с ног до головы мазью, составленной из дегтя, соли и квасцов. Затем их пропускали человек по 30 снова в баню и загоняли на полку, где им приказывалось непременно стоять; служители поддавали пару так сильно, что дыхание захватывало, а два унтера занимали позицию на нижних ступеньках полка, держа в руках розги и наблюдая, чтобы все парились вениками

и не смели сойти вниз. Так продолжалось около получаса, то есть до тех пор, пока мазь взойдет в тело и засохнет в нем. Мазь страшно кусалась, на полке поднимался плач, вой и стон. Затем прямо с полка чесоточных выгоняли в предбанник одеваться. Окачиваться водой им строжайше воспрещалось.

Пока чесоточные мылись, здоровые кантонисты четвертой роты успевали с час поучиться фронту, а с возвращением чесоточных тотчас раздавался крик: «Песенники и новички к фельдфебельской, а остальные — слушать! Живо!»

Начинался урок пения. У фельдфебельской кровати десять сдвинули в сторону; до 40 кантонистов становились в кружок в две шеренги; у некоторых из них в руках бубны, тарелки, у одного камертон. Посередине кружка становили табурет, а на нем усаживался здоровый высокий мужчина, лет 45, поручик Федоренко, ротный командир этой роты.

— Прибывших сюда! — крикнул Федоренко, молодежато поводя глазами. Кружок расступался, и фельдфебель вводил в него двух-трех мальчиков.

Федоренко осматривал новичков с головы до ног.

— Какую песню знаешь? — спрашивал он одного из них.

Новичок смотрит ему в глаза с недоумением.

— Какую песню знаешь?

— Знаю... Знаю...

— Какую же? — топнул ногой Федоренко от нетерпения.

— «Вдоль по улице метелица метет».

— Всю? — уж ласково продолжает Федоренко.

— Всю.

— Пой.

Новичок теряется.

— Пой же!

Новичок запекает.

— Громче, громче! Вот так, вот эдак.

Новичок ободряется и постепенно входит в голос.

— Молодец, брат, молодец! — хвалит Федоренко, ощутив приятность звонкого чистого голоса. — В песенники его, в песенники! Становись сюда.

Мальчик присоединяется к хору.

— А ты умеешь петь? — обращается он к другому новичку.

— Нет, не умею.

— Как не умеешь? Быть не может, чтобы ничего не пел. В деревнях все песни поют.

— Вот те Христос, не певал.

— Так кричи: «Слу-шай», да, смотри, врасстяжку: «Слу-шай».

Новичок молчит.

— Что ж ты? Кричи!

— Слу-шай! — вполголоса затягивает новичок.

— Шибче, шибче, — приказывает Федоренко и для пущего вразумления хлысть его здоровеннейшею ладонью по щеке.

Тот взвизгивает на всю комнату.

— Хорошо, хорошо... И этого в песенники.

— А ну-ка ты! — приказывает он третьему.

Третий вскрикивает: «Слу-шай» что есть мочи.

— Ну ты ни к черту не годишься. Пошел прочь, дрянь эдакая.

Немного помолчав, Федоренко обращается к хору с наставлением:

— Хорошенько откашляться; в пении у меня не хрипеть, вперед не выскакивать, позади тоже не оставаться. Брать тон дружно, вместе, всякий голос знай свой такт. Где нужно тихо — щебечи, как снегирь, где надо громко — стрельни, как пушка. Чувствуете? Ну, а где надо ровно, плавно — раздробись на соловьиную трель и тяни раскатиasto, как ружейная стрельба. Слышали? Поняли? Ну, с Богом! «Ты помнишь ли, товарищ неизменный?» Сапунов, начинай со мной вместе. (Сапунов, малый лет 20, был главным его помощником и запевадой.) Раз-два-три!

— «Ты помнишь ли, товарищ неизменный?», — запекает Федоренко, подперев щеку левою рукою. — «Так капитан солдату говорил; ты помнишь ли, как гром грозы военной святую Русь внезапно возмутил?»

Песенники подхватывают.

— Оставить! — вдруг среди песни гаркнул Федоренко, побавровев.

Хор смолкает.

— Ну как вас не пороть, свиньи? Как вас не пороть, когда вы своим криком режете кишки мои, визжанием пилите мне по сердцу? Козлы вы этакие! Берегись! «Грянул внезапно»... слушать меня! Припевать в такт! Вздую, ей-ей вздую.

Грянул внезапно гром над Москвою,
Выступил с шумом Дон из берегов;
Все запылало мщеньем, войною,
Ай, донцы,
Донцы-молодцы, —

подхватывает хор.

— Спасибо, ребята! Хорошо, хорошо!

— Рады стараться, ваше благородие.

— Теперь «Вдоль да по речке». Уши, ребята, не вешать, а петь смело, весело. Сапунов, начинай!

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке... —

затягивает Федоренко, притопывая ногами, припрыгивая всем туловищем и хлопая в ладоши.

Вдоль да по бережку... —

продолжает хор.

Он со кудрями, он со русыми
Разговаривает!

Федоренко входит в азарт, выделявая головою самые вычурные кивания.

Кому мои кудри, кому мои русы, —

поет хор.

— Стой, стой, стой! Семенов, что ты орешь-то в чужой голос, а? Вперед, розог!

— Это не я, ваше благородие, ей-ей не я, — отпирается Семенов, бледнея от страха.

— Я тебе дам «не я», меня, брат, не надуешь! Я давно замечаю, что ты нарочно фистулой дерешь, думаешь отбиться от хора. Нет, шалишь!

— Да у меня, ваше благородие, ей-богу, грудь болит: как только стану натужиться, так все нутро и рвется, так и хочет выскочить. Простите, ваше благородие!

— Я тебе выскочу! Вздую хорошенько, так перестанешь лодырничать. Ишь выдумал «грудь болит»!

Так продолжались уроки пения изо дня в день целую зиму. А с наступлением лета Федоренко водил хор петь за город. Для загородных пений у него и репертуар песен был особенный — поэтический. Выберет он, бывало, пригорок над обрывом Волги, недалеко от леса, посреди поля, усядется посреди хора на траве и залется так, что заслушаешься. Особенно любил он «Воздушный корабль» Лермонтова, песню «Полоса ль моя да полосынька» и некрасовскую «Тройку».

По горячему увлечению, с каким он пел, видно было, что Федоренко не на свое место попал: человеку стоять бы в хоре цыган, а он каким-то странным случаем попал в военные и очутился учителем у кантонистов. Правда, он прилагал тут все свое старание. Путем розог и долгих усилий он образовал отличный хор песенников, и слава его прогремела по всей окрестности. Едва горожане завидят, бывало, его с песенниками в поле, как уж бегут послушать. Частенько на загородные спевки являлись баре, барыни и даже барышни. Федоренко был в моде. Весь город говорил о нем и не мог нахвалиться его хором. Бывало, какой-нибудь расчувствовавшийся помещик, послушав пение, раздаст из своих рук каждому из басов и теноров по серебряному гривеннику, а альтам и дискантам — по пятиалтынному. Мещанки, солдатки и другие простые женщины придвигаются толпою к песенникам и, крадучись, суют им в руки: кто — калач, кто — сдобную лепешку, кто — кусок пирога, а кто и медный пятак.

— Эк начальник-ат какой добрый да ласкательный, — говорит деревенская баба, обращаясь к городской старушке, стоя невдалеке от песенников. — Сам поет да робят веселит, да балует. Знать, душа человек.

— Да, голубушка, душа человек! — тоскливо отзывается старуха. — Запоешь небось как с лозой-то стоят над тобою. Позавчера вон энтот-то самый душа человек при всем честном народе на этом же самом месте одного малого так исполосовал розгачами, что беднягу в телеге взад свезли!

Впрочем, несмотря на то, что Федоренко и в поле не миловал песенников, они все-таки рады были летнему пению: они дышали свежим воздухом, прогуливались дорогою, да и деньжонки перепали; а кантонист, имея в обшлага шинели гривенник, считал себя богачом и был несказанно счастлив. Быть песенником кантонисты считали для себя великим несчастьем и всячески старались не попасть в хор. Но, раз очутившись на спевке, не было уж положительно никакой возможности освободиться из песенников, кроме разве смерти да выхода на службу. Но и от службы Федоренко удерживал для пользы хора года по три, по четыре сряду, так что иной годов двадцати двух-трех едва вырывался на службу, и это толкало иногда кантонистов на крайние меры. Один кантонист, которому особенно опротивела обязанность песенника, решился во что бы то ни стало выйти из хора. Достав где-то постного масла, он вышел потихоньку на мороз, выпил все масло и продержал с четверть часа рот разинутым — к вечеру осип, а утром другого дня уж не только чисто петь, но и говорить не мог.

Первоначально Федоренко сформировал хор с разрешения начальника из всего заведения, а потом пополнял убыль новичками и переманкою из других рот голосистых мальчиков. Принадлежности пения, как-то: песенники, камертоны, бубны и прочее покупал он ежегодно на свои деньги. Хороший песенник мог смело ничего не знать из пунктиков и других наук и ничуть не тревожиться; все это Федоренко считал пустяками сравнительно с песнями и звонким голосом и никогда за это не взыскивал. Его помощники, низшие начальники кантонистов, тоже остерегались в угоду ему быть песенников зря. Одевал он песенников всегда в крепкую, хорошую казенную одежду. Страсть к пению до того в нем была сильна, что как бы начальник жестоко ни распек его, если только песенники тотчас стройно споют песню, он вполне утешен, забыл и полковника, и все на свете. Он был одинокий старый холостяк, происходил из крестьян, вышел в офицеры из гвардейских фельдфебелей, вел себя скромно, уединенно, и казалось, вся жизнь его заключалась исключительно «в песенниках», подобно тому, как жизнь Тараканова ушла в шагистику, а Живодерова — в экзекуции.

ПЯТНИЦА. ПЯТАЯ РОТА НА РУЖЕЙНОМ
И СТРЕЛКОВОМ УЧЕНИЯХ

Манеж расположен сзади казарм. Там в 7 часов утра рота со своим командиром штабс-капитаном Свиныевым, тоже отчаянным фронтовиком.

— Ружье на плечо! — командует он, хотя у кантонистов никаких ружей не было.

Кантонисты ударяют ладонью правой руки по собственному левому плечу и моментально опускают руки по швам, загибая пальцы левой руки в горсть, как бы держа в них ружье.

— Эй, кто там плечом вертит? Ружьем, помни, владеешь! На кра-ул!

Кантонисты сгибают обе руки в кулак и ударяют правую — в левый бок, а левую — в грудь.

— Отчего плох темп? (звук). Отставить!

Кантонисты опускают руки по швам.

— На кра-ул!

Кантонисты снова стучат себя в бок и в грудь. Свиныев заходит с левого фланга и смотрит, ровно ли вытянулись кулаки.

— На плечо! Делать прием плавно; когда берете на караул, не дребезжать, а делать удар сразу, как один человек. Ровней штыки, штыки! — продолжает он с правого уже фланга.

Вдруг кто-то оглянулся.

— А-а?.. Это ты, Самсонов, шевельнуться вздумал? Ты? Важности фронта, каналья, не понимаешь! Ладно! Грудь вперед. Ружье на ру-ку! — И горячась, и командуя, он забегает то справа, то слева как будто в самом деле что-нибудь путное делает.

Какому-то кантонисту надоела вся эта комедия, и он вздумал потешиться — опустил обе руки.

— Ты как смел опустить ружье к ноге, не дождавшись команды? — закричал на него, побагровев, Свиныев.

— Никак нет-с, ваше благородье, — громко отвечает виновный, — я ничего не опускал.

— Как ничего? Все держат ружье на руку, а ты зачем опустил его к ноге?

— Никакого, ваше благородье, ружья у меня в руках не бывало.

— Ка-ак?.. У тебя нет ружья?..

— Никак нет, ваше благородье.

— Что за дьявольщина? Как нет? Эй ты! — обращается он к другому кантонисту. — Есть у тебя ружье или нет?

— Есть, ваше благородье.

— Да врет он, — вмешивается шутник, — и у него нету. Мы отродясь ружья и не видывали. Какое же ружье? Извольте сами поглядеть.

— Так ты еще спорить?

Три пощечины, и снова команда: «Ружье на руку».

— Хоть убейте, ваше благородье, а на руку ружья взять мне неоткуда. Понапрасну только деретесь.

— Тьфу ты, сволочь проклятая! — Свиньев плюет ему в лицо и отходит на середину.

— Рассыпаться! — командует он, собравшись с мыслями и приступая к исполнению на практике тех сигналов, которые кантонисты теоретически разучивали, сидя в десятках.

«Та-ти-ти, та-ти-ти, ти!» — выигрывает на рожке горнист. Происходит деятельное учение, кантонисты сходятся, расходятся; задние ряды выбегают вперед, делая вид, будто хлопанье рук заменяет выстрелы. Свиньев мечется в сильнейшем волнении, воображая, что присутствует при настоящем сражении.

— В грудь, ребята, прямо в грудь неприятелю целься! — кричит он.

— Головы на левый бок! Стрелять правильно! Иванов, левую ногу больше вперед! Куда, бестия, целишься, куда стреляешь? Прицеливайся снова. Да глаз-то левый, глаз прищурь, — горланит он и с азартом тычет пальцем прямо в глаз кантонисту, неправильно целившемуся.

Тот пошатнулся и упал навзничь без чувств*.

— Оттащить его в угол, — закричал Свиньев.

Приказание исполнилось.

— Ложиться! Стрелять! — идет между тем бешеная команда. — Афанасьев! Что лег головой-то на поле? Спать, что ли, собрался? Отбой!

После обеда, по пятницам, все роты в полном составе муштруются ротными командирами или в крайнем случае их помощниками.

— Завтра на батальонное учение, — объявляет капральству правящий на вечерней переключке. — Одеться почище, маршировать с прилежанием, а рты не разевать. А кто из больших желает идти за опилками — шаг вперед.

Человек десять с правого фланга выдвинулись. Выбор, однако, пал только на четверых; остальные отступили назад, повесив головы.

Идти за опилками желал всякий: этим он освобождался от батальонного учения и мытья полов, а и то и другое, как читатель убедится ниже, было слишком тяжелою работой. Ходили за опил-

* От этого тычка кантонист почти окривел навсегда. Он теперь в Петербурге и на левый глаз видит самую малость.

ками человек по 12 из роты под командою унтера за город, на берег Волги, где постоянно пилились бревна на суда, барки и лодки, отправлявшиеся ежегодно с казенною солью и хлебом вверх по Волге. Каждые два человека обязывались принести опилок по рогожному мучному кулю. Опилки доставались большею частью с трудом, так как пыльщики, нередко обкрадываемые вечно голодными кантонистами, не любили последних. Из-за опилок кантонисты затевали обыкновенно с пыльщиками ссору, всегда переходившую в драку. Среди схватки пустят, бывало, работникам в глаза по пригоршне предварительно, на подобный случай, запасенного песку или даже нюхательного табаку, и, пока рабочие протирают да промывают глаза, кантонисты успевают набрать опилок и уйти с добычею.

VII

СУББОТА. ЗАВЕДЕНИЕ ЦЕЛИКОМ НА ФРОНТОВОМ УЧЕНИИ И МОЕТ ПОЛ

Все заведение стоит в полном его составе в 7 часов утра, тремя шеренгами, вдоль трех стен манежа и выравнивает ноги по протянутой веревке. Не только нижние чины и кантонисты, но и офицеры тщательно осматривают себя, боясь, как бы в их одежде, в осанке, даже в физиономии не оказалось чего-нибудь такого, к чему мог бы начальник придрататься.

— Едет, — кричит унтер, карауливший начальника за углом.

Веревки мгновенно сняли, и все замерло. Вошел Курятников, поздоровался, величественною, надменною поступью обошел фронт, стал посреди манежа и обвел орлиным взором фронт. Все сдерживают дыхание; ничто не шелохнется. На беду кто-то чихнул.

— Заметить и после учения выпороты! — закричал Курятников. — Маршировать с тактом, с выдержкой, не ошибаться.

Началось учение.

— Подпоручик Гусев, где стоите? — спросил Курятников, выстроив из заведения каре. — Вон из фронта!

Гусев вышел и стал у стены.

— Отчего, унтер-офицер, не занимаешь офицерского места, а?

Учитель-унтер-офицер, трясаясь, как в лихорадке, выдвигается в переднюю шеренгу.

— Да у тебя еще и крючки мундира расстегнуты? Вперед!

— Вашескородье, простите; в первый и последний раз; больше никогда не заметите.

— Вперед, без разговоров!

Учитель выходит.

— А ты, поросенок, что смеешься, а? — обращается Курятников к правофланговому кантонисту того же взвода, офицеру и унтер-офицеру которого так не посчастливилось. — О чем смеялся?

— Я, вашескородье, не смеялся, — плаксиво оправдывается кантонист, — у меня верхняя губа шибко зачесалась, я дернул ее нижнюю губою, точно так-с...

— Бертел губами — значит, шевелился. На середину.

Окончив экзекуцию, Курятников снова повел свои колонны к атаке воображаемого неприятеля, снова строил каре, разворачивал и свертывал фронт, бранил всех без разбора, собственноручно колотил и вообще неистовствовал самым диким манером.

Около 12 часов кончилось учение. Кантонисты, ни в чем не замеченные, стремглав бежали в казармы; замеченные же, понуря головы, шли шаг за шагом, раздумывая: «Простят ли совсем, нарядят ли на ночь на часы или же отдерут?» Степень наказания в этих случаях находилась также в полной зависимости от Курятникова: если он сильно распекал — замеченных драли, если только выговаривал — их наряжали на часы, если же благодарил за учение — их совсем прощали. Последнее, впрочем, случалось редко.

Мытье полов производилось после обеда. В спальнях кровати сдвигались в угол, и кантонисты в одном белье, держа в руках голики, насаженные на длинные палки, выстраивались в шеренги.

— Где Парашкин? — спрашивает капрал.

— Голик, надо полагать, ищет, — отвечает кто-то.

— Вон он идет, — подхватил другой.

— Люди стали уже мыть, а ты где еще шляешься? Да и без голика?

— У меня был хороший голик, да кто-то его утащил из кровати, — оправдывается Парашкин, а у самого уже зуб на зуб не попадает.

— Вишь, чем вздумал оправдываться — «вытащили». Чтоб через пять минут был у тебя голик, не то запорю, слышишь? Пошел!

При мытье пол поливали водою, после чего ефрейторы посыпали его опилками, а простые кантонисты по команде капралов принимались растирать опилки, медленно двигаясь шеренгою вперед и назад, от одной к другой стене. После троекратной перемены опилок и трехчасового мучительного труда пол оказывался вымытым так чисто и становился так бел, как деревенский стол у чистоплотной хозяйки.

В субботу вечером кантонистам было предоставлено пользоваться отдыхом. Несмотря на это, многие из них сновали из угла в угол с озабоченными физиономиями. Это были мальчишки, имевшие в городе родных, родственников или даже просто земляков, к которым намеревались проситься на воскресенье в отпуск.

При всей тяжести кантонистской жизни, по-видимому, одинаково убийственной для всех, житье мальчиков было различное. Некрасивым было тяжелее, нежели тем, которые обладали смазливою физиономией. Некрасивых обходили должностями, чаще били и одевали хуже, давая им донашивать старую одежду с плеч красивых («масок»), которую приходилось ежедневно чинить и в которой со двора никоим образом не пускали.

Бывало, перед праздником какой-нибудь корявый просил «маску»:

— Дай, Тимоша, куртку, со двора сходить. Твоя куртка мне в самую пору; я тебе за это калым (домашнее печенье) принесу.

— Отчего не дать, — отзывается «маска», — мне все равно дома сидеть. А что принесешь?

— Право, не знаю, потому идти-то хочу не к родной матери, а к двоюродному дяде. С пустыми, одначе, руками никогда не ворочался. Что принесу — тем и поделюсь пополам.

— Калым твой мне не нужен, а принеси ты мне пятаковый калач, не то и куртки не трогай.

— Да ведь калач-то, Тимоша, купить надо, а денег, может, и не дадут; как же я тебе вперед слово дам?

— По мне хоть укради, хоть купи — все единственно, а только подай. Пятак, чай, и Христа ради набрать недолго.

— Да уж буду стараться.

— Ну а кровать твою кто же сторожить будет? Ведь изомнут.

— Ну и пушай. Не тебе отвечать.

— Известно, мне. Потому я виц-ефрейтор. Ну да ладно: тащи калач да калым. Я уж присмотрю.

В другом месте дядька сам предлагает племяншу идти со двора.

— И куртку дам, и брюки достану, — внушает он, — только чтобы, знаешь, съедобного — побольше. А уж ефрейтора я упрошу пустить, ты ему притащи листов шесть бумаги.

— Слушаю-с.

Аристократия тоже готовится к отпуску. Капрал рассуждает с одним кантонистом, имеющим сильную протекцию и потому никого не боящимся:

— Идешь завтра со двора?

— Известно.

— Что же не чистишься?

— Чай, племянш давно уже вычистил.

— Ефрейтору сказывался?

— Это зачем?

— Затем, что порядок.

— Ну это для других порядок, а мы иначе. Захотим со двора — иду прямо к фельдфебелю, выпрашиваюсь у него, и вся недолга.

— Лафа тебе прятаться за маменькину-то спину.

— А тебе разве хуже моего? Чай, твой отец казначей, одежду тебе шьет тонкую, денег дает, кататься с собой возит, заступается. Чего же тебе еще?

— А все же твое дело получше. Ты ни за себя, ни за кого и ни за что не отвечаешь, живешь себе по вольности дворянства, а я? Мне никогда покою не дают. Противно мне капралом быть. Потому что я такое? Палач. Своих же драть должен. Другие вон капралы с удовольствием дерут, шагу не делают без розги, а я, как слышу «розог», убегаю сломя голову в коридор, в цейхгауз, даже в чужую роту, чтоб только драть не пришлось. Ну, а ведь не всегда удается улизнуть, и... и плачешь да дерешь! Намедни я вон учил шеренгу, поправил Тихонову стойку да и сказал ему что-то вполголоса смешное, он и улыбнулся. Капитан заметил это и закричал: «Розог!» Принесли. Он и приказал Тихонову ложиться. Я было заступаться за него: я, мол, виноват, а не он — не взяло; пытался отнекиваться палачествовать — тоже не помогло... Ударил раз-другой потихоньку, а на третьем бросил розгу да заплакал: жаль стало Тихонова. Капитан встал, взбесился. Ну и что же? Хватил он меня по уху своею медвежьей лапищей так, что я кровью облился, две недели почти глухим ходил; да еще нотацию — какую бы ты думал? — выслушал от него. Ежели, говорит, начальство велит — всякого должен сечь, хоть бы отца родного — все равно, говорит, потому я, начальник, велю, а начальнику никто не указ. Я жаловался отцу, да он толкует тоже неладно: ты, говорит, должен благодарить начальство: оно о тебе заботится. Вот ты и поговори с ним! А ведь какая боль эти розги — я по себе знаю: когда я прибыл в кантонисты, правящий в деревне, на телесном смотре, в сарае, за царяпину на локте отпустил мне по чем попало таких десятков, что я свету божьего неувидел.

— Да уж, житье! — со вздохом заметил собеседник.

— На что хуже!

— Особливо новичкам.

— Беда! Прибудет малый — кровь с молоком, а через год еле дышит. Жалости подобно, ей-богу! Я и хочу вот подобрать в свое капральство ефрейторов подбробнее, чтоб не дрались, значит. Попросись, Коля, ко мне в ефрейторы, право, друг, хорошо будет.

— Самого ефрейторства мне не надо: простым лучше, а добро делать готов, ужю потолкуем об этом.

Тут разговор был прерван подошедшим кантонистом, который обратился к одному из беседовавших.

— Дмитрий Михалыч, — молвил он, — к фельдфебелю пожалуйте, они вас уж два раза кликали; там какой-то мужик пришел, точно кучер, толстый, да с черною бородою.

— Это отец, значит, прислал за мной. Хочешь, Коля, покататься, — иди просись со двора теперь вместо завтра. Нам, кстати, ведь и по пути.

— И то дело.

Сказано — сделано. Товарищи приоделись и уж совсем было собрались в путь, как встретились с капралом Рудиным.

— Это куда? — спросил тот Колю, простого рядового.

— Домой.

— Как так? Без спросу?

— Фельдфебель уволил.

— А я нешто не начальник твой?

— Коли фельдфебель уволил, так тебе, братец мой, молчать уж надо. Туда же — начальство!

— Покажи билет!

— Фельдфебель поверил мне без билета, а ежели ты Фома неверующий — так пойди спроси его. Отстань ты, кикимора эдакая!

— Ах ты дрянь! Еще дразнится.

Тут произошла схватка, в которой капралу плохо пришлось.

— А-а-а! Ура! — одобрительно заголосили собравшиеся кантонисты, увидев, что их капрала бьют.

— Вот тебе на память, — заключил Коля и побежал к двери.

Очнувшись, капрал запальчиво подскочил к первому встречному, ударил его, за ним следующего и таким образом отомстил свое поражение и водворил тишину. Тем не менее даже побитые были благодарны победителю и восторгались его удалством.

Кантонистов с таким образом мыслей, как у вышеупомянутых собеседников, приходилось человек по 5—8 на роту, и они служили предметом обожания остальных простых кантонистов. К ним всякий слабый некрасивый кантонист смело обращался за защитой перед ротным командиром, унтером и фельдфебелем. К ним прибегали с просьбами об освобождении от дядьки, о переводе в другой десяток, об увольнении в отпуск за город, о перемене рваной куртки, худых сапог. Им жаловались на жестокое обращение ефрейторов и дядек. У них же выпрашивали бумаги, перьев, в голодную пору хлеба либо копейку, иголку, нитки, пуговицу, костяшку; просили о сложении со счета потерянной казенной портянки, медного креста и т.д. Личности эти, цenia свое положение, никому ни в чем не отказывали, если исполнение просьбы было по их силам, а выше их сил было очень немного благодаря их связям; численность же их в сравнении с составом заведения оттого была так ничтожна, что начальство всячески старалось озлоблять кантонистов друг против друга, наказывая одного за неисправность нескольких, поощряя жестокосердных похвалами и осмеивая и нередко наказывая мягкосердных.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗАВЕДЕНИЕ ПРАЗДНУЕТ

Начинает светать.

Кантонисты встают и начинают копошиться: кто у печки, кто у ночника.

— Ты, Куропаткин, пойдешь со двора? — спрашивает один кантонист другого, начищая сапоги.

— Рад бы идти, да не знаю, как быть.

— А что?

— Да билета нет.

— Этой беде я, пожалуй, пособлю: писарь пишет билетки по копейке серебром, а у меня есть семитка (2 копейки), вот нам и два билета. Чур, вместо одной вернуть мне после две копейки.

— Спасибо, друг, большое, Гриша, тебе спасибо.

— И стоило же мне труда приберечь этот семишник! Несколько раз голодал, вот-вот хотел проесть, а удержался-таки. Лучше, мол, со двора идти, чем проесть.

Около письменного стола ротного писаря толпятся спозаранку множество кантонистов. Одни подходят смело, другие робко; одни, отходя от стола, прыгают от радости, другие — плачут от горя. Рука писаря проворно скользит по лоскуткам серой бумаги и так же проворно берет с просителей копейки, опускает их в ящик стола, живо перескакивает на бумагу и снова строчит билетки.

— Пахомов! Твой билетик не годится, — говорит писарь, сбрасывая со стола лоскуток бумаги. — Если хочешь сам писать, вперед спроси как.

— Отчего же не годится? — плачевно спрашивает Пахомов, побледнев. — Я с вашего же списал и, кажется, верно.

— А зачем же ты подписался за капитана? Этого делать нельзя.

— Да ведь вы же подписываетесь за него, отчего же и мне нельзя?

— То я, а то ты. Я вон подписываю за капитана и рапорты, и книги не чета вашим паскудным билетикам, а ты этого не смеешь. Хочешь со двора — заплати, напишу новый билет, а не хочешь — убирайся прочь отсюда.

— Рад бы заплатить, да денег нет ни полушки. Из дому идучи, будут бесприменно. Подождите, пожалуйста.

— Хорошо. Принести мне на две копейки орехов; готовься поди, получишь билет.

— Парадные к фельдфебельской! — слышится зов по комнатам роты, в девятом часу.

Накануне наряженные по очереди к обедне человек по пяти из капральства, одетые в лучшую по возможности одежду, тщательно

осматриваются фельдфебелем и отправляются фронтом в церковь под командою дежурного унтера.

— Рота к артикулам! — раздается новый зов по уходе парадных.

Кантонисты собираются в самую большую комнату роты и выстраиваются рядами и группами между кроватями. Против них располагается у высокого стола учитель, раскрывает толстую книгу и начинает читать во всеуслышание. Что такое он читает — бог весть. Ясно только звучат в ушах кантонистов выражения: «Прогнать шпипрутенами чрез сто человек три раза, шесть раз», «Ссылается в каторжную работу на двадцать лет», «Наказывается лозами тремястами ударов». При этом трусливые кантонисты вздрагивают, бледнеют, опасаясь, как бы их сейчас не разложили и не отсчитали бы им такое число ударов. Чтение продолжается до возвращения парадных из церкви. Во все время чтения никто не смеет шевельнуться. Происходило это чтение еженедельно по воскресеньям. Тем не менее смысл их узнавался уже после, на службе.

Кончилась обедня, кончилось и чтение; остается идти в отпуск. Но, как назло, предстоит еще осмотр. Соберут всех гуртом и осматривают: сперва дядьки, потом ефрейторы, капралы, правящие и, наконец, фельдфебель. Сколько придинок, сколько неприятностей! Иной совсем уверен, что сейчас уйдет домой, — и вдруг препятствие.

— Отчего сапоги плохо вычищены? — грозно кричит фельдфебель.

— Да они, Ермило Ефимыч, уж такие шершавые-с. Кто их знает? Чистил, чистил — не отчищаются.

— Ну и сиди тут, домой не пойдешь, — решает фельдфебель и уже обращается к другому кантонисту, чем-нибудь провинившемуся перед ним в течение недели: — Ты тоже в отпуск? Нельзя. Ступай в столовую — заменишь Егорова. Он там дежурный, — приказывает фельдфебель.

— Будьте добры, пустите. У меня мать при смерти...

— Толкуй, толкуй! В столовую!

Немногим счастливым удастся благополучно уйти со двора. Оставшиеся дома пообедали. Унтера, фельдфебеля тоже разошлись кое-куда. Ротами остается править один лишь дежурный унтер.

Тут только настает настоящий праздник. Дозволяется играть, бегать, шалить без стеснения.

Начинаются игры.

Тотчас же в одной комнате сдвигаются две кровати вместе, четыре человека нагибаются, придерживая один другого руками за спину и свесив голову набок (образуя таким образом из себя род гимнастической кобылы), а человек шесть-семь со всего разбегу прыгают на них и садятся верхом один за другим до тех пор, пока

кто-нибудь не свалится или не уронит другого. Тогда прыгавшие заменяют собою кобылу, а служившие кобылою начинают прыгать.

В другой комнате сдвинут также в сторону несколько кроватей, совок из двух полотенцев жгут, сядут человек десять в одних брюках и рубашках на пол в кружок, ногами в середину, накроются до туловища двумя одеялами, и все прячут под них руки, а кто-нибудь и сам жгут. Один по жребию садится в середину, на одеяла, и по условному крику «Готово» его ударяют со всего размаху по спине жгутом, который мгновенно прячут; ударенный начинает искать жгут, между тем как тот передается из рук в руки, снова ударяет его по боку и снова исчезает под одеялами. Так продолжается до тех пор, пока жгут не будет найден, после чего в середину круга садится тот, кто не успел спрятать жгут. Играющие входят мало-помалу в азарт, шумят, пугают, обманывают сидящего в середине и хлещут его беспощадно. Если же искателем жгута очутится какой-нибудь злой ефрейтор или сплетник — ему отомстят за все. Жаловаться в этом случае нельзя: игра дозволена, и от доброй воли каждого зависит играть в нее или нет. А если «общественный враг» ловок, ему подкинут жгут под бок, под спину, знаками дадут понять это ищущему и все-таки заманят его на середину. Стоит ему раз попасть туда, как его уже пошли хлестать, пока не натешатся вдоволь. Жажда мщенья была чрезвычайно сильно развита в кантонистах. Так они, например, частенько сговаривались человек десять задать баню врагу; поручали кому-нибудь из его приятелей пригласить его играть, сами притворно перед ним юлили, егозили, сначала нарочно поддавались ему, а потом, раздражив успехом, залучали на середину и так колотили, что, по собственному их выражению, чертям тошно становилось.

Многие из уволенных со двора бродили между тем по базару, собирали Христа ради, а где не подавали — там воровали все, что попадало под руку. Их, разумеется, ловили, причем дело не обходилось без побоев.

По воскресеньям, пользуясь большею свободой, некоторые смельчаки предпринимали экскурсии с мародерскою целью. Сняв с шинелей погоны, чтобы не узнали, чьи они, берут они с собой для большего удобства еще несколько человек и вместе отправляются за магазины. Там в это время множество простонародья из военных и невоенных мужчин и женщин. Это своего рода клуб.

Тихо, скромно подходит компания к торговым с разных сторон, человека по три, по четыре. Те, кто с погонами, начинают спрашивать цены продуктам, торгуются, а беспогонные высматривают сзади, что ловчее схватить. Торговки, хоть и глядят в оба, но за многолюдством едва успевают получать деньги, давать сдачи и отвечать на вопросы. Немного постояв и улучив благоприятную минуту, погонные раздвигаются, а беспогонные разом выступают

вперед, схватывают с лотков торговков что можно — два-три калача, кусок говядины, полпеченки, целую требуху, полпирога или каравай черного хлеба. Затем они пускаются бежать в разные стороны, бегут так, чтоб уж не догнали, а погонные моментально сдвигаются в прежнее положение и опять начинают торговаться да ругать беспогонных, давая этим понять, что между ними и грабителями нет ничего общего, подстрекают торговков бежать ловить мошенников, вызываясь между тем покараулить их товар. Иная неопытная торговка поддается их притворному участию и действительно бросится вдогонку за беспогонными, тогда погонные, пользуясь ее отсутствием, расхватывают весь товар и сами мигом разбегаются. Опытная же торговка ограничивается тем, что закричит благим матом, заругается, запросит помощи у публики. Но публика, конечно, остается безучастною, состоя преимущественно из влюбленных пар, явившихся сюда на гулянье. Когда к торговкам приходили по праздникам на помощь их мужья и друзья, им иногда удавалось, правда, славливать грабителей, но тогда затевалась борьба на жизнь и на смерть. Случалось, что и кантонисты бывали жестоко поколачиваемы, но схваченное съестное чрезвычайно редко удавалось отнять у них: кусок моментально перелетал в 10—15-е руки и исчезал. И купленный на последний пятак калач, и схваченный крендель были одинаково дороги кантонистам, которые, вернувшись в казармы, приступали к пожиранию добытого провианта. Находились затейники, любившие оживлять пиршество разными необыкновенными подробностями.

— Ну-ка! — кричит кто-нибудь из таких любителей. — Кто съест калач без конца?

— Я!.. Я!.. Я!.. — отзываются несколько голосов разом.

— Не все, не все вдруг. Ешь ты, Тиханов. Только помни: съешь — твое счастье, не съешь — платишь семишник (2 копейки) штрафа, и остаток калача мой. Давай заклад, вот хоть Иванову.

Залог внесен, начинается забава. Калач вешается на нитку, концы которой Иванов как посредник держит в воздухе, став на подоконник. Тиханов становится на полу возле Иванова, опускает руки по швам, поднимает голову вверх и начинает есть калач, не дотрагиваясь до него ничем, кроме губ, зубов и языка. Владелец калача наблюдает за правильностью «операции», а толпа любопытных окружает их, желая узнать, кто останется в выигрыше. Тиханов топчется вокруг калача, кривит лицо, вытягивает губы и делает пресмешные гримасы, но никто не смеется. Занятию, видно, придается серьезность. От калача уж остается один тоненький, обкусанный крендель, а его-то и надо вобрать в рот целиком; это-то и составляет весь фокус «съесть без конца». Медленно, осторожно вбирает Тиханов в рот, понемножку сгибая, крендель, наполняет им рот, дрожит, синее, глаза у него наливаются

кровью, он пыхтит, глухо кашляет, но продолжает жевать и, наконец, выплевывает одну нитку, привскакивая с места в восторге.

— Молодец, Тиханов, право! — кричит толпа.

— Экий дьявол этакий! — перебивает бывший хозяин калача. — Сожрал-таки, чтоб тебе лопнуть, чертово отродье. — И, плюнув с досады на пол, он отходит в сторону.

Тут же Тиханов получает назад свои 2 копейки.

Другой предлагает:

— А кто, ребята, перешибет одною рукою четыре кренделя? О десятишник (3 копейки) заклад.

— Идет, — отзывается Колоколов, силач, лет 20 с хвостиком.

Толпа окружает и этих.

Колоколов отдает заклад, берет из рук Пустошкина крендели, кладет их на планку кровати, притискивает сверху левою рукою, раскачивает в воздухе правую и ударяет ею с размаху по кренделям. Три половинки отлетели на пол, а четвертая осталась в висячем положении.

— Сорвалось! — вскрикивает толпа со смехом.

— Ну да, сорвалось, сволочь проклятая! — ругается Колоколов. — Да и как тут не сорваться, ежели крендели мягки, как тесто? Будь они сухие — десяток перешибу, а тут ничего не подделаешь!

— Да уж не оправдывайся — не поверим, — дразнит толпа. — Какой же ты такой силач, когда четырех кренделей не перешиб? Отныне ты, брат, уж не силач, а скоморох, ящерица — вот ты что такое стал.

— Ребята, салазки набок сворочу. Видели, чем пахнет? — И Колоколов показывает толпе свой увесистый кулак.

Толпа утихает. Пустошкин собирает с полу кусочки кренделей, берет от посредника трехкопеечную монету Колоколова и хочет уйти.

— Эй ты, Пустошка! Дай-ка кренделька отведать, — не то просит, не то требует Колоколов. — Раздобудусь деньгами — сам поделюсь.

— На, — отвечает Пустошкин, подавая Колоколову два полукренделя.

— Кто, ребята, хочет в орлянку играть либо в караульщики — марш за мной, — говорит Колоколов и уходит.

Несколько человек посильнее и побойчее отправляются за ним.

Сзади манежа, в самом уединенном месте, велась игра в орлянку и на рубли, и на гривенники, и на несколько копеек, и на связку костяшек, и на дюжину медных пуговиц, и даже на лишнюю ситцевую рубашку. Здесь сходились солдаты, смельчаки-кантони-сты, мещане и иной простой люд. Образовав кружок, игроки вызывали желающих караулить: не идет ли начальство или поли-

ция; за это выигравший обязан был вознаграждать их по копейке с выигранного гривенника, по три пуговицы и по четыре костяшки с выигранной дюжины. Начинали игру всегда с пуговиц и костяшек, потом, присмотревшись к игре друг друга, переходили к деньгам. Редкая игра кончалась без драки. Били тех, кто метал двухорловою монетою, кто, воспользовавшись фальшивою тревогою, схватывал с кону деньги.

Игра в самом разгаре.

— Эхма! Последний пятак ставлю ребром, — молвил Колоколов, пристально оглядывая игроков. — Ах! Братцы мои, в слободе-то никак пожар? — внезапно вскрикивает он. — Ну ей же ей пожар! Поглядите-ка, дым-то, дым-то столбом так и валит, так и валит. А ну да ежели и моя тетушка сгорит? — рассуждает он, несколько спокойнее. — Эх, тетушка, тетушка, что-то с тобой станется...

— Да где пожар-то? И дыму не видать, — возражают неопытные игроки. — Вишь, как схлопал.

— Глаз, что ли, у вас нет? — подхватывает другой опытный игрок. — Глядите влево-то, влево, за крепость... Вон пламя-то какое страшное.

Толпа оглядывается по указанию.

— Разевайте рты пошире, авось галка влетит, — крикнул Колоколов, схватив с земли, сколько удалось, денег, и стрелою полетел в сторону.

Два-три ловкача последовали его примеру.

Толпа опомнилась. Увидав себя обманутою, она с остервенением кинулась подбирать остатки, била, грызла и душила друг друга, а обманувшие их, отбежав на порядочное расстояние, дразнятся: «Ну что, пожар-то большой? Пламя-то красное или белое? Ах вы, фофоны, фофоны этакие». Толпа не вытерпела — бросилась в погоню.

— Подступись-ка, подступись, кому жизнь надоела: убью как пить дать! — кричит Колоколов, помахивая длинным железным прутотом и постепенно убегая к казармам. — Подходи, ребята, подходи, авось череп раскрою пополам!

Из множества способов разживы на чужой счет кантонисты придерживались преимущественно грабежа посредством фальшивой тревоги. Они были так легки на ногу и проворны, что почти всегда убегали с деньгами. Начальство, проведав про игру в орлянку за манежем, частенько посылало туда и кантонистскую, и городскую полицию, но и та и другая оказывались бессильными. Для защиты от неприятеля у игроков постоянно водились и палки, и камни, и свинчатки — и все, чем только можно драться. В руки никто не давался. Зато и пойманных жестоко, до полусмерти, наказывали.

— Эй вы, сволочь, кто жрать хочет, беги за калачами, — вызывает Колоколов, вернувшись в роту с деньгами.

— Я!.. Я!.. Я!.. — Колоколова окружает целая толпа.

— Сказал «раздобуду денег» — и раздобыл. На вот, Голубев, пятиалтынный, пойди купи десяток пятаковых калачей. А другой пятиалтынный побережем про черный день.

— Неужели тридцать копеек стащил? — спрашивает завистливая толпа.

— Известно, что ж тут мудреного: я ведь не вы, сморчки этикие; я всякого, кто помешает либо остановит, всмятку расшибу.

Немного погода посланный приносит на мочалке связку калачей, которые Колоколов тут же и раздает, оставляя себе львиную долю. Все совершенно довольны.

С наступлением сумерек уволенные в отпуск возвращаются в роты, и всякий что-нибудь несет из съестного, у иных даже пот градом катится с лица от тяжести ноши. Начинается дележ харчей по достоинству и значению каждого. Немного погода все едят и оживляются: смех, шутки слышатся отовсюду; почти все в веселом настроении духа.

Время это самое опасное для многих кантонистов-начальников. Им частенько грозит опасность быть избитыми где-нибудь в темном углу; бойцов найти нетрудно, когда есть чем заплатить за услугу. За несколько кусков съестного какой-нибудь смельчак подговаривает товарищей и с ними, подкараулив врага, набрасывает ему на голову часто с его же кровати снятое одеяло, зажимает ему рот и поколачивает, сколько удастся, после чего все разбегаются в разные стороны как ни в чем не бывало.

Ужинать ходили по воскресеньям весьма немногие. Поверка производилась без осмотров одежды и физиономий; осведомлялись только, все ли налицо.

Так кончалась кантонистская неделя, однообразная, тупая, одуряющая неделя! А со следующего утра — опять прежняя пытка, горячая гоньба из угла в угол, без мысли, без цели, без малейшего признака человечности. И так долгие-долгие годы...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

IX

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ НОВОБРАНЦЕВ

Тяжел был гнет мрачной жизни в заведении. Дни тянулись за днями, принося с собою новые мучения, физические и нравственные, которые жестоко извращали натуру несчастных мальчиков. Прямо из деревни, с воли, попадали они в этот омут, и действительность сразу обдавала их всею грязью, которою думали заметить кантонистам воспитание. На каждом шагу побои, розги, примеры злобы, зависти и несправедливости — такова была программа, принятая к руководству. Новичок с первого же дня вступления в заведение начинает чувствовать на собственной шкуре всю тяжесть этого быта, из которого не предстояло выхода в течение многих лет. Дядька колотил его чем попало за малейшую оплошность, капрал сек розгами, морил по ночам на дежурстве. Начальство, со своей стороны, не скупилось на истязания. Голодные и холодные, бедняги и ночью не знали отдыха.

На эту каторгу между прочими детьми попали двое мальчиков: Иванов и Степанов. Уже с полгода находились они в заведении и начинали мало-помалу выкарабкиваться из новичков. По натуре оба впечатлительные, они нелегко мирились с окружавшею их обстановкою. Сблизившись между собою, они привязались друг к другу с детскою горячностью и любили проводить время вместе, толкуя об общем горе, вспоминая о родных и о том, что делалось там, на родине. Беседы их ради удобства проходили большей частью по ночам. Много горьких слез пролили они вместе, и эти слезы еще крепче запечатлевали их дружбу.

Раз ночью, когда Степанов стоял на часах, к нему подошел Иванов, украдкой пробравшийся со своей постели, чтобы потолковать с приятелем.

— За свою очередь часы-то стоишь? — спросил вполголоса Иванов.

— Нет, — отвечал Степанов, очень довольный посещением. — За дядьку. Потому я третьева дни пуговицу потерял, ну, а он мне достал другую.

— Он добрый?

— Против других — добрый.

— Ишь, счастье тебе! А мой-то — Боже упаси! Таска каждый день, да еще голодом морит. Господи, да за что же? — Слезы закапали у мальчика из глаз.

— Знаешь что? — сказал он вдруг, стиснув зубы.

— Ну?

— Убежим отселева!

— Что ты!

— А что? Ей-богу! Потому лучше в реке потопимся... знаешь, там, за оврагом... Нешто жизнь сладкая?

— Убежишь тут! — в раздумье возразил Степанов. — Слышал, что с беглыми-то делают? Вчера вон фельдфебель приказывал капралу намочить в теплой воде пучков тридцать розог да соли насыпать в воду: лучше, вишь, размокнут. Сам начальник, слышь, станет наказывать беглого. Говорят, шестой уж раз убегает, да все славливают.

— Нейдется? Да ведь житья-то нет! Бьют-то ведь уж очень больно.

— А за побег-то еще больней попадет! Вот чего я боюсь. А ты, Вася, ежели тебе ученье нейдет в голову, — попросись в класс у своего ефрейтора, у Орлова. Он, сказывают, там старшим, он тебя выхлопочет в класс, а там, может, и грамота пойдет тебе на ум. Писарем станешь, а писарям, слышь, славное житье. Право, попросись-ка ты в класс; попытка не шутка, а спрос не беда.

— И то, нешто попроситься? Грамоте выучусь, домой весточку напишу. То-то, чай, обрадуются! Денег, может, пришлют; мы с тобой говядины купим.

— Известно. Эх, напрасно ты про говядину вспомнил: смерть есть захотелось.

Далее разговор их перешел к деревенским воспоминаниям и родным. Увлечшись близким сердцу предметом, они не заметили, как сменилась вторая смена, и очнулись только тогда, когда услышали крик дежурного: «Печки затоплять», что значило 4¹/₂ часа утра — половина третьей смены. Струхнули мальчишки: начальство могло подумать, что они проспали смену, а за это грозило наказание. Во избежание неприятностей, разбудив потихоньку очередных часовых, они попросили их никому не говорить о поздней их смене. Те, не совсем еще старые кантонисты, следовательно, не остервененные против ближних, сочувствуя горю новичков, охотно согласились молчать.

Настало утро следующего дня, а с ним все читателю коротко уже знакомое. Кончилось учение. Роту свели в самую большую комнату, куда явились барабанщики-палачи. Кантонисты побледнели, даже позеленели от страха. Все поняли, что готовится истязание. Но кого и за что будут наказывать — это оставалось

загадкою для большинства. Вскоре пришел начальник заведения полковник Курятников.

— Кровати сдвинуть и выстроиться в каре, — произнес он. Передвижение совершилось.

— Бродягу сюда!

Ввели кантониста Месарева. Он был лет 14, маленького роста, худенький, черненький, бледный, точно мертвец, и весь трясся. Остановясь среди каре, он повел кругом мутными глазами. Картина была невеселая: в углу ушат с водою, из которого торчали пучки розог, сдвинутые кровати и вокруг толпа бледных, исхудалых кантонистов и несколько сытых, румяных начальников. Месарев опустил голову, руки машинально упали по швам, и он стал как вкопанный.

— Мало, верно, я тебя прошедший раз порол? Еще захотел? — начал начальник. — Изволь, спущу теперь шкуру с шеи до пяток. Говори: из-за чего опять бежал? Говори! — Начальник зловеще сверкнул глазами и подступил к Месареву со сжатыми кулаками.

— Ей-богу, против воли бежал, — заговорил Месарев глухим голосом. — Голод, холод, побои, дранье, бессонные ночи... Не могу я... мочи моей нет... Ваше благородье, будьте отец! Отпустите меня в деревню!.. — Лицо мальчика вдруг вспыхнуло и тотчас же снова побледнело, голос у него оборвался.

— Ну? Еще что? — спросил Курятников, играя со своею жертвою.

— Ваше благородье, ваше высокоблагородье! — застонал Месарев и, захватив руками голову, повалился на колени. — Пустите, пустите меня в деревню! Там мать у меня... Меня здесь бьют, меня здесь голодом морят... Господи!

Курятников усмехнулся:

— Так тебе ласки надо? Все это мы тебе дадим, сейчас дадим вдоволь. Раздевайся!

Месарев как ужаленный вскочил на ноги. Легкая судорога пробежала по его членам, и лицо еще сильнее побледнело. В первый раз в жизни взглянул он смело начальнику в глаза, потом спокойно скинул с себя рваную шинелишку, разостлал ее по полу, за нею зимние брюки, белье, все положил в голову, лег и ждал...

Страшно было видеть в ребенке это мертвое спокойствие.

— Начинай! — скомандовал начальник.

Барабанщики подступили с обеих сторон. Сначала Месарев после каждого удара однообразно вскрикивал попеременно: «Помилуйте, вашескородье, вашескородье, помилуйте!» — потом голос его постепенно слабел, слабел, и он точно уснул под ударами...

Бесчувственный, еле дышащий лежал Месарев с действительно спущенною шкурою с шеи до пяток. Страшные волдыри, живое

мясо, лоскуты кожи виднелись повсюду. Громадных трудов стоило вытащить из рта его руку, пальцы которой были искусаны до костей; запекшаяся кровь превратилась в багровую массу, тогда как из рта струилась пена. На близстоявшей кровати разостлали простыню, подняли Месарева с полу, положили на эту кровать, сбрызнули холодной водою, завернули простынею и накрыли одеялом.

— Ну, что? — говорил между тем Курятников, поглядывая на растерявшихся кантонистов. — Пусть кто-нибудь попробует бежать!

Но вместо слов рота отвечала глухим стоном.

Курятников ушел. Роту повели обедать, но многие кантонисты и не прикасались к пище: предшествовавшее обеду зрелище отняло у них аппетит. И не только этот, но и несколько последующих дней сряду кантонисты продолжали толковать о случившемся с ужасом в лицах, а те, кто прежде и сам не чужд был намерения убежать, теперь страшились даже и вспомнить свою заветную мысль.

Месарев, отправленный в лазарет, поправился там месяца полтора, выписался, пожил в роте с месяц и опять убежал, но снова был пойман, наказан и лечен. По возвращении в роту он снова бежал; так что в общей сложности он за совершенные им 10—12 побегов получил до четырех тысяч розог. В результате у него оказалась такая привычка к розгам, что его никогда не держали, он никогда не вертелся под ударами и не кричал, а в последнее время даже сам вел счет им и, что всего замечательнее, никогда не ошибался. Этого мало: он добровольно позволял себя наказывать 20—30 ударами любому кантонисту, требуя за это какой-нибудь ломоть хлеба в голодную пору. Все побеги его оказывались неудачными, вероятно, по той причине, что все полицейские в городе и все сотские и десятские окружающих местностей коротко знали его и тотчас ловили. Убежав в последний раз, он, однако, как в воду канул.

История с Месаревым имела подавляющее влияние на двух маленьких приятелей — Степанова и Иванова. С тех пор у них и речи уже не было о побеге. Зато пущено было в ход все старание, чтобы попасть в класс. Старание привело к цели: ефрейтор Орлов выхлопотал исполнение просьбы Иванова — он был переведен в класс. Степанову также вдруг повезло: его сделали виц-ефрейтором. Впрочем, повышение это имело для него и неприятную сторону. Походя наружностью на одного из ординарцев, состоявшего в должности ефрейтора, он был приставлен к нему в качестве вестового. Тут он подвергся особенно сильной выправке, которая наконец привела к тому, что он не вынес, заболел горячкою и попал на излечение в лазарет заведения.

ЛАЗАРЕТ

Лазарет отличался отменной чистотою и опрятностью как внутри, так и снаружи. Это и составляло, конечно, главную заботу начальства, которое совершенно забывало в своих предначертаниях тех, для кого был построен лазарет. Больных кормили до того скверно, что надо было удивляться, как они не умирали с голоду. На лекарства начальство также не любило тратиться, предпочитая домашние средства вроде горчичников, слабительного, шалфея и ромашки. В большом ходу были также так называемые заволоки, какие делаются лошадям и уже совершенно ничего не стоят.

Начальствовали над лазаретом старший и младший лекарь, старший и два младших фельдшера. Старший лекарь и младшие фельдшера в медицине положительно ничего не смыслили; младший лекарь сам был постоянно болен и в отпусках, а старший фельдшер Осипов хоть и хорошо знал свою часть и был человек добрый, но горчайший пьяница, и нередко, будучи во хмелю, причинял множество бед в лазарете.

Отправлялись в лазарет преимущественно иссеченные, искалеченные и заморенные кантонисты, а частью и добровольно. Бывало, опротивеет иному кантонисту ходить на учение или захочется отдохнуть от казарменных треволнений, натрет глаза мелким кирпичом или известью, расковыряет гвоздем ногу или надрежет куском стекла палец и даст ему распухнуть. Затем, получивши за это изрядную поронцу, отправляется в лазарет — лечиться. Долго залеживаться в лазарете, впрочем, никому не давали.

Больных, державшихся на ногах, посылали ежедневно весною и половину лета под команду унтера в поле, в лес, собирать различные для лечения пригодные травы. Осенью же их заставляли обчищать, промывать и рассортировывать эти травы по цветам, по величине и по достоинству листьев. Наконец, зимою больных занимали толчением различных медицинских снадобий, клейкою коробочек, щипанием корпии, приготовлением бинтов, компрессов и прочим. За неисправности, леность и шалости в лазарете секли и колотили совершенно так же, как в роте. Вся выгода лазаретного житья против ротного заключалась в том, что в нем не было учений, не было экзаменовки пунктиков и прочей муштровки.

Больные делились на три отделения: в первом находились трудные больные, во втором — с наружными болезнями, а в третьем — глазные.

Утро. Старший, древний лекарь, производит визитацию.

— Как твое здоровье? — спрашивает он лежащего больного.

— Плохо-с, — едва выговаривает спрошенный. — Ночь не спал... кашель... грудь... изныла...

— Говори шибче, не слышу!

— Не могу-с... дух захватывает.

— Дух захватывает? Это еще что за вздор! Не молишься, верно, Богу, вот и дух захватывает. Читай вслух «Отче наш».

— Голосу нет-с... не могу...

— Читай, читай, тебе говорят, не то сейчас же дошибу! — кричит лекарь, трепля больного за ухо или отпустив ему щелчок по носу. — Ленишься, а не «не могу». Ну же!

— Отче наш, иже еси... — шепчет больной, обороняя голову от лекаря обеими руками.

— Громче, не слышу! Громче!

— Яко на небесех и на земле-с...

— Врешь, подлец. Начинай снова, да не пропускать.

Больной снова читает «Отче наш», лекарь слушает, понукая его кричать громче. Повторив молитву два-три раза, больной выбивается из сил, закрывает глаза и затихает.

— Положить ему на лоб полотенце, намоченное уксусом, — приказывает лекарь, — укутать хорошенько одеялом, чтобы вспотел; а как очнется, дать ему слабительного, и к завтраму вся хворость сойдет с него, как с гуся вода. — И он уходит дальше.

— Покажи-ка, в каком положении твоя нога? — продолжает он во втором отделении.

— Больно очень развязывать-то-с, позвольте лучше так оставить, — просит больной.

— Я те оставлю! Развяжи!

Больной, морщась и ёжась, развязывает.

— Вишь, какая мерзость! Смотреть-то даже тошно. Воды и мочалку сюда!

Является служитель с тазом холодной воды и мочалкою.

— Промой ему хорошенько рану.

— Помилосердствуйте, вашескородье! Ей-ей, не вытерпеть.

— Молчать!

Служитель начинает действовать мочалкой с таким усердием, будто он не ногу, а пол моет. Больной терпит и наконец с криком вырывает ногу.

— Пачкайся около тебя, — внушает ему раздосадованный доктор, — хлопочи, а ты вместо благодарности еще ревешь и рвешься? Ах ты, мерзавец этакий! Подержать его!

Два служителя стиснут больного, а третий моет рану, нажимая с такою силою, что не только из нее, но и из соседнего здорового места начинает сочиться кровь. Больной кричит во все горло.

— Будет! — командует лекарь. — Вложить в рану корпию, обвязать покрепче ногу, а за его крик дать ему на сегодняшние

сутки полбулки и смотреть за ним в оба. — После такого внушения лекарь отправляется в глазное отделение.

— А твои глаза все еще гноятся? — скажет, бывало, он, подходя к одному из мальчиков. — Должно быть, опять натер их известкой?

— Никак нет-с... Ей-богу, не виноват.

— Я вот тебе дам «не виноват»! Подать мне ляпис.

— И так заживут, право слово, заживут-с, не жгите только глаза... Сжальтесь ради Бога.

— Подержать его!

Тут происходит сцена: больного схватывают, а лекарь принимается прижигать ему глаза. Больной вертится, кричит.

— Вот же тебе, вот же тебе, дрянь эдакая, — приговаривает врач, тыкая больному ляписом в глаза куда попало.

Напрягши все свои силы, больной вдруг вырывается от мучителей.

— Так вот ты каков? Ге-ге-ге! Поймать его и подать мне инструмент: сейчас мы ему заволоку зададим.

Больной снова в мощных руках, а лекарь, проколов ему за ухом здоровое тело, просовывает насквозь веревочку, которую дергает изо всей силы взад и вперед.

Единственное утешение несчастных кантонистов состояло в том, что судьба послала им хоть одного хорошего человека в лице старшего фельдшера Осипова. Он один среди этой массы зла относился к мальчикам с состраданием. Бывало, сядет на кровать какого-нибудь больного, а у самого глаза такие ласковые.

— Что, друг, небось притворяешься?

— Иван Осипыч, там в роте житья нет, — отвечает больной.

— Отдохнуть, значит, хочешь?

— Так точно-с. Не гоните.

— Ну уж ладно; только не залеживайся. Тут, брат, от одного здешнего поганого воздуха помрешь. Небось и есть хочешь?

— Как не хотеть!

— Ну, я тебе первую порцию выпишу.

— Нельзя ли, Иван Осипыч, и мне первой порции? — просит другой больной. — А то как я на полбулке-то проживу?

— Тебе, голубчик, первой порции я назначить не могу: лекарь за это меня самого отдует. А ты зайди уже ко мне в комнату, там и поужинаешь.

— Слушаю-с. Чувствительно вас благодарю-с.

— Позвольте, Иван Осипыч, просить вас снять с меня мушку? — просит глазной. — Вся шея распухла, кожа слезла, гной течет вниз, рубашка прилипает к спине. Мне решительно спать невозможно.

— Теперь, голубчик, снять не могу, а потерпи до завтра: лекарь уедет в деревню, я и сниму.

— Будьте так добры, век не забуду.

— Сниму, сниму, потерпи немного. Что делать? Все терпим.

На следующее утро, едва лекарь уехал в деревню, лазарет мигом превратился в гульбище. Управлять лазаретом остался Осипов. Сняв с больных все мушки, все заволоки, повыкинув за окно все склянки с прописанною лекарем микстурою, Осипов выписал отличные порции, а трудным, вдобавок к порциям, и топленого молока, пива, красного вина, и сам пустился ухаживать за ними, захопотал, засуетился. Больные сыты по горло, спокойны, повеселились, запрыгали. День прошел незаметно. Но к вечеру Осипов уже выпил, по обыкновению, не в меру, ушел прогуляться и не явился целые сутки. Младшие фельдшера и служители, пользуясь его отсутствием, тоже отправились погулять, оставив больных без лекарств, без ухода.

В такое время случалось, что больные, брошенные на произвол судьбы, умирали — да и хорошо делали, потому что хоть смертью освобождались от мученичества.

Вернувшись из деревни, лекарь принимался водворять в лазарете старый порядок, рассылал по городу искать Осипова, которого обыкновенно приводили пьяного, безобразного. Лекарь, вспылив, требовал розог и тут же задавал старшему фельдшеру превосходную поронцу.

— Перестанешь ты, скотина, пьянствовать или нет? — так начинал он увещевать Осипова после экзекуции.

— Не знаю-с, — отвечал, по обыкновению, Осипов, пошатываясь из стороны в сторону. — Ручаться нельзя-с, быть может... Пожалуйте на косушку.

— Стыдно! Стыдно! — внушает лекарь. — Человек ты способный, везде принят, имеешь хорошую практику, а не отстаешь от этой поганой водки. Ведь мне за тебя совестно, право, совестно пороть-то тебя, да нельзя: из терпения выводишь. Ради Бога, не пей! Осчастливлю... в чиновники произведу, одену-обую на славу, богатую невесту найду, все для тебя сделаю, только не пьянствуй.

— Все это так-с... Я всего стою, это точно-с... Ну, а ежели вы меня уж выдрали, то пожалуйста же на косушечку. Опохмелиться мне теперь крайне необходимо, а там впереди — Бог милостив. Произведусь, женюсь и как раз переменюсь. Да-с, и водку пить перестану, право, перестану. Пожалуйте ж полтинничек на поправку чердака.

— На тебе целый рубль, только ради Бога не напейся.

— Нет-с, не напьюсь, а только поправлюсь, а то и тело да и чердак трещат.

Получив деньги, Осипов уходил в сопровождении служителя в свою комнату, посылал за водкою и, «поправившись», снова вступал в отправление своих обязанностей и вел себя безукоризненно до следующего кутежа.

Лекарь снисходил к Осипову не из человеколюбия, а из личной выгоды: он прописывал рецепты частным своим пациентам всегда с совета Осипова, к трудным больным брал его с собою на консультацию и под веселую руку сам сознавался, что Осипов знает дело лучше его. Будь Осипов человек трезвый, он бы наверное отбил у лекаря всю практику; но теперь господа боялись, как бы он с пьяных глаз не дал больному по ошибке яду вместо лекарства. Тем не менее если лекарю приводилось прописать какому-нибудь барину рецепт экспромтом, то почти всякий такой больной тотчас присылал за Осиповым и, показывая ему, трезвому, рецепт, спрашивал: «Годится ли лекарство?» — и в случае утвердительного ответа тотчас же посылал в аптеку; отрицательный же ответ Осипова имел последствием то, что больной рвал рецепт и, ругая лекаря «остолопом», просил фельдшера прописать новое лекарство.

Попав в лазарет, Степанов также вкусил всех прелестей тамошней жизни, хотя, к счастью, большую часть своего пребывания там находился в беспамятстве. Выздоровление его пришлось, впрочем, ко времени одной из отлучек лекаря в деревню, когда лазарет по обыкновению очутился под надзором Осипова. Весьма довольный этим обстоятельством, Степанов рассчитывал, что ему удастся хорошенько отдохнуть в больнице, но тут случилось обстоятельство, разрушившее его предположение. На дворе была весна, а в это время года в заведении ежегодно совершался инспекторский смотр. Начальство выказывало усиленную деятельность по части приведения всего в должный порядок, отчего кантонистам приходилось еще круче обыкновенного. Больных также не забывали: их гнали из лазарета, не дав окончательно поправиться и заботясь только о том, чтобы высшее начальство, заглянув в опустелую больницу, вынесло благоприятное мнение о санитарном состоянии заведения. В числе изгнанных из лазарета был и Степанов.

XI

ГОДИЧНЫЙ ИНСПЕКТОРСКИЙ СМОТР

С конца апреля по всему уже можно было заметить, что в заведении ожидают инспекторского посещения. Кантонистам велено было приносить, между учениями, из цейхгауза смотровые вещи и по две перемены белья на каждого; везде стали резать казенные мучные кули, щипать их на мелкую мочалу с тем, чтобы набивать ею новые тюфяки и подушки. Потом всю будничную рваную одежду попрятали на чердаки: носить в это время дозволялось только смотровую. Затем следовало неприятнейшее из приказаний — пришить к шинелям, курткам, брюкам, галстукам,

подтяжкам и сапогам ярлыки. Последние состояли из небольших кусков холста или кожи, на которых со всею тщательностью надлежало выставить печатными буквами, в две строки, название роты, имя и фамилию кантониста. Ярлык пришивался с чрезвычайною аккуратностью, и за дурное печатание его отвечал печатальщик, а за кривую, неверную или некрасивую его пришивку — владелец вещи. Ярлычок, пришитый к одному смотру, никогда не годился к другому: смотровые вещи лежали по полугоду и более в пыли, в сырости, отчего краска на ярлычках желтела, стиралась и марала весь ярлычок. Печатанием ярлычков занимались человек 5—6 в роте. Кантонист, выучившись самоучкою печатать ярлычки, имел постоянный хороший доход от своего ремесла, так как ярлычки пришивались и к будничной одежде. Но перед смотрами кантонисты, умевшие печатать, просто богатели. За напечатание десяти ярлычков на собственном материале печатники брали 4—7 копеек, а на хозяйском — 3 копейки. Пенатали, впрочем, и за гостинцы, и за отбывание всякой повинности. Исправный кантонист всегда имел в запасе от пяти до десяти ярлычков. Отозваться неимением ярлычков никто не смел, хотя ни холста, ни краски для ярлычков кантонистам никогда не давали. По приведении вещей в должный порядок и по осмотре ярлычков пошли усиленные осмотры и экзамены, которые производились всем начальством, начиная от дядек и кончая самим начальником заведения. В это время и дранье было уж не обыденное, а смотровое: намочат в воде простыню, завернут в нее раздетого и секут сквозь простыню. Так делалось по многим причинам. Провинившийся в смотровое время считался преступнее обыкновенного; само наказание признавалось гораздо сильнее; к тому же и тело не иссекалось, на нем не делалось рубцов. Таким образом, в случае телесного осмотра наружных признаков сечения никаких не оставалось.

Начальство командировало, по существовавшему обычаю, гонца встретить инспектора верст за 100 и сопровождать его до отведенной ему в городе квартиры, снабженной всеми благами мира на счет грешных и безгрешных доходов от содержания заведения. Приехал наконец инспектор и назначил на следующее утро смотр.

Всю ночь накануне кантонисты и глаз не сомкнули: чистка, уборка, примерка и одевания поглотили все время до рассвета, и едва взойшло солнце, они уж были наготове.

В шестом часу утра в роты явились ротные командиры и лично произвели телесный осмотр, потом присутствовали при надевании белья и сапог, брюк и курток. Затем они переставили всех по ранжиру, запрытывая плохо марширующих в среднюю и заднюю шеренги, и в заключение отдали приказание маршировать как можно лучше, отвечать на вопросы инспектора громче, глядеть

ему в глаза веселей. Все эти приказания сопровождались угрозой жестокого наказания за малейшую неисправность.

В ординарцы были собраны из каждой роты по два кантониста, самые красивые и похожие один на другого. Они одевались в фельдфебельской комнате в одежду, собственно для них спитую из самого лучшего материала. Их одевал лично фельдфебель, и, когда они оделись, их напоили даже чаем для очищения голоса. В семь часов утра ординарцев вывели на двор, подъехали две коляски, мальчиков приподняли и поставили в коляски, строго наказали им не шевелиться, дабы не измять новенькой одежды, не запылить начищенных сапог, и кортеж тронулся в путь шагом в сопровождении начальства. По прибытии к квартире инспектора мальчиков бережно сняли. Оправившись в передней, ординарцы вошли в приемную — большую комнату, в которой пол был выложен и светился, точно зеркало. В простенках помещались зеркала; обои на стенках были самые вычурные, карнизы золотые вверху и внизу; мебель бархатная розового цвета с самою фантастическою резьбою. У одной из стен комнаты стояли жандармский начальник, полицеймейстер, гарнизонный командир и смотритель провиантских магазинов — старые военные штаб-офицеры; они приехали представиться инспектору. Из смежной комнаты вскоре показался и сам инспектор. То был старичок, лет шестидесяти, весь лысый, толстейший, громаднейшего роста, с седыми стоячими усами и узенькими бакенбардами. Одежда его состояла из зеленой ермолки с золотую кистью, красной рубашки навыпуск с расстегнутым на боку воротом, на ногах были пестрые широчайшие шаровары и темно-синие спальные сапоги.

— Здравствуйте, господа! Здорово, дети! — заговорил он, кивая головою то в одну, то в другую сторону. — Извините, господа, мое неглиже: что малый, то и старый — причудливы. Не хотел одеваться потому, что рано, да и жарконько. Притом я с вами не впервой вижусь, вы не осудите.

Власти низко поклонились ему, прищелкнув шпорами. Вслед за тем полицеймейстер и гарнизонный командир подали инспектору рапортчики о состоянии их управлений. Поговорив с ними кое о чем, инспектор вторично поздоровался с кантонистами-ординарцами, оглядел их с ног до головы, отошел в передний угол и, усевшись в широких, высоких креслах, пригласил стать возле себя всех штаб-офицеров.

— Ну-ка, ребята, подходи поочередно, — молвил он, обращаясь к кантонистам.

Ординарцы повернулись один к другому в затылок, поправились, и фланговый из них отмаршировал к инспектору восемь шагов, остановился, пристукнул подбором и произнес, без перерыва, громко:

— От N-ского заведения военных кантонистов первой роты кантонист Петр Алексеев к вашему превосходительству на ординарцы прислан. Здравия желаю, ваше превосходительство!

Произнеся одним духом эту тираду, ординарец замер.

— Давно ли ты, братец, в кантонистах? — спросил генерал.

— С 25 мая 1847 года, ваше превосходительство.

— Старый служака. На место!

Ординарец повернул кругом, отмаршировал обратно туда, откуда пришел, остановился, перевернулся и стал сзади других ординарцев. Подошел его вестовой и отрапортовал то же самое, заменив только слова «на ординарцы прислан» другими — «вестовым прислан».

— Расстегнись-ка, братец, — приказал инспектор.

Вестовой расстегнул и широко распахнул свою куртку. Внимательно оглядев подкладку куртки, ревизор пожелал видеть ярлычок на подтяжках. Вестовой показал.

— Сам печатал ярлычок?

— Никак нет-с, ваше-ство, печатал кантонист второго капральства Иван Храмов.

— Хорошо, очень хорошо, молодец Храмов; так ему и передай от меня. А сам стань сюда, к окну. Этот, господа, ярлычок и превосходно напечатан, и так же превосходно пришит, — с одушевлением заметил генерал, относясь к окружающим. — Прошу вас, полковник, лично озаботиться, чтобы ярлычки ко всем вещам и печатались, и пришивались точно так же, как этот. А этот ярлычок пусть будет вам образчиком к следующему смотру. Поглядите-ка, господа, на ярлычок: ведь любо-дорого смотреть на него, не так ли?

— Слушаю-с, ваше прев-ство, — почтительно произнес начальник, бросаясь вместе со своими соратниками к ярлычку.

Все пристально разглядывали ярлычок, будто ничего подобного никогда еще не видывали.

— С левой ноги сапог долой, — вдруг приказал инспектор следующему подошедшему ординарцу.

Ординарец, сняв сапог, положил портянку на пол, сапог поставил около, и сам вытянулся в струнку.

— Покажи портянку!

Ординарец бережно взял портянку на обе ладони и поднес ее инспектору.

— А ногти острижены? — спросил он, не найдя в портянке ничего противозаконного.

— Острижены, ваше превосходительство.

— Пошел на свое место.

Ординарец, подхватив сапог в одну руку, а портянку в другую, марширует до задней стенки и там уже обувается.

— Брюки долой, — скомандовал инспектор следующему вестовому.

Вестовой расстегнул и спустил брюки до колен, а сам стоит не моргая.

— Отчего у тебя на подштанниках костяшки обшиты холстом?

— Всем, ваше превосходительство, так обшили в швальне.

— Это для чего?

Вестовой растерялся, не зная что отвечать.

— Так, ваше превосходительство, костяшки благообразнее выглядят, — вкрадчиво поспешил на выручку вестовому начальник. — Ординарцы всегда на виду, я и распорядился так сделать всем им.

— А от кого вы на это получили разрешение? А такая разве дана мною вам форма? Костяшку, как выточенную из кости, всегда приятнее видеть в настоящем ее виде. А когда она обшита холстом, почем я знаю, какая она? Может быть, там не костяшка, а деревяшка какая-нибудь. Понимаете?

— Я, ваше прев-ство... помилуйте...

— Меня, братец, не проведешь: я старый воробей... Отныне никогда не нашивать таких костяшек. Слышите? Никогда, чтоб я этого больше не видал.

— Подштанники долой! — сказал инспектор.

Вестовой спустил и их до колен.

— Подними рубашку повыше, по груди!

— Нале-во кругом!

Вестовой повернулся, но не совсем ловко: спущенные штаны и поднятые вверх руки несколько нарушали грацию движений кантониста, который притом сильно сконфузился, очутившись почти голым в присутствии начальства.

— И поворачиваться не умеешь, каналья эдакая! — И превосходительная рука ударила всю ладонью по телу вестового с такою силою, что звонкое эхо раздалось в отдаленных комнатах квартиры.

Вестовой задрожал и от боли, и от страха, но не пикнул. Товарищи-ординарцы тоже перепугались за вестового, лично за себя и даже за всех кантонистов заведения.

— Кругом! — грозно заключил инспектор.

Вестовой напряг все свои силы и удачно повернулся кругом.

— Какой губернии?

— Рязанской, ваше прев-ство! — крикнул он изо всей мочи.

— Будто? — спросил инспектор, внезапно повеселев и привскочив на креслах. Он, суровый, беспощадный ко всему, питал нежные чувства к своим землякам, которым прощал все их прегрешения. Кантонисты знали это и при случае пользовались слабостью генерала. С тою целью и в состав кантонистских обязательных знаний

нарочно введена была география Рязанской губернии, которую многие кантонисты знали до подробностей.

— А уезда, друг мой, какого?

— Касимовского, ваше прев-ство, а села Ижевского.

— Молодец, друг мой, молодец. — И инспектор нежно погладил вестового по лицу тою же самою рукою, которою за минуту перед тем так жестоко ударил его. — Ты ефрейтор? — добавил он.

— Точно так-с, ваше прев-ство.

— Прошу вас, полковник, завтра же сделать его капралом, непременно капралом. Мои земляки все ведь молодцы: чистенькие, гладенькие — одно слово молодцы.

— Теперь, ваше прев-ство, вакансии капрала нет-с, — вкрадчиво заговорил начальник.

— Что...о...о? — грозно перебил инспектор. — Для меня вакансии нет? Да чтоб завтра же был капралом, и все тут! Когда я что приказываю, прошу исполнять!

— Слушаю-с, ваше прев-ство.

— А есть у тебя, дружок, кто-нибудь из родных дома? — продолжал инспектор, по-прежнему нежничая с вестовым.

— Одна мать, ваше прев-ство, в деревне живет, а отец убит на войне.

— Ну да, мои земляки — народ храбрый, — восторженно заговорил инспектор, обращаясь к свите. — В войне мы отчаянные. Это я тысячу раз сам видел и в двенадцатом году, и в Турции, и в Персии, и на Кавказе, и... и... Чем другим, а уж геройством мы вполне можем похвалиться. Как осмотрю всех, дам тебе на орехи. А вы, полковник, смотрите: пальцем его не трогать.

— Не беспокойтесь, ваше прев-ство. Ваше слово — закон, самый священный для меня закон-с.

— То-то же.

Подошел еще ординарец.

— А ну-ка, братец, сумеешь ли ты раздеться донага в две минуты? Я смотрю на часы, а ты за дело — живо!

Ординарец очутился в адамовском костюме.

— Напра-во!

Ординарец повернулся.

— Тихим шагом мар...рш...

— Скорым шагом мар...рш... Голову выше, бедра влево, раз-раз-раз! — командовал инспектор, хлопая в ладоши. — Вольным шагом марш. Перемени ногу. Раз-раз-раз! Брюхо подбери, что выставил его; раз-раз, беглым шагом мар...рш... Левое плечо выше! Что скосился? Уж не рязанский ли? Земляки всегда кривобоки: этот, господа, грешок издавна водится за нами. Земляк или нет?

— Точно так-с, ваше прев-ство, земляк-с.

— Стой, стой, стой! Во фронт!

Ординарец стал как вкопанный.

— Какой губернии?

— Рязанской губернии, Сапожковского уезда, села Олохушки, ваше прев-ство, — зачитил ординарец, слывший одним из лучших знатоков географии родины инспектора.

— Распотешил, дружок, ты меня по самое горло. Вот, господа, каковы мои земляки-то! В чем мать родила, а ведь как отлично марширует. Чудо, чудо, как хорошо! Ты, дружок, ефрейтор?

— Капральный ефрейтор второй роты, второго капральства, ваше превосходительство.

— Потому-то ты, значит, и разубажил меня, старика. Я теперь так доволен вашими, полковник, ординарцами, что не знаю как и благодарить вас за них. А все земляки. Ну-ка, нет ли еще кого рязанских?

Двое ординарцев выступили вперед.

— И вы земляки?

— Точно так-с, ваше прев-ство.

— Ай, родина! Из 20 четверо земляков, из четырех тысяч, значит, тысяча лучших слуг Отечества. Вот так мы! А покажите-ка мне, полковник, своих земляков! Небось ни одного здесь нет, а?

— Нет-с, ваше превосходительство, да и где уж нам тягаться с вашими земляками? Ваши исстари славятся.

— Конечно-конечно, славятся. После смотра дайте ординарцам отдых на неделю, а от меня они сейчас получают на гостинец. — Инспектор встал, вышел в смежную комнату и, вернувшись оттуда, собственноручно раздал ординарцам по серебряному пятаку на человека.

Веселые, радостные вышли ординарцы от инспектора и отправились на плац.

Погода между тем прояснилась, и солнце весело играло своими яркими лучами. Фронт стоял на плацу в томительном ожидании. Около часа продолжалось выравнивание по веревочке и охорашивание, сопровождаемое внушениями. Приехал наконец инспектор в парадной форме, вылез при помощи офицера из коляски, подошел к фронту, поздоровался и начал смотр с одежды, обуви, ярлычков и волос. Тут нашлось несколько сот человек самозваных его земляков. Потом он начал водить фронт всевозможными шагами.

— Дирекция напра-во, скорым шагом мар...рш...

Фронт замаршировал.

— Стой, стой, стой! Эй ты, тюфяк, соломою набитый, куда роту-то свою увел? А ты, фетюк, коломенская верста, что шаги-то по сажени отмериваешь, разве не видишь: мальчишки не успевают за тобой? Рад, верно, что ноги-то с оглоблю выросли?

Со стороны обруганных офицеров не слышалось ни одного протеста. Муштрование продолжалось часа 4 сряду. Затем инспек-

тор приказал выстроить кантонистов поротно, а офицерам, фельд-фебелям и унтер-офицерам удалиться за фронт.

— Вторая рота, окружи меня — бегом! — воскликнул он.

Рота его окружила.

— Вы, дети, всем довольны?

— Довольны, ваше превосходительство.

— Смотри, ребята, не лгать: не обижает ли вас кто из начальства?

— Никак нет-с, ваше превосходительство.

— Ты, братец, что молчишь? — обратился он к какому-то новичку, не понимавшему, отчего это все заявляют довольство всеми порядками, которые сами же обыкновенно проклинают.

— Говори, милый, кто тебя обижает?

— Бьют, дерут, скверно кормят, — с трудом выговорил недовольный.

— А давно ты в заведении? — уже серьезно спрашивает инспектор.

— Скоро год-с, — почти плача, отвечал недовольный, у которого от одного воспоминания о побоях слезы на глаза навернулись.

— А откуда родом?

— Из... из деревни... — Бедняга остановился, забыв от страха даже название родного пепелища. — Ко... Костр...

— Рязанской, Рязанской, — подсказывают отовсюду.

— Рязанской, — брякнул он, повинувшись общему подсказыванию, и вдруг заплакал.

— Эх ты, нюня, — шутя заметил инспектор. — Наши, брат, земляки никогда не плачут, и ты не плачь. В службе — не в деревне: ко всему надо привыкать; научись — и бить перестанут. Моли Бога, что ты земляк мой и новичок, а то розги посвистали бы... Кроме меня, никто не узнает про твою жалобу, а вы, ребята, тоже ни гу-гу; не то запорю, шельмецы эдакие, а ты, нюня, оботрись и смирно!

— Спасибо, ребята, за смотр, — заключает инспектор, еще раз обведя взором обступившую его толпу детей. — Учитесь хорошенько; ужю велю вас отправить в деревню, к бабам под подол, играйте себе там с девками в жмурки, бегайте в горелки. Молодцы, ребята!

— Рады стараться, ваше превосходительство!

Инспектор пошел в третью роту.

— Секут ли вас, дети? — спросил он.

— Никак нет-с, ваше превосходительство.

— Полно, так ли?

— Точно так-с, ваше превосходительство.

— Напрасно, напрасно; сечь, хорошенько сечь вас надо. Эй, полковник! — кричит он за фронт. — Секите их как сидорову козу, секите в мою голову.

— Слушаю-с, ваше превосходительство, — самодовольно отзывается издали начальник.

— Хорошо ли вас кормят?

— Хорошо, ваше превосходительство.

— То-то же. Голову выше, глядеть веселей, ешь начальника глазами. Вот так, вот эдак.

Таким порядком инспектор ежегодно опрашивал претензию кантонистов. Жаловались ему, правда, зачастую, но из этого не только не получалось ни на волос пользы, но жаловавшиеся еще дорого платились грешным телом за свою смелость.

Кончив опрос, инспектор объявил, что идет в казармы смотреть — все ли там в порядке. Для этого он велел выстроить кантонистов возле их кроватей. Все, кроме начальника и дежурного офицера, опрометью бросились в казармы приглатываться к его встрече. Выждав нарочно некоторое время на плацу, инспектор дошел потихоньку до казарменного двора в сопровождении начальника и дежурного и вместо того, чтобы идти в казармы, свернул на черный двор, зашел в конюшню, осмотрел стоявшие на дворе бочки с водою, потом заглянул в баню (она же и подвижная прачечная). Там на полу оказалась грязь, потолок был закопчен, пол весь в дырках и щелях. Ревизор начал уже хмуриться, как вдруг услышал в предбаннике звонкий детский голос. Это его удивило.

— Кто здесь разговаривает, откликнись! — громко молвил он, пристально оглядываясь. Все молчало. Минуту спустя снова послышался говор.

— Кто и где тут разговаривает? — переспросил он начальника. — Уж не спрятаны ли тут кантонисты?..

— Помилуйте, ваше прев-ство, для чего же нам их прятать-с? — отвечал начальник, вдруг вспыхнув.

— А что у вас такое делается на чердаке?

— Там белье сушится, ваше прев-ство.

— Так это белье между собой, значит, и разговаривает? Мудреное дело! Где лестница от чердака?

— Лестница?.. Лестница?.. В конюшне: по ней достают сено сверху. А самый чердак заперт, — продолжал, путаясь, начальник. — Ключи у прачек, а их теперь едва ли где сыщешь...

Между тем на чердаке продолжался говор и смех.

— От чердака лестницу и ключ сюда! — рявкнул рассерженный инспектор, высунув голову за дверь прачечной.

Перепуганные конюхи повыскочили из конюшен, живо принесли лестницу, подставили ее потихоньку к стене и остановились.

— А ключ? — почти шепотом, но грозно повторил инспектор.

— Ключа у нас, ваше прев-ство, нет-с, — тоже шепотом отвечал здоровенный конюх.

— Влезь, братец, наверх и сломай замок или вытащи пробой, только поосторожнее, чтоб мухи не испугать. Понимаешь?

Конюх полез и через минуту спустился, держа замок в руке.

— Подержи-ка теперь покрепче лестницу, а мы с полковником влезем туда и посмотрим, что там такое. Пожалуйте, полковник. — Инспектор, пыхтя и кряхтя, потащил свое грузное тело на чердак, с трудом поднимаясь со ступеньки на ступеньку лестницы.

Кантонисты, спрятанные на чердаке, были вполне уверены, что внизу может разговаривать один только банщик со своею марухою, и если бы кто и лез к ним, то разве эта маруха, «душа человек», попотчевать их, «сердешных», ржаными лепешками, а потому и разговаривали не остерегаясь. Но, увидав внезапно влезшего к ним инспектора, в красной ленте, с крестами на шее, на груди, они всполошились до крайности и бросились с испугу на крышу: через слуховое окно, через отверстие возле трубы, с топотом забегали по крыше, поскакали с крыши бани на крышу магазинов, конюшен, карабкались по стенам, спускались, как кошки, по водосточным трубам, перебежали из одного угла в другой и прятались в белье и друг за друга. Суматоха была ужасная. Глядя на все это, ошеломленный инспектор сперва только рот разинул, потом, опомнившись, стал кричать, бегать по чердаку, ловить выскакивавших на крышу, те вырывались у него из рук и бросались кто куда мог.

— Ребята! Ни с места! — гаркнул он, поймав за ноги вылезавшего в слуховое окно кантониста и таща его назад.

Тот спустился на чердак и стал ни жив ни мертв.

— Почему ты, каналья эдакая, бежал от меня? — начал инспектор, вытирая пот с лица и окончательно загородив собою один из выходов на крышу. — Что я, черт, что ли? Или зверь какой, что вы бежите от меня?

— Никак нет-с, ваше прев-ство, — едва выговорил пойманный.

— Кто же я? Кто я? Отчего бежите?

Мальчик молчал, искоса поглядывая на начальника.

— Ты, братец, не пугайся: никто тебя пальцем не тронет, только скажи мне правду.

— Нам приказано бежать-с, — тихо начал кантонист. — В случае чего — беги, говорят, прячься кто куда может, а тех, кто не убежит, — после смотра драть.

— А сколько вас здесь всех было?

— Человек с сорок-с.

— Все из одной роты?

— Из двух-с.

— А зачем вас сюда запрятали?

— Да побоялись вашему прев-ству показывать; мы тут все калеки: кто иссеченный, кто искалеченный, — проговорил сквозь слезы кантонист.

— А ты сам зачем здесь?

— Коленко больно распухло.

— Отчего?

— Когда марширую — не могу так ровно вытянуть ногу, чтобы коленка не видать: оно у меня все высовывается. Правящий, значит, осерчал на меня на учении накануне вашего приезда, схватил полено... Помилосердуйте, ваше прев-ство! — Кантонист заплакал навзрыд.

— Перестань, дружок, не плачь: никто больше не станет тебя бить, — утешал инспектор, погладив его по голове. — А покажи-ка коленко-то?

Кантонист осторожно засучил широчайшую штанину совсем не его роста нижних брюк (верхних он не мог надеть по случаю сильнейшей опухоли), и глазам инспектора представилась почти почерневшая нога, страшно опухшая от циклотки и до самого паха.

— Какова нога-то? — сказал он начальнику, весь побагровев. — Знаете вы об этом безобразии, которое творится у вас под носом, или нет?

— Никак нет-с, ваше прев-ство, не знаю... Мне не успеть... я...

— А если нет, то для чего же ты тут? Какой же, спрашиваю я, ты после этого начальник? Нет, спуску вам от меня больше уж не будет. Шалишь! Под суд отдам, под серую шинель упеку, честное слово — упеку! Это, по-вашему, порядок?

— Помилуйте, ваше прев-ство, простите... по неведению... Вы всегда были великодушны, — взмолился начальник точно таким же тоном, каким просили его пощадить кантонисты.

— Неведение? Великодушен? Гм... Ну! Стой, стой, стой! — вдруг крикнул инспектор, бросившись в сторону и схватившись обеими руками за массу двигавшегося белья. Он мигом разбросал его, и перед ним очутился разоблаченный кантонист.

— У тебя отчего глаз распух? — спросил он, пристально вглядываясь в лицо кантониста.

— Подбит, ваше превосходительство, — жалобно отвечает тот.

— Кто подбил?

Кантонист молчал.

— Да кто же, кто подбил тебе глаз?

— Да их высокоблагородию угодно было подбить-с, — решился вымолвить кантонист, указывая на начальника и потупясь от страха.

— Он врет-с, — вмешался начальник.

— Не тебя спрашивают, — перебил инспектор. — Когда и за что?

* Кантонист этот впоследствии был чиновником и недавно умер, но всю жизнь хромял.

— В прошлую субботу-с, на батальонном учении, я не успел скоро выравняться...

— Слышите, полковник, слышите ли?

Рассерженный инспектор не пошел в казармы, а велел подать коляску, посадил в нее искалеченных, сел посреди них и уехал в лазарет, где, сдав лекарю, наказал ему непременно вылечить их и хорошенько кормить. Затем он с ругательствами уехал домой.

Кантонистов со всякого рода изъятиями во время смотров всегда прятали на чердаках, в конюшнях и тому подобных темных местах; численность их по всему заведению простиралась всякий раз от 150 до 200 человек.

По отъезде инспектора заведение пошло обедать — ровно в 5 часов пополудни. Проголодавшиеся кантонисты ели до отвалу, до тошноты. Да и очень естественно: такие свежие вкусные щи, такой мягкий чудесный хлеб, такую рассыпчатую, крутую кашу и такой крепкий, точно пиво, квас им только раз в год и доводилось пробовать.

Пока все успели пообедать, уложить по форме смотровую одежду, порассказать друг другу новости дня — уж и стемнело. Горнист протрубил ужинать. За стол пошли одни обжоры да воры по призыванию. Кража хлеба во время смотра хоть формально и не дозволялась, тем не менее и не преследовалась, а нашим ребятам то и на руку: иной кантонист в два-три смотровых дня наворует фунтов 15—20 и потом, когда настанет обыденный голод, и сам наслаждается, и торгует хлебом.

На следующий день ожидали, что инспектор станет производить экзамен.

С наступлением утра всех кантонистов заведения согнали в классные комнаты, где учителя разместили их по участкам и знаниям. Но так как знаний за большую часть из них ровно никаких не считалось и так как всем им сидеть в классе было совершенно негде, то их вывели в смежные с классами цейхгаузы. Тут им строжайше наказали: как скоро инспектор проэкзаменует какой-нибудь участок и пройдет дальше, чтоб они частями выходили из своих засад и потихоньку присоединялись к тому участку. Далее сделали репетицию такого приспособления, причем план оказался удобоприменимым. Затем остальных пересортировали и усадили: лучших учеников вперед, худших назад — и опять наказали: первым глядеть инспектору прямо в глаза, напрашиваться, так сказать, на вопросы; последним же — уткнуть носы в тетрадки и отнюдь не зевать по сторонам, а ежели он кого-нибудь из них спросит, отвечать громко, не запинаясь, и, главное, не молчать.

Инспектор явился прямо в верхний класс, поздоровался и остановился в раздумье. По бокам его стали начальник и офицеры. Все вытянулись в струнку.

— Выйди-ка, братец, к карте и покажи мне, где Англия, — приказал инспектор кантонисту, сидевшему крайним на первой скамейке.

Ученик подошел к карте Европы и, ткнув пальцем в то место, где было отмечено: «Великобритания», смело ответил: «Вот здесь, ваше превосходительство».

— Да где же здесь-то? Я, братец, что-то ее тут не вижу.

— Самая Англия отсюда очень далеко-с, а тут показано только, как до нее доехать, через какие то есть страны дорога туда лежит.

— Руки по швам, корпус назад, — в то же время вполголоса командовал начальник.

— А ты, братец, бывал когда-нибудь в Англии?

— Никак нет-с, ваше прев-ство, не бывал-с.

— И не дай Бог тебе бывать там.

— Слушаю-с, ваше прев-ство.

— Вообразите себе, господа, что это за сторонка! — начал инспектор, обращаясь к офицерам. — Лежит она вся в болоте, люди живут в подземельях, нищих пропасть: так за полы и рвут. А уж порядки какие нелепые! Будочник, например, вправе арестовать хоть бы генерала, ежели увидит, что он, генерал, дал в зубы какому-нибудь оборванцу за то, что тот наступил ему... ну хоть на ногу. О законах и помянуть нельзя без омерзения: сановники принуждены становиться на одной доске в судах с мужиками. Словом, дрянь, да и только! Лучше нашей матушки России нет ни одного уголка во всей подлунной. Честное слово так.

Офицеры, выслушав речь инспектора, низко поклонились ему в знак согласия.

— Эй ты, — поднял инспектор другого ученика, — чем славится Курская губерния?

— Соловьями, ваше прев-ство. Птицы такие есть, чудесно поют по ночам. Они за то и прозываются курские соловьи.

— Хорошо; ну, а что есть солдат? — неожиданно спросил он третьего ученика.

— Солдат есть имя общее — знаменитое: солдатом называется и первый генерал, и последний рядовой.

— Ну, а ты кто? — обратился инспектор к четвертому.

— Кантонист Иван Иванов, ваше прев-ство.

— Голову выше, подбородок подбери. А, например, ты генерал или рядовой? — последовал вопрос, обращенный к последующему.

— Никак нет-с.

— Кто же ты?

— Не могу знать, ваше прев-ство.

— Не знаешь? Так я тебе скажу: ты да и все вы — просто поросята, и ничего больше. — Тут инспектор высунул классу язык, облизнул усы и ушел в писарской класс.

Опять пошли расспросы:

- А когда приходил Наполеон в Москву?
- В 1812 году, ваше прев-ство.
- А зачем он, братец, приходил?
- Воевать с русскими-с.
- Бедро влево, бедро влево! — журчит между тем начальник.
- Что ж он делал в Москве?
- От русских прятался, ваше прев-ство.
- Ешь начальника глазами. Вот так, вот эдак.
- Почему же он прятался?
- Да русских испугался, ваше прев-ство; русские очень шибко били его войска, ну он их и прятал.
- Ты думаешь?
- Точно-с: так и в истории написано.
- Чудесно, брат, чудесно знаешь. Наполеон, господа, именно нас струсил и прятался, — заговорил опять инспектор, относясь к офицерам. — Я сам был очевидцем, как французы прятались; они не то, что наши молодцы, а дрянь, мерзляки.
- Совершенно справедливо, ваше прев-ство, — гаркнул кто-то из офицеров.
- Да, господа, шибко французам досталось тогда от нас, очень шибко. Правду, впрочем, говоря, и нашей победоносной армии тяжеленько было гнать их по пятам до самого до Парижа. Больно тяжеленько было! Ну да никто, как Бог да мы, храбрые воины, все вынесли. Да, вынесли вот, — заключил он, качая головою и тяжело вздыхая. — Ты что, приятель, глазенки-то на меня вытаращил, а? — спросил он, немного помолчав. — Хочешь, верно, чтоб я тебя что-нибудь спросил, да? Скажи-ка мне: как солдат должен стоять?
- Солдат должен стоять прямо и непринужденно, имея каблуки вместе столь плотно, сколь можно, — звонко затрещал спрошенный.
- Довольно, довольно, — прервал его инспектор. — Вижу, что ты на этом собаку съел; насквозь, брат, вижу тебя. Отличным фельдфебелем будешь. А теперь кто?
- Капральный ефрейтор Иван Паньков, ваше превосходительство.
- Bravo, Паньков, bravo. А ну-ка ты, рядом с ним: как называется твое отечество?
- Россия, ваше прев-ство.
- Ай да тамбовщина проклятая! Ты ведь Тамбовской губернии?
- Тамбовской, ваше прев-ство.
- Эй ты, через три человека дальше: где пекут пряники?
- В городе Вязьме, ваше прев-ство.
- А хочешь пряников?
- Никак нет-с, ваше прев-ство.

— Люблю за это; солдат не должен лакомиться: от лакомства брюхо болит, а солдату надо всегда быть здоровым.

— Никак нет-с, ваше прев-ство.

— Слушай ухом, а не брюхом, а то и выходит: в лесу родился, пням молился — «штыковая работа» и вышел. Впрочем, не печалься, ты тоже прекрасный мальчик. Учитесь, ребята, хорошенько, прилежно учитесь.

— Слушаем-с, ваше прев-ство.

— И прекрасно, когда слушаете. — С этими словами инспектор отправился в нижний класс.

— Тут что такое? — спросил он учителя арифметики Ослова.

— Арифметика, ваше прев-ство, — брякнул Ослов.

— Какая ты, черт, арифметика? Собственно, ты кто такой?

— Учитель арифметики, ваше прев-ство.

— Так бы и говорил, а то извольте порадоваться: он арифметика. Чему же ты тут учишь?

— Читать, писать и, главное всего, арифметике-с.

— Арифметике так арифметике. Вызови мне кого-нибудь сюда.

На середину выходит ученик, знающий арифметику немного разве хуже самого учителя, но ученик маленький, худой, точно щепка; щеки и глаза его ввалились; он бледен как смерть. Инспектор пристально поглядел сначала на ученика, потом исподлобья на начальника, нахмурил брови и покраснел.

— Знаешь, братец, задачу: «Летело стадо гусей»? — спросил он немного погодя.

— Знаю, ваше прев-ство, — твердым, но болезненным голосом отвечал спрошенный.

— Так расскажи!

— Летело, ваше прев-ство, сто гусей, — начал ученик, — им навстречу попался один, ваше прев-ство, гусь и сказал: «Здравствуйте, сто гусей»; ему отвечали: «Нас, ваше прев-ство, не сто, а если б было столько же, полстолько, четверть столько да ты, ваше прев-ство, гусь с нами, тогда бы...»

— Что ты говор... ришь? — грозно прервал мальчика инспектор, побагровев. — Я — разве гусь? Кто я? — Он ткнул себя пальцем в грудь.

— Генерал-лейтенант и кавалер Павел Прохорович Толстопузов, — едва выговорил ученик и замер от страха.

— Славно же они у вас учатся, нечего сказать, — продолжал инспектор, обращаясь к начальнику. — Вы не учите, а мучаете их: ведь в гроб краше кладут-с!.. — Он указал на ученика. — Меня, генерала, назвать гусем! — продолжал он, впадая в азарт. — Меня обозвать гусем, когда вся Россия знает, что я, Божей милостью, генерал-лейтенант, когда патент на этот заслуженный мною чин подписан самим государем императором? Нет, не-ет! Не прошу я вам этого, ни за что в свете не прошу!

— Помилуйте, ваше прев-ство, — заговорил было начальник, — я тут ни при чем-с: он обмолвился...

— Ка-ак? Вы не виноваты? Нет, вы, один вы во всем виноваты: вы нарочно подучили его осрамить меня. Это верно. Я давно уж замечаю, что вы вольнодумец, вольтерьянец! Я сейчас же это донесу, донесу, что вы морите детей голодом, калечите их, я тебя под серую шинель упеку, да, упеку! — Он перевел дух и, обращаясь к офицерам, продолжал: — А вы во всем подделываетесь под его манеру, вместе с ним разбойничаете и об вас тоже донесу. Нет, врете, не я гусь, а вы, все вы гуси, да не простые, а гуси лапчатые! Тыфу, тыфу, — заключил он и почти бегом направился вон из класса.

Все стояли точно вкопанные. Прошло минут десять.

— Господин полковник, инспектор давно уж уехал домой, — доложил один из офицеров.

— А-а?.. Уехал, — будто спросонья заговорил начальник, протирая глаза и озираясь кругом. — Расходиться! — молвил он, оправляясь. — А с вами я уж после смотра рассчитаюсь, — добавил он, глядя на учителя арифметики и ученика.

Тем и кончился классный экзамен. В подобном же роде кончался он постоянно, с незапамятных времен. Инспектор спрашивал всегда одно и то же, а потому и его вопросы, и свои ответы кантонисты заучили вдолбязку вперед. До первоначального класса он почти никогда не доходил; один и тот же мальчик, часто случалось, отвечал ему в один час в трех местах, перебегая по приказанию начальства из участка в участок. Одним и тем же почерком писались 15—20 тетрадей, ему показанных, и все это благополучно сходило с рук благодаря, впрочем, различного рода мзде, которую инспектор постоянно увозил сам и которую доставлял ему отдельно, обозами, начальник из благоразумной экономии. И чем более находил инспектор беспорядков, тем значительнее делались приношения, и за эти-то, собственно, приношения он еще часто ходатайствовал о награде начальству «за прекрасные умственные способности, им в мальчиках развитые...».

По окончании смотра начальник заведения много лет сряду постоянно угощал инспектора торжественным обедом, после которого он объявлял, что нашел заведение в превосходном во всех отношениях состоянии, и уезжал восвояси.

ХП

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СУД И РАСПРАВА

Смотр кончился, и будничная жизнь со всей своею монотонностью снова вступила в свои права. Приезд инспектора возбуждал

в кантонистах надежду, что он, быть может, вникнет в их положение и хоть в чем-нибудь изменит его к лучшему. Теперь оказывалось, что никаких улучшений не предвидится, и тем тяжелее стало на душе у кантонистов. Носились слухи, будто учитель Сибиряков ходил к инспектору с жалобой, но зоркое начальство не допустило его к нему; стало быть, можно было рассчитывать, что невзгоды еще усилятся...

Учителей — «людей, занимавшихся воспитанием юношества, людей, которых должно содержать в благоприличном уважении»^{*} — воспрещалось подвергать телесному наказанию. Несмотря на это, их всегда и за все наказывали без малейшего стеснения; они, забитые, приученные к дранью, сносили его как нечто должное, неизбежное много лет сряду. Но вот среди учителей появился некто Сибиряков, человек молодой, развитой и с пылким характером. Будучи хорошим учителем, он, как нарочно, никуда не годился по фронту, а так как фронт составлял наиважнейшую часть кантонистской науки, то не проходило и учения, чтобы он не подвергся после него побоям, унижениям и оскорблениям. Долго терпел он и, наконец потеряв терпение, пошел жаловаться инспектору, у квартиры которого его задержали. Это его не остановило. Он склонил учителей на общую жалобу, которую написал, прочитал им и отправил в Петербург. Некоторое время спустя по казармам разнеслось, будто бы Сибиряков украл у кого-то из учителей часы, его за это арестовали и тотчас же предали суду. Весть эта просто ошеломила все заведение: в честности Сибирякова никто не сомневался, и большинство говорило, что ему за его намерение жаловаться с умыслом подкинули часы, чтобы иметь право придрататься к нему. Пока тянулось судбище, наехал ревизор, другой уже генерал, прошел по казармам, потребовал к себе всех учителей. Учителя выстроились в длинную шеренгу и получили приказание входить в следующую комнату по одному.

— Сколько лет в службе? — ласково спросил ревизор первого, Орлова.

— Двадцать первый год пошел, ваше прев-ство.

— И имеешь нашивки?

— Две-с, да, кроме того, представлен к производству в чиновники^{**}.

^{*} Так гласило циркулярное предписание по заведениям департамента военных поселений от 9 октября 1818 года.

^{**} Когда получили приказ о производстве его, то начальник, придержав его у себя, сперва выдрал его, а потом объявил ему, через день, так что наказал его уж в качестве чиновника.

— Так скажи же мне, братец, по совести: сек тебя начальник тогда-то и тогда?

— Виноват-с, ваше прев-ство, наказали два раза, — сорвалось у него с языка.

— За что именно?

— За неисправности по капральству, которым я управляю.

— В чем неисправность заключалась?

— С планок кроватей пыль не была стерта, начальник это заметил и изволил наказать-с...

— А другой какой был твой проступок?

— Не... не... пом... не припомню-с, врасплох...

— Важнее первого или нет?

— В этом же роде-с...

— И шибко посекали?

— Ударов тридцать угодно было дать.

— Поди теперь в смежную комнату, да там не кашляй, не стучи и не прохаживайся.

Орлов вышел по указанию, стал у стены и задумался.

— Припомни-ка, братец, действительно ли начальник наказал тебя недавно два раза, за что именно и по сколько ударов? — спрашивал между тем ревизор второго.

— Никак нет-с, ваше прев-ство, меня не наказывали.

— Не лги: я достоверно знаю, что наказывали.

— Виноват-с, ваше прев-ство, запоматовав: точно, два раза отодрали.

— За какие проступки?

— Раз — за то-с, что у кантониста были на ногах черные портянки, а другой раз — за то, что у двух дурно были починены брюки. Брюки чинят себе кантонисты сами-с.

— А по сколько ударов получил?

— В первый раз... в первый раз... восемь, а во второй раз — четырнадцать, ваше прев-ство-с.

— А сколько тебе от роду лет?

— Сорок пять лет, ваше прев-ство.

— Пошел вон туда, да не разговаривай.

К ревизору вошел следующий.

— Правда ли, братец, что начальство вас, учителей, наказывает телесно?

— Правда, ваше прев-ство.

— И тебя секли?

— Точно так, ваше прев-ство. Сам начальник меня два раза наказывал: первый раз пятьюдесятью ударами — за то, что у некоторых кантонистов моего капральства были дурно починены брюки. Но наказания эти я получил сообразно моей вине и без всяких жестокостей.

— Гм!.. — произнес ревизор. — Значит, не претендуешь?

— Точно так-с, ваше прев-ство, по благоусмотрению-с изволили выдирать.

— И то хорошо; ступай. Следующий!

И так далее, затем ввели Сибирякова.

— Ну, а что скажешь ты о вашем житье-бытье в заведении?

— Вам угодно знать? Извольте, — твердо заговорил Сибиряков. — И меня, и всех учителей наказывали и продолжают жестоко наказывать, несмотря на то, что на основании закона мы избавлены от телесного наказания. Нам достается за грязные кантонистские портянки, за пыль под кроватями, за ошибку по фронту, за неисправности капральств, которыми мы управляем, за недосмотр, за рваную одежду, за шалости и чесотку кантонистов, за их больные глаза. Нас и кантонистов кормят скверно, мундиры и куртки мы носим рваные: чиним все это сами и кто чем может; материалов для починок не дают никаких, а требуют, чтобы все это было в лучшем виде. Вечера проводим мы при мерцании одних тусклых ночников, о казенных свечах знаем только понаслышке. От варварского обращения кантонисты решаются на крайности: топятся в реке и в отхожих местах, режутся.

— Да правду ли ты все это говоришь? — переспросил инспектор. — Есть же в заведении хоть что-нибудь да хорошее?

— Все, что я сказал вам, — суцая правда. Хорошего здесь ровно ничего нет. Вы близко не знакомы с нашей жизнью и, может быть, не поверите мне. Тут нужно месяца два пожить, чтобы ознакомиться с делом.

— А не слыхал ли ты, кто писал от имени учителей донос на жестокое с ними обращение? Мне бы это хотелось узнать для дальнейших соображений.

— Сам я писал эту жалобу.

— Ты-ы? — И лицо ревизора просияло. — А были у тебя сообщники?

— Я писал с согласия всех учителей вообще, и особенно тех, которые в нынешнем году наказаны телесно. Я писал не донос, а, повторяю, жалобу.

— Всех учителей сюда! — закричал ревизор.

Робкою, трусливою поступью вошли учителя.

— Кто из вас участвовал в составлении или переписывании вот этого доноса? — молвил он, показывая бумагу.

Все молчали.

— Выходи же, кто участвовал, не то вызову по фамилиям: я ведь всех знаю.

Ничто не шелохнулось.

— Так из вас никто не участвовал?

— Никак нет-с, ваше прев-ство, никто, — единогласно отвечали учителя.

У Сибирякова в глазах потемнело, дыхание захватило от этого ответа. Он не верил ушам своим.

— Слышишь, братец, что они говорят? — обратился к нему ревизор.

— Вы ничего не знаете? — вмешался Сибиряков, вспыхнув. — Разве не вы приставали ко мне написать жалобу? Разве не вы, прочитавши черновую, одобрили и просили меня скорей послать ее? Наконец, не ты ли, Стрекалов, перебелил мою черновую?

— Нет, я о доносе ничего знать не знаю, — ответил Стрекалов.

Все смолкло. Учителя старались и дышать-то по возможности тише.

— Ну, а хорошо ли начальство обращается с вами? — спросил ревизор. — Говорите откровенно.

— Хорошо-с, очень хорошо, ваше прев-ство.

— И никаких вам жестокостей никто не причинял?

— Никак нет-с, ваше прев-ство; мы всем довольны.

Учителей распустили*. Сибирякова отправили под арест, а ревизор пошел допрашивать кантонистов четвертой роты, заподозренных в участии в заговоре против начальства.

Кантонисты четвертой роты были особенно вооружены против начальства и потому не упускали случая надеть ему неприятностей.

— Здорово, ребята! — приветствовал роту ревизор.

Рота отвечала молчанием. Ревизор растерялся. У начальника чертики в глазах запрыгали.

— Здорово, ребята! — повторил ревизор, оправившись.

Никто и не пикнул. В это время раздался треск оплеухи. Ревизор взглянул в ту сторону, откуда слышался треск, и медленно повернул глаза к роте.

— Да что же вы, ребята, молчите? — начал он. — Недовольны, что ли, чем, так говорите прямо.

— Недовольны, всем недовольны, всю нашу жизнь недовольны!

— Кто недоволен — шаг вперед.

Вся рота шагнула вперед. Ревизор нахмурился.

— В чем же ваша претензия? — спросил он.

— Всем говорить нельзя: вам нас не расслышать, — отозвался кто-то из первого взвода. — Мы выбрали из себя троих, они вам все скажут.

— Прикажите вперед нашему начальству выйти отсюда, — подхватил второй взвод.

* Суть описанного и ответы учителей приведены здесь из достоверных источников — подлинного дела, отысканного нами впоследствии в одном из архивов Военного министерства.

— Господа офицеры и унтер-офицеры — в другую роту марш! — молвил ревизор взволнованным голосом.

Начальство ушло.

— Выборные вперед! — продолжал ревизор.

Три кантониста выступили с разных сторон. Звали их: одного Михаил Бахман, другого Николай Мараев, а третьего Василий Васильев. Все они были стройные, рослые, красивые юноши, имели лет по 18 на вид. Ревизор смерил их долгим испытующим взглядом. В комнате слышалось, как жужжали мухи.

— Чем же вас обижают? — спросил он первого.

— Чем нас обижают? — со вздохом повторил Бахман, покраснев. — При вас сейчас кантонисту задней шеренги разбили в кровь губы, а вы и видите, и не видите. Неужто вы затем сюда присланы, чтобы на ваших глазах лилась наша кровь? Неужто ж и в вас, так же, как в наших начальниках, нет к нам ни капли жалости? — Бахман остановился и, уставившись своими большими выразительными глазами в ревизора, казалось, замер.

— И ты, мальчишка негодный, смеешь так дерзко говорить? Арестовать его!

— Не дадим, не дадим его арестовать, — крикнула рота. — Арестовать, так и нас всех арестуйте: он говорил за всю роту; всякий из нас то же самое сказал бы вам.

Ревизор задумался.

— Что ж, арестуйте, я ареста не боюсь: заодно уж мне пропадать, — продолжал ободренный Бахман. — От нас вон и на почте писем не принимают: все боятся жалоб. Но ведь у многих из нас есть в городе отцы, матери, родственники, и от всех их почта не убережется... Долго ли, коротко ли, а наши стоны услышатся же! Вам, быть может, хотелось бы, чтобы мы, как прежде, кричали: «Все м довольны», — но мы дальше не можем молчать, и ежели наша правда глаза колет, то этому вина не наша, а тех, кто довел нас до этого...

— Замолчи, паценок эдакий! — закричал ревизор, топнув ногою. — Какой маленький и какой злой! Это большой грех. Говори ты, в чем ваша претензия, — обратился он, понижая голос, к следующему выборному Мараеву.

— Я, ваше пре-вство, осмеливаюсь доложить вам вот что: мы все обижаемся, зачем приневоливают еврейчиков креститься. Узнает, например, начальник, что завтра прибудет партия еврейчиков (а их прибывает раза два-три в год человек по 100, по 200), и уж заранее шлет унтер-офицеров стеречь их хорошенько, не подпускать к ним близко никого из здешних евреев-солдат. Приведут их в казармы, загонят в холодную комнату без кроватей, без тюфяков; все, что у них найдется при себе из съестного, отнимут и запрут их под замок. И

валяются они на голом полу, стучат от холода зубами да плачут целые сутки. Наутро придет к ним начальник, за ним принесут туда несколько чашек щей, каши, каравая три хлеба и десятки пучков розог. «Что это за люди?» — крикнет он, будто сам не знает. «Жиды», — ответит ему фельдфебель. «Как жиды? — закричит он во все горло. — Откуда они взялись? Ножей, топоров сюда, всех перережу, изрублю в мелкие кусочки: жидов мне не надо; в огонь, в воду всех их разом побросаю; жиды продали Христа, прокляты Богом, туда им и дорога!» Те, известно, перепугаются, а ему только того и надо. «Эй ты, поди сюда! — зовет он к себе того из еврейчиков, кто всех трусливей выглядит. — Кто ты?» — «Еврей». «А?.. Еврей, ну хорошо: я люблю евреев, потому сам был евреем, крестился таким же маленьким, как ты, и вот теперь стал полковник. Эй вы, еврей! Видите на мне какие эполеты? Из чистого золота. Креститесь, и вы будете полковниками и тоже будете носить золотые эполеты. Желаете креститься, а?» Тот молчит. «Выбирай любое: или говори «Желаю» и иди вон в угол обедать, или, если не хочешь, раздевайся. Все долой с ног до головы; запорю!» Что выбирать? Голод, известно, не свой брат, розги — страх, ну и отвечает «Желаю» и идет есть. А кого ни страх, ни голод не берет, тех через три четвертого дерут, морят голодом, в гроб, можно сказать, вгоняют. А крещеные нередко месяца по два, по три после крещения не знают, как их и зовут-то по-русски, а молитвы выучат разве-разве через год. Бывало, на проверке капрал выкликает: «Иван Петров», а еврейчик молчит. «Ты, жидовская твоя морда, что не откликаешься?» — закричит капрал и даст ему в зубы. Тот съжится от боли да и стоит, точно истукан. «Шмуйло Хайлович?» — повторит капрал. «Я», — отзовется еврейчик. «Да Хайлович ты по-жидовски, а по-русски-то как? Ты ведь уж крещеный, русский», — толкует ему капрал. Иной, непонятливый, не одну сотню розог получит, пока заучит русское свое имя.

— Ну, а ты что скажешь? — спросил ревизор третьего.

— Да осмелюсь доложить... — начал Васильев, — житья нам совсем нет: холодаем, голодаем, терпим всякие тиранства решительно ни за что ни про что... Кто начальству денег не дает, кто у него спросит свои, присланные из деревни, из дома, того за это бьют, дерут, да и плакать не велят.

Васильев что-то вспомнил и не вытерпел — заплакал.

— Особенных каких-нибудь претензий нет у вас?

— Нет-с, еще особенных никаких нет, — крикнули одни.

— Да и этих довольно! — подхватили другие.

— Вы эти-то разберите по правде, по закону, — продолжали трети.

— Будьте нашим отцом, покровителем; век не забудем, — кричали четвертые. — Нашему начальству не извольте сказывать о нашей жалобе!

— Будьте, ребята, спокойны: все, что могу, я для вас сделаю. А вы трое идите в свое место, да вперед никогда не будьте ни зачинщиками, ни доказчиками: тем и другим всегда попадает первый кнут.

Далее, прочитав роте наставление, как себя вести, ревизор ушел в сопровождении начальства.

Начальник, в свою очередь, углубился в сочинение ответов на множество заданных ему вопросов и совершенно забыл на время и роту бунтовщиков, и выборных. Ответы его были поистине замечательны. Так, на вопрос: почему он наказал телесно двух учителей, имевших по две нашивки, он ответил: «Учителя с нашивками, во внимание долговременной и беспорочной их службы, точно были подвергнуты легкому наказанию за проступки, не заслужившие донести о лишении их нашивок». На вопрос: по какому случаю он наказал учителя 60 ударами за запачканный кант, он отозвался: «Учитель наказан 60 лозонами во внимание молодости лет и дабы не дать ему повода к подобному поступку». На вопрос: почему вопреки распоряжению 1818 г. он вообще наказывал учителей, начальник отозвался так: «Имея в виду распоряжение 1833 г., которым дозволялось наказывать учителей телесно, не выходя из пределов власти, руководствовался им, а не распоряжением 1818 г., воспрещавшим их наказывать; изменить же это правило (т.е. не наказывать) не считал себя вправе». Кроме того, ему частным образом известно, что его знакомый, командир образцового полка, на сделанный им гораздо позже того вопрос: можно ли наказывать учителей телесно, получил от департамента военных поселений утвердительный ответ.

Прошло дня два. В воскресенье по казармам объявили, что ревизор уехал. Кантонисты пообедали. За роспуском многих со двора и за уходом одних — на базар, других — за магазины, налицо в четвертой роте осталось немного кантонистов. По случаю праздника они играли в жгуты, в чехарду, в костяшки, в камешки.

В это время на одной из кроватей задней линии задумчиво сидели знакомые читателю кантонисты: Бахман, Мараев и Васильев — депутаты, объяснявшиеся с ревизором.

— Во всем-то нам, братцы, не везет, — сказал Бахман, вздохнув. — Теперь мы окончательно пропали. Так я думаю.

— Еще бы не пропасть! — подхватил Васильев. — Учителишки-то вон струсили — ну и Сибиряков погибнет.

— Ну их, учителей! Самим грозит беда: не дальше как завтра, об эту пору, нам, пожалуй, придется уж лежать в лазарете... иссеченными.

— Бежим, братцы! — вполголоса молвил Мараев.

— Куда? — спросили товарищи.

— Да куда глаза глядят, только бежать, и бежать сегодня же, пока нас еще не засадили.

— А ну как поймают?

— Хотите вместе — нас ни за что не найдут. Я зайду домой, возьму там потихоньку каравай хлеба, соли, ляжку говядины, вольную одежду, свою — для себя, братнину — для тебя, Миша, а ты, Вася, забеги к себе домой и тоже захвати едомое да одежду. Сойдемся потом за амбарами, переоденемся, проклятую свою амуницию бросим у реки — пускай ее найдут! Скажут: утонули. А мы себе спрячемся подальше под мост на несколько дней, а там передадимся татарам и уедем с ними. Денег у меня тоже припасено 5 рублей, у тебя, Миша, рубль, да ты, Вася, выпроси либо стащи у матери сколько-нибудь, и горевать нечего будет. Согласны, братцы?

— Не сбыться этой затее: поймают, беспрерывно поймают и тогда совсем заперют, — настаивал Бахман.

— Нельзя этого, — горячо молвил Васильев. — У меня мать да сестра с горя пропадут, если я сбегу.

— А обо мне разве некому плакать? — перебил Мараев. И отец, и мать, и брат, и сестры меня самого любят ничуть не хуже твоего; я их тоже люблю и жалею. Ну да они нас от розог не спасут! Да куда! Через них-то нам и достается втрое больше других, у кого родных нет. И ротный, и фельдфебель пронюхали, например, что у моего отца деньги водятся, и требуют, и кланчат беспрестанно. Он давал, давал им, ненасытным, да и перестал. На них, говорит, не напасешься денег, самим надо. И правда, работник он у нас один; день-деньской сидит вон в казначействе, да считавши казенные капиталы, отпуская их господам, да принимавши откуда принесут — все глаза перепортил, в очках уж худо видит. Ему самому пора бы уж на отдых, а тут дом, семья, всем надо пить-есть, одеваться-обуваться и все такое прочее... Да и шутка ли дело — 25 лет отрубил казне, ранен в бок, в ногу, получил за это три креста, а денег ни гроша... Ну поневоле сидит в казначействе счетчиком 15-й год. Так вот, как отец перестал давать им денег, они осерчали на него и бьют, и дерут за это меня с братом. Много раз умолял я отца помочь нам, а он говорит: «Пособить деньгами не могу: все уж повысосали. Терпи, пока можешь, авось нам

удастся вырвать тебя из их когтей^{*}. Выйдешь на волю, много надо будет денег на приписку тебя в купцы. Я хочу, чтоб хоть ты у меня был вольный человек». И погладит меня, бывало, по голове таково ласково, поглядит мне в лицо, даст гривенник на гостинцы да и пошлет меня с братом гулять. Пока дома сидишь — на сердце легко, а как вернешься в казармы — не глядел бы ни на что и ни на кого!.. Когда эта воля выйдет, Бог весть! Говорят, по году и по два ходят бумаги — ну, а до тех пор три раза околеешь от розог и побоев. Я уж и ждать-то ее отчаялся — не стану! Скажи, Вася, кстати, за что это ротный постоянно тебя дразнит: «Матушкин сынок, ему бы только и сидеть под подолом сестрицы». Тут тоже что-нибудь да кроется?

— Известно, не даром, — грустно отозвался Васильев. — У него, видишь ли, глаза разгорелись на сестру, потому красивая она, молодая да стройная, как редкая барышня. С год тому назад шел я однажды с нею по улице, он увидал ее и без зазрения совести повадился ходить к нам и строить ей куры. «Полюби, говорит, меня красавица», да и все тут. А мать-то спроста и говорит: «Эдакого-то человека полюбить? Да вы с ума никак спятили! Вы нам не ровня, идите себе своей дорогой, а нас оставьте в покое. Моя дочь вовсе не такая, чтобы всякий встречный и поперечный мог ей навязываться со своею любовью...» И сколько она ему ни говорила, как сестра его ни конфузила и сколько от него ни пряталась, а он все не отставал, все хотел сбить ее с панталыку. Сидит она раз дома, наклонившись над работою, пьет себе. Вдруг он входит, подкрадывается потихоньку к ней сзади, облапил да и поцеловал ее в самые губы. Сестра, не будь промах, рванулась вперед да как свиснет его со всего размаху по роже — так ажно стены задрожали. Матушка была в то время в сенях, услышала треск пощечины и вбежала в комнату. А сестра-то в слезах. Обругала мать ротного скверным словом да с кочергою в руках и выпроводила его за ворота. С тех пор он и носу не кажет. Зато с того же дня стал мстить мне, мстить ужасно. Я однажды пел один песню в поле, где решительно никого не было. Он услышал — сейчас меня драть (голос, вишь ты, портил). Волосы у меня велики — драть, остригусь — опять драть: зачем, дескать, коротки волосы. Словом, за все драть. Но ему и этого мало: едва подойдет праздник, он непременно уж придерется к чему-нибудь и домой не пускает. Там, со своими, хоть горе-то свое выплачешь,

^{*} Отставным солдатам отдавали прежде, в виде особенной милости, для призре-
ния в старости одного из сыновей, если их было кантонистами два-три и если сам
проситель был раненый. Отдавали также и вдовам солдат, убитых на войне.

на сердце все легче станет, а из-за него, проклятого, и это редко удастся... А ведь как хорошо дома-то!..

Васильев вытер кулаком катившуюся по щеке слезу, опустил голову и замолчал.

— Вам, братцы, хорошо: хоть есть родные, есть с кем поговорить по душе, а вот мне-то каково? — начал Бахмая, тоскливо поглядывая на товарищей. — Отца я совсем не помню. Мать, больная и бедная, кормила меня подаянием, и мы по-своему были довольны, пожалуй, даже счастливы. Когда мне минуло 11 лет, меня схватили однажды на улице и стащили в острог. Там я нашел человек 15 таких же, как я, горемык. Все они были попарно скованы по ногам. Меня тоже сковали с одним. Начали мы с ним знакомиться. Он спрашивает: «Ты как попался?» Так и так, говорю. Ну а я, говорит, три года сряду прятался; и в стог-то сена леживал суток по двое голодным, и в печке-то чуть не задохся от жары, и в подполье с крысами укрывался под соломою, и по лесу-то вместе с матерью бродил в страшные морозы, и промежду могилками-то на кладбищах не раз с нею ночевывал. Где-где только не скрывался я от рекрутства, а вот попался-таки. И ведь как? По милости тетки, чтоб ей ни дна ни ^{*}покрышки не было. Ей, видишь ли, кагальники (сотские) гуся* подарили, она меня за него, за гуся-то, и выдала им с головой. С неделю лежал я последний раз зашитым в перине, дышал, ел, пил сквозь дырку, а мать убирала за мной, точно за грудным ребенком. Вдруг слышим, кагальные идут к нам. Мать мигом разделась, легла на постель, на меня, значит, да и заохала, застонала, будто больная. Кагальные пошарили для блезира на печке, в сенях, подошли к кровати, поглядели на мать, стащили ее без церемонии на пол, распорол посредине перину, вытащили меня из нее всего в пуху да и приволокли в острог. Посидевши недели с две закованными, попали мы в рекрутское присутствие, сдали нас в рекруты. Мы и этому обрадовались: хоть кандалы-то сняли, а то просто измучились, бывши закованными вдвоем.

Отправили нас в губернский город. Мать потащилась за мною пешком. Дорогою конвойные и били ее, и издевались над нею сколько хотели. Едем, бывало, дорогою, они ее сперва посадят на задок подводы, где я сижу, поедут пошибче, да как только телега сравняется с ямою, болотом или лужею, так они столкнут ее, а сами ударят по лошадям. Она упадет лицом прямо в грязь, а они-то хохочут во все горло, любят, как она потом бежит за нами вдогонку верст пять-шесть не переводя духу. Потом приоста-

* Кантонист, выданный теткою за гуся, служит теперь в Петербурге чиновником.

новят лошадей, посадят ее и, немного погодя, снова столкнут и снова потешаются. Я не смел не только заступиться за нее, но и пикнуть. И все это она из-за меня выносила! Бывало, украдкой поцелует меня, поплачет надо мною. Наконец конвойным надоело издеваться над нею, и они ее представили в этап, а этап отправил под конвоем обратно в город как беспаспортную... А что ей там было делать, коли у ней не было ни кола ни двора?

Из губернии погнали нас, человек 200, сюда. Шли мы дорогою в слякоть, в морозы, голодали, холодали напропалую. Кормили нас всякою дрянью, белье мы себе мыли сами, на дневках, а уж как вымывали — и говорить нечего: 16-летних было всего человек 40, а то все 10, 12 и 14 лет. Одежда наша была: шинель да полушубок. С усталости да от холоду мы, случалось, по несколько дней сряду совсем не раздевались; валялись в грязи на полу, оттого к нам всякая нечисть приставала: и вши-то, и чесотка. Зачешется, бывало, бок или ляжка, сунешь туда руку, вытащишь полпригоршни вшей или блох, бросишь их на землю да и топчешь ногами: руками уж очень долго их убивать. И в полушубках-то вши развелись. Терпел, терпел я да выпросил раз на дневке у хозяйки ножницы и выстриг весь мех на полушубке так, что осталась одна кожа. Надел полушубок — легко, тело не зудит, не чешется. Я похвастался другим рекрутам; те, на меня глядя, тоже испортили свои полушубки. А наутро мороз, и мы, идучи на станцию, чуть не замерзли от стужи: кожа-то не грела. Узнал про это партионный, и трусил ли он или ему нас жаль стало, только к вечеру же истопили на станции несколько бань разом, обмыли нас, выжарили на полках нашу одежду и дали новые полушубки. Через несколько станций вши снова обсыпали нас. А к взрослым рекрутам, которые были большею частью паршивыми еще дома, и подойти близко нельзя было: от них так и разило падалью, точно дохлой кошкой, что ли. Они, вишь ты, нарочно дома на себе паршу развели, чтоб увернуться от рекрутства. Надрежут, знаете ли, кожу на голове, на руке али на ноге, вольют внутрь надрезанного места скипидару, ворвани или купоросу да то и дело расковыривают рану-то. Оно, конечно, больно, ну, а все легче рекрутчины-то. Думают: паршивого не возьмут; люди смердящие, с прогнившими костями, с пархатою головою к службе не годятся. Ну, а ежели три раза кряду забреют затылок, тогда совсем лафа будет*. У иного в несколько дней все волоса вылезут, вся голова загниет, гной потечет по лбу, по затылку, за ушами, на шее сядут желтые болячки, на ноге виднеется кость, мясо около нее зазеленеет,

* Забраванный три раза сряду, ежегодно, освобождался навсегда от рекрутства.

заплесневевает, нога распухнет, пойдут огромные волдыри, короста. Мучается, мучается, а проку мало. Приведут, бывало, таких молодцов в присутствие, вложат в их бумаги по красненькой — и всем им живо забреют лбы, а потом прикажут солдатам лечить их. Те и начнут их водить через каждые двое суток в баню, мазать им на полке раны крепкою водкою, дегтем с солью и парить их вениками до полусмерти. Болячки потом понемногу засохнут, точно кора на дереве, солдаты примутся отдирать с них эту кору, а они поднимают гвалт на всю казарму. Как сдерут струпья-то, так человек, бывало, стоит словно совсем без кожи: одно мясо красное.

Месяцев через пять пути мы добрались сюда. Здесь нас насильно крестили и бросили на произвол судьбы. Купайтесь, дескать, в этом болоте сколько душе угодно, а из нас, ваших крестных, никому вы больше не нужны. Живи потом один и мучайся в этом омуте; никто-то тебя не пожалеет, всем-то ты чужой... Кто, примерно спросить, меня теперь приласкает от души, кто приголубит? Мать, что ли? Да жива ли она, где она, да и приголубит ли еще она меня, крещеного-то? Ведь крестился, значит, от родных отступился... Вот эдаким путем вся внутренность во мне изныла. Житья нету! Я руки на себя наложу.

Мараев мрачно глядел перед собою. Вдруг он оживился.

— Сказано: бежать, — молвил он, — что бобы-то тут разводить. Идет, что ли?

— Идет, — дрожащим голосом отозвался Васильев.

— Ну, а ты, Миша?

— Я?.. И я... покончу... — подтвердил Бахман, махнув рукою.

— Так идем собираться в путь-дорогу, — настаивал Мараев. — Как только стемнеет, чтоб и духом нашим больше здесь не пахло.

— Собираться так собираться, — повторил Бахман. — Не красна и жизнь-то, жалеть не о чем. Кончить лучше сразу, да и баста. Дружья разошлись в разные стороны.

Ночью, когда все уже спали, произошло необыкновенное происшествие: один из кантонистов второй роты увидал черта.

— Караул, черт, черт, караул! — заревел он благим матом.

— Караул! Черт, черт, караул! — подхватили прочие часовые.

«Караул!» — повторилось эхом в отдаленных комнатах.

Кантонисты повскакали с кроватей. Поднялся шум, гам, все столпились у входа в ретирадное место, откуда раздавался крик.

— Благо попался, надо поймать его, этого черта, — кричали кантонисты, — все бока ему переломать.

— Это он наши сапоги по ночам носит: к утру весь глянец пропадает!

— А гогочет-то в трубе, а свищет-то в окнах, все ведь, братцы, он же, этот самый черт!

— Тащите, братцы, скорее образ сюда!

— Лучше, братцы, в бутылку его заманить да пробкою и закупорить; пусть там издохнет. Несите бутылку-то.

— А поди-ка подставь ее, коль храбер, авось на месте же задушит. Боек больно, так покажи свою удаль.

— Что за крик! Кто там? — допытывались переполошившиеся унтера и фельдфебель.

— Черт стоит в ретиреде, кантониста душит, давит, колет, — голосили со всех сторон.

— Унтер-офицеры, одеться в форму! — скомандовал фельдфебель. — Зайцев, беги за дежурным офицером. Живо!

Явился дежурный офицер и, протирая сонные глаза, спросил, что случилось.

— Черт, ваше бродье, душит в ретиреде кантонистов, — отвечал наобум фельдфебель, тоже еще не очнувшийся порядком. — Что прикажете делать?

— Какой там черт! Сами вы все черти, дьяволы. Никогда покою не дадите, проклятые! Огней сюда! Унтер-офицеры, вперед! Тесаки на-голо! Слушать команду!

Унтер-офицеры перекрестились.

— Тесаки наперевес, напри дверь и дружно, сразу отворить. Раз-два-три!

Унтера принатужились и, одним напором растворив настежь дверь, влетели в ретирадное место, но тотчас же отскочили обратно в дверь и в замешательстве погасили почти все огни. Сам дежурный попятился ввиду таких критических обстоятельств.

— Ну что? — спросил он неровным голосом, отойдя подальше от дверей.

— Стоит, как есть стоит над самою дырою, — отвечали унтера, двигаясь еще больше назад.

— Да кто стоит?

— Известно кто: черт, ваше бродье.

Все остолбенели. На окне ретирадного места стоял ночник, и огонек светильни чуть-чуть теплился; на том месте потолка, где должно было висеть ночнику, действительно что-то стояло.

— Унтер-офицеры, тесаки на руку — и вперед марш! — скомандовал офицер.

Но ни черт, ни унтера не трогались с места.

— Что же? Ослушаться?.. Всех передеру, разжалую, сквозь строй прогоню! Бери его приступом, хватай!

— Позвольте мне, ваше бродье, войти туда, — молвил коренастый здоровый кантонист, лет двадцати двух. Он находился в умывальне для уборки и частенько вынашивал на двор по ночам

ушаты с нечистотами. — Я никаких чертей не боюсь, — продолжал он, — потому привык по ночам шататься, да и черти, что люди, разные бывают — и смиренные, и озорники.

— Сделай милость, иди, — ласково заговорил дежурный, — ступай, любезный, да смотри осторожней, не ровен час... сохрани Бог, схватит.

— Не беспокойтесь, ваше бродье. Пропустите-ка, ребята!

Он взял свечку и вошел в ретирадное место, оставив позади себя настежь растворенную дверь. У зрителей захватило дыхание.

— Да это, ваше бродье, не черт, а кантонист, — громко заговорил Иванов, остановившись перед воображаемым чертом.

— Кантонист?.. Неужто кантонист? — тревожно спросили разом несколько голосов.

— Ну да, кантонист, — повторил Иванов, взглядывая вверх. — Михайло Бахман! Я его коротко знал.

— Да что же он?

— А повесился.

— Да из-за чего?

— Знать, жизнь-то больно, ваше бродье, красна. Прикажете стащить его с петли-то?

— Нет, не трогай. Посмотри хорошенько, он ли еще это, а ежель он, то на чем повесился и не жив ли еще?

— Он-то он, ваше бродье. — Иванов повертел висевшего Бахмана кругом и потом щелкнул его пальцами по носу. — А повесился он на полотенце, и оно уж порвалось: тяжел больно. Нарочно, шельмец, испортил новое полотенце, а оно ведь казенное, за него каптенармус житья не даст. Подай, дескать, в сдачу.

Удостоверившись в действительности случившегося, дежурный запер дверь на замок, поставил часового и ушел. Фельдфебель, унтера и кантонисты тоже разошлись. Утром тело Бахмана сняли с петли, унесли в часовню лазарета, а суток через трое завернули труп с ног до головы в холст и, положив в наскоро сколоченный ящик, взвалили этот «гроб» на телегу. Кучер со сторожем свезли его за околицу и закопали в болоте, на кладбище самоубийц. Тем и кончилась жизнь этого несчастного юноши.

На четвертый день после погребения Бахмана Мараева и Васильева исключили из списков как без вести пропавших, распространив по заведению слух, будто они утонули, о чем начальство заключило по найденной на берегу реки их одежде.

Вскоре после трагической смерти Бахмана заведение внезапно было взволновано печальными новостями: Сибирякову вышло решение. Его разжаловали в рядовые, наказали 150 ударами розог и сослали в гарнизон. Начальнику дали выговор за беспорядки по заведению. А еще недели две спустя в казармы привели Мараева,

закованного в кандалы. Убежав из заведения, он хоть и успел перебраться вместе с Васильевым в соседнюю губернию, но, отыскивая там безопасное убежище, они забрели в какой-то городишко, где и остались ночевать. Мараев пошел на базар купить провизии и заспорил с торговкою. Торговка крикнула сотского, который стащил его в полицию. Там его начали допрашивать: чей да откуда, но он упорно молчал целых трое суток. Этим он давал Васильеву знать, чтоб скрылся. Потом признался и был отправлен по этапу в заведение. Здесь его засадили на гауптвахту и предали суду. Главное начальство решило наказать его 100 ударами розог. Ночь перед наказанием Мараев провел в самых мучительных страданиях. Утром долго, горячо молился, а когда пришел за ним конвой, он молча простился со своими сожителями по гауптвахте, шепнул одному из них что-то на ухо и смело, решительно отправился за получением определенного наказания за побег.

Перед выстроенным на плацу фронтом кантонистов нетерпеливо ожидал Мараева, как коршун добычу, Курятников. Около него стояли барабанщики и лежало пучков 100 розог, вымоченных в горячей соленой воде.

Очутившись на лобном месте, Мараев оглянулся кругом и позеленел от страха.

— Разденься-ка, каналья ты эдакая, — молвил начальник, — все, все долой. Я вот тебе покажу, как бегать.

— Ваше высокородье, помилуйте, сжальтесь надо мной! — взмолился было Мараев.

— Спусти прежде шкуру с шеи до пят, а потом, пожалуй, и помилую. Раздевайся же!

— Так прочтите, ваше высокородье, хоть вот эту записку вперед, а там... — Мараев вынул из-за обшлага шинели крепко свернутую бумажку, в которой ровно ничего не было писано, и, придвигаясь к начальнику, подал ее ему.

Начальник взял в руки бумажку и внимательно начал ее раскручивать. В это самое время Мараев схватился обеими руками за его эполеты, с быстротою молнии сорвал один совершенно прочь, а другой наполовину, ударил вырванным эполетом начальника по щеке и потом начал комкать, мять эполет в каком-то диком исступлении. Поступок Мараева точно громом поразил весь фронт. Начальствующие остолбенели, а подначальные чуть не запрыгали от радости.

* Кантонисты и даже солдаты тогдашнего времени твердо верили в неизвестно откуда занесенный слух, будто офицер, с которого сорвут эполеты, тем самым лишается офицерского звания.

— Отнять эполет и взять его! — отчаянно заревел Курятников, опомнившись.

И офицеры, и фельдфебели бросились на Мараева и хоть с большим трудом, но отняли у него измятый эполет, а самого повалили на пол.

— Раздеть его донага, растянуть на скамейке и начать впересыпк-ку-у!.. — неистово ревел начальник, надевая эполет.

Одежда Мараева моментально превратилась в клочки, а сам он очутился на скамейке; на голове и на ногах его сидели солдаты, а два барабанщика уж рвали розгами живое мясо из его тела. Ему отсчитали более 400 ударов и полумертвого стащили в лазарет.

Затем началось вторичное судьище, вследствие которого последовало новое решение: «Мараева, как не имевшего в день содеяния преступления совершенных лет (ему было 16 лет и 11 месяцев от роду), на основании 107-й и 937-й ст. I кн. 5-й части свода военных законов, не наказывая телесно, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу, в крепостях, на восемь лет».

Замечательно в этом деле было то, что оно прошло через пять инстанций и ни одна не узрела, что начальник противозаконно наказал Мараева, о чем донес своевременно: как только он сорвал эполет, следовало по закону судить его снова и подвергнуть наказанию по совокупности преступлений. Мараева привели в канцелярию и без всякой уже торжественности одному прочитали решение. В тот же час отправили его в губернское правление, а оттуда — в острог. Выходя из канцелярии, Мараев — уже страшная, неузнаваемая тень прежнего красивого, здорового юноши, — прощаясь с окружающими его товарищами, занимавшимися в канцелярии (в числе их был и пишущий сии строки), искренне радовался своему избавлению от кантонистской жизни. По своему простодушию он не допускал даже и мысли, чтобы жизнь в каторжной работе могла быть хуже житья в заведении кантонистов. И, судя по «Запискам из Мертвого дома», это совершенно основательно.

Последний акт трагедии, в которой были главными действующими лицами трое юношей, разыгрался несколько лет спустя.

В канцелярию заведения привели однажды под конвоем высокого здорового мужчину, лет 25 на вид, в арестантской одежде, в кандалах, с длинными русыми волосами и такого же цвета бородою. То был Василий Васильев. Сзади конвоя стояла молодая женщина, довольно красивой наружности, держа за руку хорошенького мальчика лет шести. Женщина была жена, а мальчик — сын Васильева. Широкое, мускулистое лицо Васильева болезненно передергивалось, а большие голубые глаза его лихорадочно блуж-

дали, переходя с одного предмета на другой. История странствия Васильева по белу свету и рокового возвращения в заведение была довольно коротка. Пробравшись верст за 400 от места расположения заведения, он достал каким-то путем чужой паспорт; зашиб затем трудом да бережливостью копейку, отошел еще несколько от большого тракта и поселился в маленьком городишке. Там он занялся кое-какою торговлею и, наконец, женился. Через год у него родился сын. Тихо, мирно прожил он таким образом несколько лет. По временам он впадал в грусть, скучал по матери, по сестре и в таких случаях прибегал к выпивке. Раз, будучи навеселе, выболтал он неосторожно тестю свою кручину, а тот, поссорившись с ним из-за чего-то, в пылу гнева выдал его полиции. Полиция сперва высосала из него в короткое время все его средства, а потом засадила в острог, затеяла переписку, по милости которой он и очутился в канцелярии. Жена его отправилась за ним вместе с сыном.

— Так ты, братец, так-таки и не хочешь сознаться, что ты кантонист Василий Васильев? — спрашивал его в канцелярии уже новый начальник. — Ведь есть улики. Станешь запираяться, тебе же хуже будет.

— Нет, я не кантонист, а мещанин — это видно из моего паспорта, — грубо отвечает арестант, потупив голову. — Меня стращать нечего, я никаких улик не боюсь.

— Выдь-ка, матушка, сюда и погляди, не он ли твой брат? — продолжал начальник, повернув голову к боковой двери. Из двери вышла бледная, изнуренная молодая женщина. Взглянув на арестанта, она пошатнулась, остановилась, шагнула еще вперед, опять остановилась и, зарывдав, оперлась о стол.

— Ну что, матушка, он, что ли, твой брат или нет? — спросил начальник. — Скажи по совести, и разом покончим эту комедию.

— Он, батюшка, он, мой брат Вася, — сквозь слезы заговорила монашенка. — Вася, голубчик, ведь это ты, ты, мой сердешный! — добавила она и бросилась было к нему на шею.

— Убирайся прочь от меня! — озлобленно крикнул арестант и оттолкнул от себя монашенку. — Кой тут черт: брат! Ишь побраталась...

Но монашенка не унималась, рыданиям и причитаниям ее не было конца. Несмотря на упорное отрицание со стороны Васильева, начальник вынес из этой сцены убеждение в его виновности. Судьба его была решена.

Васильева прогнали сквозь строй и сослали в арестантские роты за шестилетнее нахождение в бегах, за подделку паспорта и упорное запирательство. Сына его взяли в кантонисты как человека,

рожденного от кантониста, а жена, чаявшая освободить мужа, видевши экзекуцию над ним и лишившись не только его, но и сына, сошла с ума и кончила жизнь самоубийством.

Здесь, кстати, во-первых, заметим, что давилось, топилося и бегало очень много кантонистов, а во-вторых, расскажем другой случай. В заведение однажды привели седого старика, лет 50, когда-то в молодости отлынявшего от поступления в кантонисты. У старика были не только сыновья, но и внуки. Судили его, судили и, наконец, во внимание к чистосердечному его сознанию, старости и неспособности к боевой службе решили: не наказывая его телесно, определить в кашевары на солдатский 25-летний срок. Таким образом, он мог рассчитывать на отставку не ранее как на восьмидесятом году жизни.

Старик был словоохотлив и нередко рассказывал о своих похождениях.

— Прожил я, — говорил он, — в бегах век свой не крадучись, а по-божески да по милости общего благодетеля — доброго барина. Жил-был неподалеку отселева этот барин, знатный, богатый и большой охотник до правды, до воли и до войны. Где, как и почему он пристрастился к эвдаким делам, откуда и когда явился в поместье — ничего я этого не знаю. Поместье его было большое: тянулось на целый уезд, а сам он жил в громадном селе. Село стояло над широкой бурливой рекой, и попасть в него можно было не иначе, как переехавши реку на барском пароме. На ночь паром причаливался к берегу села и держался до утра на привязи. У села и по селу ходили ночью, по наряду, караульщики. Самое село было окружено каменной стеною, точно крепостью. Внутри села тянулся на версту один каменный дом, одноэтажный, со всякими службами. Барин всех принимал, кому худо на свете жилось: кто удирали от дурного помещика, кто от солдатства или кантонистства, а кто из острога — все шли к нему. Всякий такой человек являлся к нему лично, рассказывал ему по совести: откуда, как и для чего убежал, получал от него наставление, как держаться, живучи у него, и уходил с провожатым в контору. Там его записывали в число дворни, отводили комнату в барском же доме, давали одежду, обувь, белье и все такое прочее. С месяц беглый отдыхал, знакомился со всеми, а там его посылали на работу, по его силам и понятиям глядя. Так проходило несколько месяцев, а после выбирай себе дело, какое тебе по нраву. Холостых барин любил женить, девок замуж выдавать, и тем и другим давал от себя приданое, строил избы, переводил их в другие свои имения,

пересаживал на оброк, а оброк брал самый пустяшный. У мужиков сам крестил детей, помогал им деньгами, обходился со всеми ласково, дружественно, точно с ровней. Любил он всего больше смельчаков, расторопных да стрелков; с такими людьми он объезжал верха на лошадях свои поместья и охотился по лесам дремучим. Все его знали. Не было примера, чтоб он кого-нибудь из беглых выдал, не глядя ни на какие угрозы, ни на какие жалобы господ. Начальства он решительно никакого не боялся. Придет, бывало, становой либо исправник отыскивать какого-нибудь беглого, явится к нему. Он его выслушает, велит напоить-накормить, дать на дорогу за труд: становому — 25 рублей, исправнику — 50 рублей, и проводить его за ворота. Те, зная его нрав, угостившись на славу, брали деньги, уезжали восвояси, да и докладывали кому там надо, что, мол, такого-то нет. Ну, а ежели да наедет бойкий какой чиновник и не убогится барским положением, его по барскому наказу отдирали розгами и вывозили за реку под караулом. Насылали, случалось, иногда и войско, но и оно ворочалось назад ни с чем: барин скорехонько, бывало, вооружит своих смельчаков винтовками, уберет паром, все лодки, и шабаш. Постоит-постоит это войско за рекой али у села, да и вернется восвояси с тем же, с чем и пришло. Таким-то вот манером барин и наводил страх на всех властей много лет сряду, пока его не стало, а с этим случаем и наша сила вдруг лопнула и все мы сгибли. Отлучился раз барин потихоньку в Москву. Начальство это пронюхало, схватило его в дороге да и упрятало куда-то далеко, а к нам — бац! — войско, застигло всех врасплох, и пошла тут такая перепалка, что и небу было жарко. Около месяца перебирали нас по косточкам. Кто успел — убежал, кто трухнул — утопился в реке, а кто сплеховал — тот попался. В числе беглых кантонистов очутился и я. Попал я к барину таким родом: заслышав, что меня требуют в кантонисты, я убежал из дома, явился к барину, рассказал ему свое горе и остался у него жить. Мне было в ту пору ровно 18 лет. И вот целый век выжил благополучно, не думал, не гадал, а теперь, на старости лет, попался; да мало того сам попался, так и добро мое, нажитое кровавым потом, сгинуло: в суматохе все дотла раскрасили.

ХІІІ

ЖИТЬЕ В ДЕРЕВНЕ, ЛЮБОВЬ И ЕЕ РАЗВЯЗКА

Прошла половина лета, и кантонисты уже собрались в деревню, куда их в эту пору ежегодно выводили на отдых.

Однажды утром, в июле, кантонисты всего заведения стояли на плацу. Перед фронтом прохаживался начальник, желавший обратиться к своим питомцам с напутственной речью.

— В деревне жить смирно, — говорил он, — хозяев ваших уважать! Помогайте им, чем можете, и они станут хорошо вас кормить, прощать провиант; а коли будете озорничать и они потребуют паек — так я вас!

С таким напутствием кантонисты отправились поротно в дорогу пешком верст за сто или за двести от города.

Житью в деревне кантонисты всегда радовались, его ждали со свойственным детям нетерпением. Но с прибытием в деревню их радость значительно уменьшалась: там также надо было вставать в пять и шесть часов утра и ходить ежедневно на фронтовое учение в капральство и на ротный двор. Расстояние между деревнями, где жили кантонисты (человек 10, 15 и до 30 в каждой деревне), и центрами учений простиралось от 5 до 15 верст, а такая ходьба отягощала кантонистов тем более, что ни проливной дождь, ни грязь не освобождали от явки к 7 часам на учение. Кто опаздывал или вовсе не являлся — тот получал за это всегда изрядную поронцу. Взрослых, кроме того, беспрерывно рассылали по деревням с казенными и частными поручениями. Они же обязывались собирать и приводить на учение малолетних и присматривать за ними дома, и им же доставалось за шалости и оплошность последних. Но всего тяжелее для кантонистов бывали в деревнях телесные осмотры, которые проводились два-три раза в неделю в видах предотвращения заразы от мужиков, у которых они жили. Поднимется, бывало, резкий холодный ветер, пойдет крупный частый дождь, а в сарае, с огромными щелями в стенах, с развалившеюся крышею, стоит капральство, раздетое донага. Правящий или ротный командир ходит по фронту, осматривает, ощупывает и разглядывает порознь каждый суставчик. Как дождь ни мочит, как ни бросает от холода в дрожь — не смей ни вздрогнуть, ни глазом моргнуть. Фронт, по словам начальства, был место священное, и потому за невольную дрожь, как за оскорбление этой святыни, неминуемо наказывали. Кроме того, кантонистам во время стоянки в деревнях воспрещалось петь песни на улицах, ходить расстегнувшись, участвовать в детских играх, уходить дальше гумна без спросу.

Крестьяне той местности, где квартировали кантонисты, были преимущественно старообрядцы различных толков, а потому враждебно встречали кантонистов, не принадлежащих к их сектам. Со своей стороны, кантонисты, следуя наставлению начальника уважать хозяев и боясь вооружать последних против себя, изыскивали

всевозможные способы сближения со своими хозяевами и бессовестно обманывали их.

Особенно отличался хитростью кантонист Бобков. Бывало, войдет в назначенную ему для житья избу, поклонится.

— Здравствуйте, люди Божьи, — говорит. — Я к вам квартировать назначен, так не обижайте ж меня, смиренного раба Божия: я и то в кипятке киплю да и родом из вашего согласия.

— Здравствуй, коль не шутишь, — недоверчиво отвечает старуха, нашептывая молитву и перебирая в руках четки. — А каким ты крестом молишься, ежели нашего согласия?

— Благословенным, бабушка, благословенным молюсь, вот как видишь, а то каким же мне иным крестом молиться?

— Ну, а как епта вещь прозывается? — продолжает она, показывая ему четки.

— Лестовка, бабушка. Покойная моя матушка, царствие ей небесное, завсегда так молилась и меня тому ж учила, да вот в службе-то этой я, почитай, все перзабыл. Да и немудрено: по-нашему-то вон и молиться запрещають...

— Коли, голубчик, велят? Они ведь еретики да смутьяны рода человеческого; так где ж им думать о спасении да о царствии небесном! Звать-то тебя как? — добавила она, помолчав.

— Александром, бабушка, и кличут Бобковым. У меня, бабушка, со вчерашнего вечера и крохи во рту не было. Есть больно хочется. Не дашь ли чего перекусить?

— Наслышаны мы, голубчик Лександра, про вашу-то службу вдоволь: знай сквернословь да пой сатанинские песни, а в брюхе-то пущай себе урчит. Скидывай свою муницу, сложи ее вон взад, на лавку, умой у рукомойника руки-те, помолись да и садись за стол. А я тем временем сберу тебе обед: с голодухи-то, поди, не до балясов.

— Истинно так, бабушка. Вот поем, так и язык будет легче ворочаться.

Бобков раздевается, моется, молится по-старообрядчески и начинает обедать, а старуха то и дело подливает и подкладывает ему вкусного съестного как единове́рцу. Отобедав, он садится возле старухи, внимательно слушает ее поучения, поддакивая ей, сам рассказывает всевозможные небылицы о претерпенных будто бы им страданиях «за правую веру», и к вечеру становится совершенно своим человеком в избе.

Не успела семья вернуться с поля, как старуха уж оповестила ее о мнимом единове́рце.

— А ты, малый, не врешь, будто ты нашего согласия? — строго спрашивает Бобкова старик, глава семьи.

— Чистая это, дедушка, правда!

— Ну и табачища поганого не куришь и не нюхаешь?

— Что ты, дедушка, что ты, Господь с тобой! Это зельем-то дьявольским чтоб я осквернял себя — сохрани и помилуй меня Боже. Ни-ни!

— Коли так, садись с нами ужинать.

Тем спросы о вере и кончались. И Бобков с первого же дня обедает, ужинает вместе со всеми, старуха крестит его на сон грядущий; ночью, когда он разбросается во сне, она укутывает его; нашептывает над ним, сгоняет с него мух; стирает его казенное белье, нашивает ему собственного, дает холста на портянки; из всякого лакомого кушанья старается уделить ему лучшую часть, словом, лелеет и бережет его, как родного. Все остальные члены семьи также любят его, а он за все это отплачивает им посильною работою по хозяйству, смирением, точным исполнением хозяйских обычаев да слушает по воскресеньям, час-другой, как старик читает по складам семейству древнее благочестие. Проходит месяц.

— Не видала ли, бабушка, где моей шинели? — спросил однажды Бобков, собираясь утром на учение.

— Шинели?.. Ах ты, Лексаша, Лексаша! И не грех тебе нас обманывать-то? Не грех тебе сменять праву веру на зелье, на погань?! На том свете ведь за евто каленым железом станут рот-то тебе выжигать!..

— Да где, я тебя спрашиваю, шинель-то? Ведь опоздаю на учение — меня за это выдерут!

— Шинель-то? Да я в огород выбросила твою паскудную шинель-то: она вся вон провоняла поганью — табачищем. Не держать же в избе евдакую мерзость: грех, большой грех. Неужто ты, Лексаша, и вправду жрешь это зелье-то?

Но Бобкову вовсе не до ответов, он бросился в огород, с трудом отыскал шинель, надел ее и побежал на учение; а вернувшись, застал старуху в страшной суматохе: она мыла кипятком все вещи, за которые он когда-либо брался руками, все лавки, на которых он сиживал, выжигала калеными камнями всю глиняную и жестяную посуду, из которой он когда-либо едал. На спрос, что все это значит, старуха принялась его укорять боготступничеством, ворчала и отплевывалась от него, как от нечистой силы; он божился, уверял ее, что не курит, пахло же от шинели табаком оттого, что правящий, сидя на ней в сарае, курил трубку. Желая задобрить старуху, Бобков рассказал, как за то, что он опоздал через нее на учение, он получил 15 комлей, в удостоверение чего показал даже синие рубцы на теле. Однако старуха ничему не поверила, никаких оправданий и слушать не хотела. Вечером разбирательство повторилось, но перевес остался все-таки на стороне старухи. Вследствие такого решения Бобкову пришлось искупить свой мнимый грех всеобщим к нему охлаждением. Белье, впрочем, мыли ему исправно, кормили,

правда, порядочно, но только отдельно от хозяев и из особой посуды, которую завели собственно для него и которую ставили даже в стороне от той, из которой ели хозяева. Всякий его шаг, всякое его движение вызывали укоры и ворчанье со стороны хозяев. Так Бобков и дожил остальной срок своего квартирования в деревне.

Другим кантонистам жилось хуже.

— У меня, Иван Иванович, очень плоха квартира, — жаловался правящему кантонист с сильной протекциею после недельного жительства в деревне. — Всего и живут-то старик да старуха — оба презлющие. Старик — староверский поп. Как пришел я первый раз, так и в избу даже не пустил, а отвел мне угол в хлеву, и я живу вместе с телятником. Кормят прескверно: одну и ту же жиденькую постную похлебку с хлебом ем каждый день. Тебе, говорит хозяин, казна только это и отпускает, ну и лопай как знаешь, а жалеть тебя нечего, потому ты не нашей веры. Перейди, говорит, в нашу веру, хорошо буду кормить, да еще и денег стану давать. Перемените мне, пожалуйста, квартиру, не то я напишу...

— Зачем писать? Писать незачем: дело поправимое, — отвечал правящий. — Эй, Бочков, перейди-ка ты сегодня же жить вместе с Филипповым на его квартиру. Там ты ничуть не прогадаешь: его хозяева богаты, возьмишь за них только, и будешь как сыр в масле кататься. Тебе же не привыкать-стать учить этих сиволдаев. Ни в чем не стесняйся: я за все отвечаю.

— Слушаю-с, Иван Иванович, — отозвался Бочков, кантонист лет двадцати, отчаянный буян.

С наступлением сумерек Бочков явился на новую квартиру.

— Тебе чего надо? — спросил хозяин-старик, загораживая Бочкову вход в дверь.

— Пусти наперед в избу, а там и потолкуем.

— Да чего тебе надоть-то? Ежели «штыковую работу» — ен в задней; туда дорога со двора, а не здесь.

— Пусти, тебе говорят, не то так садану, что черти из глаз посыплются.

— Ой ли! Не пужай по-пустому, не из трусливых, а сколь ни хорохорься — в избу не пушу.

— Непустишь? Так вот же тебе, старый хрыч, ежели добром не унимаешься!.. — Бочков так сильно толкнул старика в грудь, что он свалился на близстоявшую лавку. Бочков вошел в избу, оглядел ее, крикнул Филиппова, очистил с помощью товарища лавку в переднем углу и начал вколачивать гвозди в стену недалеко от образов.

— Ты, «штыковая работа», не трожь, мотри, стену-то, — заговорил очнувшийся старик, бросаясь на Бочкова, — не пушу вешать

погань под иконы. Вон ей где место-то! — И старик бросил куртку к порогу.

— Уймись, старый дьявол, пока я тебе все ребра не переломал! Куртка — вещь царская, а не погань. Сам ты погань! Да не токма ты, а и вера твоя погань.

— Ох ты, дьявольское твое наваждение, ох ты, кислая муниция, ох ты... — заревел старик. — Зарежу, вот те Христос, нарежу за святую, за нашу веру. — Он бросился на Бочкова с ножом.

— Режь, режь, — бесстрашно отвечал Бочков, выставляя вперед обе руки.

— Караул! Режут, караул! — закричал Филиппов и бросился на улицу, продолжая кричать.

Старик опомнился и испугался. Бочков, пользуясь его замешательством, мгновенно вышиб из его руки нож, схватил его за грудь, повалил на пол, притиснул и сел на него верхом. Между тем на крик Филиппова выбежали из соседних изб три кантониста и, узнав, в чем дело, пришли на помощь Бочкову. Увидав его невредимым, они тем не менее сочли нужным заголосить по очереди: «Связать его, тащить его к правящему!» Старик лежал точно убитый.

— Живота али смерти? — потешался Бочков, тиская старика коленом в грудь.

— Отпусти, служба, пра, отпусти, — заворчал старик, предвидя беду.

— А будешь кормить хорошо?

— Буду, пра, буду; ослобони же!

— И в хлев гнать не станешь? И бахвалиться не будешь?

— Не буду, пра, не буду; ослобони же!

— Ну хорошо, прощаю, только с уговором: сейчас всем отличный ужин; да чтоб и говядина, и сметана, и ситник, и творог — все чтоб было!

По прошествии некоторого времени старик мало-помалу стал опять входить в прежнюю роль: то худо кормит, то плохо обслуживает, то спорит с постояльцами, а то и ругнет их. Терпел, терпел наш Бочков да подговорил несколько человек товарищей, привел их к себе в квартиру, усадил кругом обеденного стола, под образами, и велел им чистить пуговицы насыпанным на самом столе тертым кирпичом, а сам зашагал взад и вперед по избе в шапке, насвистывая какую-то песню. Старика сперва не было, но, войдя в избу, он возмутился:

— Перестань, служба, свистать да и шапку-тоними: тутотка, чай, не хлев, а изба, иконы висят! — строго начал он.

— Да разве такие иконы бывают? — насмешливо спрашивает Бочков, продолжая ходить в шапке. — На них и лика-то никакого не видать, какие же это иконы? По-нашему, по-православному,

такие доски сжигают, а пепел от них высыпают в реку, а ты сдуру называешь их иконами! Какие это иконы?

Пошла ругань. Старик доказывал превосходство своей веры и стал издеваться над господствующей религией.

— Так ты над Богом смеешься! — воскликнул Бочков. — Слышите, ребята, что он говорит?

— Слышим, слышим, — подтверждают товарищи.

— Будьте ж свидетелями. А ты, старая карга, пойдем к начальству, пойдем, колдун ты эдакий! — Бочков схватил старика за ворот и потащил было его из избы, но тот упирался, не шел и еще пуще ругался.

— Помогите, братцы, стащить его к ротному.

По приводе туда доложили правящему, а тот — Тараканову. В избу ввели старика. Он был бледнее полотна, глаза его дико блуждали, руки тряслись.

— Связать его! — крикнул Тараканов. — Как ты смел притеснять кантонистов? — продолжал он, когда старику связали руки назад. — Как ты, спрашиваю я, смел совращать в свою ересь их, царских воспитанников, резать Бочкова, надругаться над святынею, а?

Старик молчал. Он был ни жив ни мертв.

— Запереть его в амбар, приставить к дверям часовых и ждать моего приказа, — заключил Тараканов.

Приказание тотчас исполнилось.

Крестьяне, узнав по возвращении с поля о несчастье их попа, тотчас послали депутацию — хлопотать за него. Но Тараканов встретил ее еще сильнеею речью и поклялся, что через день непременно расстреляет старика. Весь следующий день продолжалась по деревне суматоха, и уже поздно вечером Тараканов едва согласился выпустить старика, взяв с мужиков клятву, что они будут и беречь и холить как зеницу ока кантонистов, этих, как он назвал их, царских воспитанников. Затем он дал правящему два и Бочкову один червонец, со всеми ласково распрощался да и уехал восвояси. А по деревне разнесся слух, будто за освобождение старика он содрал с крестьянского общества 30 червонцев.

В селе был базарный день. На площади стояло множество возов со всякою всячиною.

— Батюшка барин, смилуйся: вели отдать мою тушу, — взмолился мужичок, кланяясь в ноги Федоренко.

— Толком говори, чего просишь, и не хнычь! — крикнул Федоренко, притопнув ногою.

— Твои, барин, кантонисты стащили с моего воза тушу. Вели ее мне отдать.

* Кантонист, названный Бочковым, — офицером на Кавказе.

— Кто стащил? Когда стащил, да и какую такую тушу?

— Самый большой кантонист стащил говяжью тушу, быковую, значит, ляжку, да и убер сюда, в твою фатеру. Вели отдать — век не забуду.

— Эй, вестовые!

В дверь вошли разом три кантониста, в числе которых был некто Хавров, сухопарый высокий юноша лет 18, отъявленный вор и отчаянный смельчак в этом деле.

— Вот ен, барин, ен самый и стащил тушу-то, — заговорил мужичок, указывая на Хаврова. — Не попусти, барин, в обиду. Я человек бедный, торгую с хлеба на квас.

— Ты, Андреев, притащи мне сюда десятского, да чтоб принес с собою кандалы; а ты, Ананьев, запри ворота на замок и стань часовым у калитки, чтоб никто не вошел и не вышел.

Кантонисты со всех ног бросились исполнять приказание. Оставшиеся в избе Федоренко, правящий, Хавров и мужичок молчали.

Вскоре явился десятский. Помолвившись на образа, он стал у двери.

— Говори, мужик, в чем твоя претензия? — грозно начал Федоренко.

— Да я, батюшка барин, ни на кого не жалюсь, а пришел к твоей милости насчет туши-то, — заговорил мужичок, видимо, струсив. — Вон ен самый ее украл да к тебе на фатеру и уволок: весь народ эвто видел, да не успели яво догнать. Я, пра, не жалюсь.

— Украл ты, Хавров у него тушу?

— Никак нет-с, ваше благородье.

— Не знаешь, кто украл?

— Не могу знать-с... Я сегодня и на улицу совсем не выходил.

— Слышишь, бородач ты этакой?

— Слышать-то слышу, только ен, барин, обманывает!

— И ты еще смеешь говорить: он украл и унес сюда? Ведь это значит, не только он, но и я, по твоим словам, вор? Я, капитан? Мы, царские слуги, — воры?... Кандалы сюда!.. Заковать его.

Но десятский топтался на одном месте.

— Чего ж ты ждешь? Заковывай!

— Да осмелюсь доложить тоже насчет... — десятский запнулся.

— Насчет чего? Говори, говори прямо, а не юли.

• — Да я насчет того, ваше благородье, ежели не изволите осерчать за правду, кантонисты ваши и то маху не дают. Где что плохо лежит, там у них уж и брюхо болит: беспременно утянут. Да не токма што из стоящего, а и хлеб, яйца, пироги — все таскают. У нас, на селе, распорядок, вишь ты, такой есть: все зажиточные хрестьяне в сумерках свосят к жилью беднеющих алибо хворых хрестьян всякое съедомое да, положимши на подоконник избы, постучат в оконце, молвят: «Примите, хозяева, потайную милостыню», да и убегают домой, шток, значит, не видали, кто принес. И покуда бедняга аль

хворый выходит за милостынею-то, кантонисты тем временем уж стянули ее да и дали тягу.

— Ты, Карпов, это знаешь? — спрашивал Федоренко правящего.

— Обвинять всех огулом тоже нельзя. Ты бы прежде поймал кого-нибудь и представил мне, а то «не пойман — не вор».

— Оно, ваше благородье, точно, «не пойман — не вор», да где ж их поймать-то? Схватит иной вон целый пирог али каравай хлеба да и улепетывает с ним стрелой, будто птица...

— А ежели так, не смей и жаловаться.

— Да я, ваше благородье, и не жалуюсь, а так, бытто к слову, молвил, а все прочее ничего, в ладах живем.

— То-то же! У меня смотри: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Ну, а ты, бородач, наверное знаешь, что вот он, Хавров, украл у тебя тушу?

— Коли, батюшка, наверно. Ен, как есть, ен самый украл...

— Так идем искать, идем! — Федоренко схватил мужика за плечо, потащил его на двор, обошел с ним конюшню, хлев, поглядел в телегах, в яслях, нигде, разумеется, ничего не нашел и вернулся в избу.

— Теперь надеть ему кандалы! — заревел Федоренко. — Я тебе покажу, как обзывать нас, царских слуг, ворами!

Десятский зазвенел кандалами, мужик взвыл на весь дом и упал в ноги Федоренко.

— Признайся лучше, ведь обознался?

— Може, батюшка, и обознался. А сдается... Отпусти, будь милостив... У меня товар вон без призору.

Подошел конец августа. Кантонисты приуныли: в голову каждого лезла неотвязная мысль о скором возвращении в казармы. Большинству взрослых кантонистов предстояло, кроме того, горькое расставанье с молодою хозяйкою или с хозяйскою дочерью. В это время ночами можно было беспрестанно наталкиваться на любовные пары — и за огородным плетнем, и за гумном, и на сеновале, и даже в сенях избы. Везде слышались клятвы, звучали поцелуи, лились слезы, волновалась кровь; обтирались глаза и рукавом шинели, и засаленным фартуком. При этом вздыхатели не забывали выманивать у своих возлюбленных холста, ниток, а буде можно, то и денег.

В день выхода кантонистов из деревень мужчины на полевые работы не выходили: одни — из желания чествовать «мальчугу», другие — чтоб не дать ему возможности обокрасть избу, а третьи — чтоб жена либо дочь не удрала со «штыковой работою».

Собраны капральства на ротный двор стойными рядами; за ними тянулись по две, по три подводы с казенным, подаренным и даже украденным имуществом; позади подвод шли толпами

мужики, а за ними — женщины и девушки. У околицы деревни мужики поворачивали назад, куда гнали и женское население и ласковым речью, и свистом хворостины, и волоченьем за косу. Затем, помаявшись денечек-другой, незащитная женщина снова принималась за серп и молоченье, и все, бывало, пойдет своим чередом... Нередко, впрочем, случалось, что деревенские женщины трагически заключали любовь свою к кантонистам.

Рота Живодерова стояла фронтом, готовая пуститься в путь. Вдруг подбегает молоденькая хорошенькая девушка — брюнетка лет 17. Она бросилась ему в ноги и с плачем завопила:

— Батюшка, голубчик барин, не погуби!.. Отдай мне Алешу! Я умру без него!.. Сжался, касатик, над сиротой!

— Да ты откуда и как сюда, красавица, попала?

— Из села Горок, барин... 30 верст отселева. Убежала из дому; целую ночь, точно шальная, бежала сюда! Отпусти, касатик!..

— Да ты, дура, не хнычь, а толком скажи: какого тебе Алешу надо! У меня в роте Алешей до двадцати найдется, который же из них твой? Прозывается-то он как.

— Алеша... Алеша... Харь... Харьков прозывается. Вон он и стоит-то неподалеку... эво... эво... — Девушка бросилась было к фронту.

— Держи ее, держи здесь! — крикнул Живодеров.

Фельдфебель догнал, схватил ее обеими руками и вернул назад.

— Тебе, дура, к фронту подходить нельзя: к фронту, как и в алтарь, баб не пускают, — внушал ей Живодеров. — Все порядком разберу.

— Разбери, барин, разбери, касатик!

— Не хнычь! Алексей Харьков, поди сюда!

Из передней шеренги отделился томно-бледный красивый юноша лет 19. Тихою, боязливою поступью подошел он к Живодерову, вытянулся в струнку и потупился.

— Алеша, желанный ты мой, на тебе лица нету-ти! — вскрикнула девушка, отчаянно рванулась из рук фельдфебеля и, повиснув на шее Харькова, принялась его целовать. — Но Харьков стоял неподвижно и ни словом, ни движением не отвечал на ее ласки.

— Это еще что за нежности! — гаркнул Живодеров. — Держи ее, шельму, хорошенько! А то, на-ко, выдумала обниматься!..

Фельдфебель схватил девушку в охапку и стиснул ее в своих мощных руках. Та тихо-тихо зарыдала.

— Расскажи-ка, Харьков, как ты с ней связался, да помни, не лгать: запорю!

Харьков взглянул на девушку, вздохнул, разинул было рот, чтоб начать свою исповедь, но поперхнулся; крупные слезы показались из его глаз.

— Ха-ха-ха! — во все горло захохотал Живодеров. — Вот комедия-то! Ну пускай она ревет, бабе заплакать — все равно, что

плюнуть, а ты-то что разжюмился? Отвечай, что тебя спрашивают. Ну же!

— Я... виноват, ваше благородье... виноват... она... мы... я люблю ее! Простите... — Слезы душили Харькова, и он снова остановился.

— Не погуби, барин, моего Алешу: он неповинен, как есть неповинен, — вмешалась девушка. — Я сама тебе все расскажу без утайки.

— Цыц! — закричал Живодеров, топнув ногою. — Пока цела, молчи лучше, не то отдеру и тебя. А ты, Харьков, вытри глаза и отвечай!

— Как разместили нас по квартирам, я попал к ним, — начал Харьков дребезжающим голосом. — Сперва я видел одну их стряпуху. Потом я встретился раз с Дашею в сенях, поздоровался, поговорил кое о чем и ушел в свое место. В тот же вечер стряпуха велела мне перебраться из чулана, где я прежде жил, в переднюю избу и тогда же начала меня кормить хорошо и сбивать перейти в ихнюю веру; говорила, будто Даша, хозяйка, велела ей уговорить меня. Смеючись, я раз и сказал ей: «Погоди немного, поприсмотрюсь прежде к вашей вере, а там, может, и перейду». А какая-токая ихняя вера — я и не знал даже. Даша и с самого начала ко мне была ласкова, а с тех пор, как стряпуха передала ей, будто я хочу в их веру перейти, она сделалась еще лучше. Только вот однажды ночью приходит она ко мне-с... «Ты, говорит, меня не прогонишь?» Изба, говорю, не моя, а твоя, как же я могу тебя прогнать из твоей же избы? Ну-с, только села она это ко мне на лавку, а у меня, ваше благородье, голова кругом пошла, руки и ноги затряслись, словно в лихорадке. Вот, ваше благородье, все... Простите, будьте отец родной, заставьте за себя вечно Бога молить!

— И все это правда?

— Суцая, барин, правда, — подхватывает девушка. — Только одно он недосказал... — Даша, заплакав, указала на свой живот.

— Как? От кантониста забеременела? Ха-ха!.. Ха!.. Ха!.. Ай да Харьков! — И, не дождавшись ответа от растерявшегося Харькова, Живодеров перешел с вопросом к Даше: — Так чего ж тебе еще, красавица, от него надо?

— Да вели, барин, повенчать нас. Отец даст тебе денег... у него много. Он ни тебе, ни нам с Алешей ничего не пожалеет...

— Что-о?.. Повенчать вас? Это кантониста-то повенчать? Ха-ха-ха! Нет, красавица, кантонисты не женятся! Да и что с тобой толковать много... розог сюда!

— Она, ваше благородие, не кантонист, ее драть вам не позволено, — смело вступился Харьков, сверкая глазами. — За это вам самим достаться может.

— Так это меня-то драть? Нет, барин, ежели хоть пальцем тронешь, я тебе глаза все выпарапаю.

— Что-о-о? — заревел Живодеров. — Унтер-офицеры! Растянуть обоих живо!

— Ваше благородье, не трогайте девушку, — заговорил фельдфебель, — она и на себя-то не похожа, словно полоумная, да и опасно... не ровен час... оставьте ее в покое, сделайте милость!

— У меня часы все равны: вздую, так закается бегать из дома за любовником. Харькова растянуть, а эту халду подержать рядом с ним на весу, чтобы брюхо не раздавить. Ему полсотни, а ей двадцать пять горячих — живо! Живо!..

Приказание исполнилось. Во время наказания Живодеров потирал руки от удовольствия, приговаривая: «Та-та-та!.. Любили кататься, любите и саночки возить; та-та-та!..»

— Теперь вот поцелуйтесь, — смеясь, сказал он, — поцелуйтесь же, вы ведь уж больше не увидите.

Но Харьков и Даша стояли точно приговоренные к смерти. Боль, стыд и глубокое оскорбление помрачали их рассудки.

— Ну же, поцелуйтесь на прощанье, — продолжал Живодеров, свел обоих лицо с лицом и добавил: — Вот так сладко чмокнулись, ха-ха... — и развел их в разные стороны. — Десятского сюда.

Явился десятский, стоявший все время за фронтом. Он, как сельская полиция, обязывался присутствовать при выступлении кантонистов.

— Возьми вот эту девку и отведи ее в село Горки к отцу, — приказывал ему Живодеров. — Да скажи ему, что она хотела убежать за любовником-кантонистом в город и я ее за это и за грубость выдрал.

Когда Дашу привели обратно домой, все село узнало об ее побеге, и, как водится на Руси, на нее посыпались отовсюду насмешки, обиды физические и нравственные. Это ее окончательно доняло, и, запасшись деньжонками и одеждою, она вновь сбежала уж в город, где ее встретило новое горе: Харьков по прибытии в казармы залег в лазарет, и свидеться с ним ей долгойно не удавалось. Наконец он выздоровел, узнал об ней от товарищей, поколебался несколько, идти ли на свидание с ней или нет; «идти» взяло, разумеется, верх, и он отправился.

Горькое это было свидание, и тяжела показалась обоим любовь, за которую началось сечет. Много было пролито слез, много надежд высказано. И вдруг...

— Вас-то, голубчиков, нам и надо, — вдруг раздалось над самыми ушами Харькова и Даши.

И два здоровенных унтера вцепились в них своими лапищами, потащили обоих в казармы, и к вечеру они уже очутились: Харьков, вновь иссеченный, — в лазарете, а Даша — в полиции.

Пока вытребовали с родины Даши через уездную полицию точные о ней сведения, она успела родить сына, содержась в полиции; а сидя там со всяким человеческим отребьем, она вынесла

немало горя. По выходе же оттуда ее встретила нужда, и вот она поступила в число гулящих, и затем года три сряду слыла по городу самою лучезарною звездой открытого разврата. Наконец попала в уголовном уж преступлении, была наказана плетьюми и сослана в Сибирь на поселение.

Харьков умер от чахотки в лазарете спустя месяца три после рокового свидания.

XIV

ВЫПУСК ИЗ ЗАВЕДЕНИЯ И ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ВОСПИТАНИЕ

Со времени возвращения кантонистов из деревни прошло уже недели две. На дворе стояло серенькое сентябрьское утро. Все заведение выстроилось на плацу поротно. Начальник обошел фронт, вызвал из него вперед и отделил в сторону человек 300, назначенных к выпуску на службу; потом тщательно пересортировал роты по-новому, переровнял их ранжир и распустил в казармы.

В заведении поднялась необыкновенная суматоха: кантонисты оживились и радовались! Да и было отчего: одни, человек 60, хорошо выдержавшие ничтожный классный экзамен, восторгались предстоящим им писарским званием и почестями; другие, человек 50, посредственных знаний, назначенные в фельдшерские ученики, также мечтали о перспективе фельдшера — с мягкими вкусными булками, с чудесными жаркими и другими лакомыми казенными порциями, так часто раздражавшими их нервы во время лежания в лазарете; третьи, человек 50, предназначенные в цейхдинеры, цейхшрейберы (артиллерийские и инженерные надзиратели), тоже радовались своим будущим местам, хотя никто из них положительно не понимал, что такое цейхдинер или цейхшрейбер; наконец, четвертые, человек 100, чересчур уж рослые и старые летами, готовились: красивые, ловкие — в саперы и пионеры, а корявые и искалеченные — в мастеровые команды, в гарнизон. Волновались также и те, которым суждено было еще долго оставаться в заведении. И на них действовала торжественность события.

Прошло несколько дней. Выпускных обмундировали в новые куртки и шинели без погон, с суконными пуговицами, точно рекрутов, выдали им по две пары белья и новых, неношенных сапог, каких иному ни разу не приводилось надевать в течение 10-летнего своего пребывания в заведении. Начальник осмотрел их одежду и спросил: «Не имеет ли кто претензии?» Они отвечали отрицательно. Партию передали партионному офицеру, обыкновенно гарнизонному прапорщику.

— У кого были в заведении деньги, присланные в письмах родных, а также следующие за крещение, — шаг вперед! — произнес партионный.

Человек 60 выступило. Он перекликнул их по списку и объявил, сколько у каждого принятого для хранения до места будущей службы капитала.

— У каждого из вас, помните, еще вычтено по рублю из этих денег, — добавил партионный.

— А за что вычтено? — раздался вопрос.

— Как за что? За розги, которыми вас секли. Ведь ваше начальство небось тоже деньги платит за розги.

— Нас же драли, да и мы же еще плати за это? — возразили несколько голосов.

С того же дня выпускных поместили особо, в самом отдаленном и пустом флигеле казарм, и дали им недельный отдых на сборы в дорогу. С кантонистами заведения им уж не дозволялось сходить; даже пищу приносили им в их помещение. Выпускные очутились вдруг под начальством одного человека — партионного, да и тот обещался смотреть на все сквозь пальцы. Положение завидное и для кантонистов небывалое. Поэтому они в тот же день отправились целыми толпами по городу, по базару, по лавкам и уж не только то крали, что плохо лежало, но даже из рук, из рта у торговков вырывали съедобное, а при благоприятных обстоятельствах — расхватывали и вырубку.

Между кантонистами существовал издавна обычай, чтобы выпускные ежегодно расплачивались на прощание с начальством за свое воспитание. Другими словами, было принято задавать начальству трепку. Обычай этот исполнялся ненарушимо. Выпускные, возвратясь вечером домой, составили из своей среды несколько летучих отрядов, человек по 20, и, возведя храбрейших в атаманы, неслышными шагами отправились в поход; попрытались в глухих улицах, за заборами, на казарменном дворе за бочками и даже под лестницами в казарменных коридорах. Все были вооружены: кто двумя камнями, кто рваною простынею, длинною палкою, несколькими пучками розог, кто скрученным из полоте-нец жгутом, а кто и смоленою веревкою. Притаившись в засаде, они ждали известную начальственную особу, которая, как было им известно, должна была пройти здесь. Лишь только особа поравнялась с условным местом, следившие за нею свистнули, самые сильные выскочили из засады и сшибли ее с ног. Другие замкнули особе рот и крикнули: «Поймали «зверя»!» Тогда весь отряд сбегался, схватил «зверя» кто за что успел, оттащил его подальше от дороги — и пошло побоище. Устанут одни — их сменяют

* Мальчикам из евреев за принятие православия давалось «в награду» за это по 25 рублей ассигнациями на основании 1387-й ст. IX т. закона о состояниях.

другие, других — третьи. Наконец, измучившись, отряд отправил особу с завязанною головою и разлетелся в разные стороны.

Избиение начальственных особ носило между кантонистами название лупсовки. Лупсовка была простая, когда колотили зря, как попало, и законная. Законною лупсовкою называлось вот что: кто, например, любил бить кантонистов кулаком, того самого колотили 15—20 кулаков сразу; кто драл лежачих, заставляя других садиться наказываемому на голову и на ноги, — тот подвергался такой же процедуре; кто предпочитал впересыпку — того самого лупсовали впересыпку, а кому нравилось драть на весу — того самого драли на весу. На весу, впрочем, драли вообще всех заклятых врагов: это отступление делалось потому, что на весу больнее. Различия или снисхождения никогда и ни в пользу кого не допускалось: ротный ли командир попался, фельдфебель ли, учитель ли или даже простой унтер — это для выпускных было совершенно все равно. При благоприятных обстоятельствах выпускным удавалось в один и тот же вечер отлупсовать несколько «зверей» в разных пустынных местностях города.

Начальство твердо помнило о выпускных и в это время держало ухо остро; но тем не менее при упорной настойчивости выпускных и при очень темных вечерах они ежегодно лупсовали властей на славу! Только самого начальника никогда выпускным не удавалось поймать: он всегда ездил вечерами в каретах и на таких лошадях, которых нельзя было остановить, не подвергаясь быть раздавленным на месте. Но спокойным и он не оставался: в его квартире выбивали камнями стекла, срывали звонки, в дверях накладывали всякой гадости и подбрасывали всевозможные пасквили, а раз даже ухитрились как-то окатить его сверху, на лестнице, помоями.

За исключением десятка палочных и кулачных возмездий, полученных в течение нескольких ночей некоторыми мелкими властями, на долю наших выпускных выпал жребий поймать Живодерова, до которого добирались несколько лет сряду. На этот раз до 15 отборных силачей и смельчаков четыре ночи сряду напрасно повсюду разыскивали его. Но вот они узнали в пятый вечер, что он в гостях у знакомого в самом безлюдном захолустье города, куда дорога лежала через длинный и глубокий овраг. Не раздумывая, они отправились туда и засели за забором, решившись во что бы то ни стало поймать его, благо попался в таком удобном месте.

Уже пропели первые петухи, когда наконец послышались чьи-то тяжелые шаги, а затем и знакомый им голос Живодерова, говорившего что-то себе под нос. Покачиваясь с боку на бок, шел он по улице. Отряд дал ему углубиться в овраг, потом нагнал, окружил со всех сторон и остановил его.

— Это что такое? — грозно спросил Живодеров. — Что вы за народ?

— Мы-то? Люди, — отвечало несколько голосов.

— Что ж вам надо?

— Тебя, самого тебя нам надо, — заговорил атаман. — Позвольте, ваше бродье, выдрать вас?

— Что-о-о? Ах вы, сволочь проклятая! Да я вас... в порошок сотру!..

Живодеров стал в оборонительное положение.

— Лучше, ваше бродье, не ершиться по-пустому. Станете кричать — гораздо больнее отлупсеем. Ложись лучше по доброй воле.

— Прочь, негодяи! Караул! Помогите, спасите...

— Тебя просят честью, а ты еще орешь? Заткнуть ему рот да подержать покрепче, а я тем временем сам сдери с него его штанищи. Ну-ка!..

Сказано — сделано. Штаны Живодерова превратились в мелкие клочки.

— Ребята, вали его и садись кто на голову, кто на ноги, да впересыпку валяй, валяй его, друзья!

Притиснутый к земле Живодеров, с заткнутым ртом, и кричать уже не мог. Началось лупсованье.

— Это тебе за то, чтоб не пил кантонистской крови, — приговаривал атаман, — это тебе за то — не дери сыновей, это тебе за то — не издевайся над женой, не тирань свою дочь, раскрасавицу-барышню; а вот это тебе за всех их да и за нас, православных! Крепче! Та-та, та-та. Любил кататься — люби и саночки возить!.. Крепче! Та-та, та-та! Крепче! Довольно!

Живодеров едва был в силахстонать.

— Ну-с! Теперь мы, барин, с тобой, кажется, квиты. Будешь жив и об нас вспомни, а пока — спокойной ночи. А вы, молодцы, по щучьему веленью, по моему прошенью, уничтожься, пропади!

И отряд исчез во мраке ночи.

Накануне своего выступления выпускные разгласили по всему заведению о чудеснейшей лупсовке, заданной ими заболевшему после того Живодерову, и кантонистам было до того приятно узнать это, что подробности лупсовки переходили из уст в уста несколько лет сряду.

Настал наконец и день выступления выпускных в поход. Веселые, счастливые, прощались они с товарищами, целовались, давали слово переписываться. Но тяжела была разлука для тех, которым суждено было остаться в заведении, и горячо завидовали они своим счастливым товарищам.

Совершенно счастливыми пустились выпускные в путь, шли и оглядывались назад, на казармы, плевали на них, грозили кулаком и посылали всевозможные проклятия как заведенскому воспитанию, так и людям, руководившим этим воспитанием.

В числе выпускных, пройдя все вышеописанные мытарства заведения, шли уже на службу и знакомые читателю кантонисты — Василий Иванов и Иван Степанов. Первый шел в писаря — в полк, а последний — под ружье, в саперы.

ОБЪЯСНЕНИЕ АВТОРА

В то время, когда в «Отечественных записках» кончились печатанием наши «Очерки», а предисловие к настоящей книге было уж набрано, разные лица, не знавшие доселе, как воспитывали кантонистов, с волнением задавали нам многократно один и тот же вопрос: «Неужели факты, описанные в «Очерках», чужды литературных прикрас?» Потом нам попало и печатное замечание, что наших «Очерков» нельзя будто бы читать, потому что они составляют, по мнению почтенного рецензента, целый ряд поразительных сцен сечения и морения голодом кантонистов. Поэтому мы считаем долгом ответить, хотя в нескольких словах, как на могущие возникнуть вопросы, подобные вышеприведенному, так и на печатное замечание, к нам обращенное.

Все в «Очерках» изображенное, смеем уверить читателей, — чистая правда, которую подтвердят, мы убеждены, многие прошедшие раннюю свою юность в неранжированных батальонах упраздненных учебных карабинерных полков и отдельных батальонах кантонистов, так как в тех и других, как мы заявили в предисловии и повторяем теперь, «воспитание кантонистов было совершенно одинаковое во всех отношениях». Кроме того, мы встретили с полгода тому назад, случайно, бывшего совоспитанника в числе арестантов одной из арестантских рот, причем он клялся нам, что в нынешней арестантской роте гораздо легче живется, нежели жилось в прежнем кантонистском заведении. Далее, по напечатании впервые «Очерков», мы получили от некоторых однокашников, благодаря крепости закалившейся в передрягах их натуры вышедших из заведения не изуродованными умственно и физически, напоминания, что напрасно мы пропустили в наших «Очерках» немало гораздо худших по содержанию фактов из быта кантонистов. Например, как фанатик священник обращал мальчиков-евреев в православие собственноручным драньем и обливанием их зимою холодною водою на дворе; как лечили кантонистов от так называемой куриной слепоты держанием по несколько ночей сряду застегнутыми во фронт и гонянием их под

* С фактической, повторяем, стороны.

крутую гору и обратно бегом на двухверстное расстояние; как учителей — до личного нашего еще, впрочем, поступления в кантонисты — наказывали вместо розог облачением в колодки; сидением на скамейках в тисках или с торчавшими вверх острием гвоздями; как этих учителей и при нас часто разжаловали за то, что они попадались начальству на улицах, в частных домах, где имели уроки, вместо толстых казенных в собственных тонких мундирах; как учителей-чиновников держали в таких ежовых рукавицах, что многие из них дрожали перед начальником, как простые солдаты, и величали его не иначе как «ваше высокоблагородие»; безропотно сносили от него самые площадные ругательства; как после сдачи на почту конверта со вложением конченного следствия по общей жалобе учителей в присутствии Сибирякова (он подозревал, что его показание, по бывшим примерам, переделают, и потому настоял, чтобы он сам видел, как примут на почте конверт) взяли этот конверт назад, пересочинили его показание по-своему, посадили несколько кантонистов, занимавшихся в канцелярии, разучивать почерк Сибирякова, как нашелся похожий на сибиряковский почерк у двух мальчиков, которые переписали означенное показание, вновь прошнуровали дело, и в результате этого гласного подлога Сибиряков пострадал и т.п.; словом, нам освежили в памяти много таких казусов, которыми мы своевременно не воспользовались по забывчивости, да и теперь не включили их в книгу потому, что, во-первых, и изложенное в ней рельефно характеризует состояние заведения, а во-вторых, нашлись кое-какие причины, вследствие которых мы не касаемся иных фактов из печального прошлого.

Затем действительно тяжело, сознаемся, читать «Очерки», если вспомнить, что именно так жилось детям; но, принимая во внимание, что прошло уже 14 лет, как упразднены эти заведения, мы решились как можно вернее изобразить быт кантонистов, дабы тем самым предоставить материал для исторической оценки существовавшего порядка вещей; а ежели картина вышла некрасивая — в этом мы неповинны, ибо «нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая», гласит меткая народная пословица. Что же касается, наконец, избранной нами беллетристической, а не другой формы изложения, то мы предпочли эту потому собственно, что в ней легче, казалось нам, уложить факты; да и читать, думается нам, удобнее. Вот все и всем наше объяснение.

СОДЕРЖАНИЕ

А.Л. Марков

КАДЕТЫ И ЮНКЕРА

Русские кадеты и юнкера в мирное время и на войне

3

В.Н. Никитин

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ

Очерки быта кантонистов

129

К13 **Кадеты и юнкера. Кантонисты. А. Марков. Кадеты и юнкера; В.Н. Никитин. Многострадальные. — М.: Воениздат, 2001. — 262 с. — (Редкая книга).**

ISBN 5—203—01903—7

Об истории возникновения кадетских корпусов и юнкерских училищ, быте воспитанников, их участии в белом движении говорится в воспоминаниях Анатолия Маркова, питомца Воронежского великого князя Михаила Павловича кадетского корпуса, а впоследствии Николаевского кавалерийского училища.

Художественные очерки «Многострадальные» ярко и драматично повествуют о кантонистах, нравах, царивших в учебных заведениях, готовивших унтер-офицеров.

Обе книги интересны как исторические свидетельства того, как зарождались и накапливались военно-патриотические традиции воспитания юношей в дореволюционной России.

ISBN 5—203—01903—7

ПОГОНЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ



Морской Е. И. В.
наследника
цесаревича



2-й кадетский
императора
Петра Великого



Первый
кадетский



1-й Московский
императрицы
Екатерины II



Пажеский
Его Императорского
Величества



1-й Сибирский
императора
Александра I



Оренбургский
Неплюевский



Нижегородский
графа Аракчеева



Полоцкий



Петровский
Полтавский



Орловский
Бахтина



Воронежский
великого князя
Михаила Павловича



2-й Московский
императора
Николая I



Владимирский
Киевский



3-й Московский
императора
Александра II



Вольский



Ярославский



2-й Оренбургский



Псковский



Тифлисский
великого князя
Михаила Николаевича



Николаевский



Александровский



Симбирский



Донской
императора
Александра III



Суворовский



Одесский
великого князя
Константина
Константиновича



Сумский



Хабаровский
графа
Муравьева-Амурского



Владикавказский



Ташкентский
наследника
цесаревича
Алексея Николаевича



Иркутский



Первый русский великого
князя Константина
Константиновича



Крымский



Русский корпус-лицей
императора
Николая II



Приготовительная шк.
императора Александра II